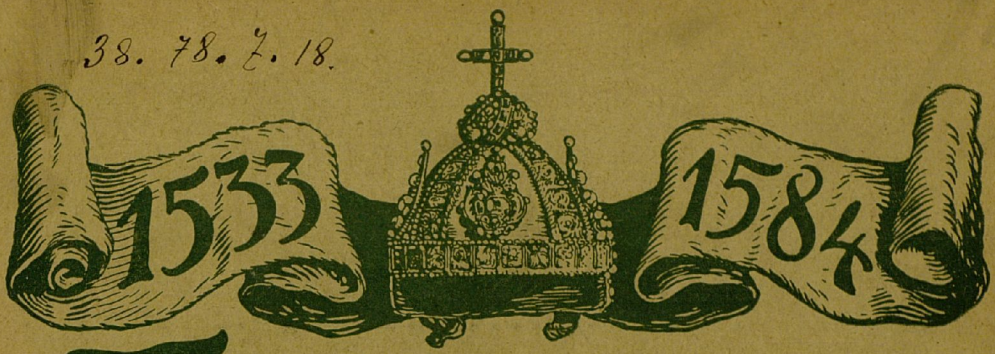
Проверено 1950

38. 78. Z. 18.



Грозная дружина

Историческая повѣсть

Л. А. Чарской.

1/57

С.-Петербургъ. Изданіе т-ва М. О. Вольфъ. Москва.

А. К. ЧАРСКАЯ
ГРОЗНАЯ ДРУЖИНА
ИЗДАНІЕ
ТОВАРИЩЕСТВА
М. О. ВОЛЬФЪ

Л. А. ЧАРСКАЯ

КНИГИ ДЛЯ ДѢТЕЙ И ЮНОШЕСТВА,

ИЗДАННЫЯ Т-ВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ:

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТКИ.
Повѣсть для юношества, съ илл. А. И. Сударушкина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

КНЯЖНА ДЖАВАХА.
Повѣсть для юношества, въ 2-хъ частяхъ, съ илл. В. А. Табурина и А. И. Сударушкина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

ЛЮДА ВЛАССОВСКАЯ.
Повѣсть для юнош., въ 2-хъ частяхъ, съ илл. В. А. Табурина. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

ВТОРАЯ НИНА.
Повѣсть для юношества, съ илл. И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

ДЖАВАХОВСКОЕ ГНѢЗДО.
Повѣсть для юношества, съ илл. И. Гурьева.

ЗА ЧТО?
Моя повѣсть о самой себѣ, въ 4-хъ частяхъ, съ илл. И. Гурьева. Ц. 3 р.

БОЛЬШОЙ ДЖОНЪ.
Повѣсть для юнош., съ иллюстр. И. Гурьева.

ЛѢСОВИЧКА.
Повѣсть для юнош., съ илл. З. Шапиро. Ц. 3 р.

ГАЗАВАТЪ.
Историческая повѣсть, съ илл. І. І. Смукровича. Изд. 2-е. Ц. 3 р. 50 к.

ПАЖЪ ЦЕСАРЕВНЫ.
Историческая повѣсть, съ илл. А. Бальдингера. Ц. 3 р. 50 к.

СМѢЛАЯ ЖИЗНЬ.
Истор. пов. для юнош., съ илл. Е. П. Самокишъ-Судковской. Ц. 3 р. 50 к.

ГРОЗНАЯ ДРУЖИНА.
Историч. повѣсть, съ иллюстр. худ. С. Панова. Ц. 3 р. 50 к.

ЦАРСКІЙ ГНѢВЪ.
Историческій разсказъ, съ илл. А. Бальдингера.

ЕВФИМІЯ СТАРИЦКАЯ.
Историческій романъ. Ц. 1 р.

ТАКЪ ВЕЛѢЛА ЦАРИЦА.
Историческая повѣсть для дѣтей, съ илл. А. Бальдингера.

ГОЛУБАЯ ВОЛНА.
Стихи и пѣсни для юношества.

ПЕРВЫЕ ТОВАРИЩИ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. Э. Соколовскаго. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

ЮРКИНЪ ХУТОРОКЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. И. В. Симакова. Ц. 2 р. 50 к.

ЗАПИСКИ СИРОТКИ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. Э. Соколовскаго. Ц. 1 р. 75 к.

ЛИЗОЧКИНО СЧАСТЬЕ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. В. А. Табурина и И. В. Симакова. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.

ТАСИНО ГОРЕ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. И. В. Симакова.

ЗАПИСКИ МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. А. Бальдингера. Ц. 2 р. 50 к.

СИБИРОЧКА.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. И. Гурьева.

ДОМЪ ШАЛУНОВЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ иллюстр. А. Бальдингера.

СЧАСТЛИВЧИКЪ.
Повѣсть для дѣтей, съ илл. худ. И. Гурьева.

ПРОДАННЫЙ ТАЛАНТЪ.
Повѣсть для юношества, съ илл. В. Полякова. Ц. 60 к.

ЛУЧШІЙ ДАРЪ.
Волшебная картина въ одномъ дѣйствіи. Съ рис. М. Кипина. Ц. 15 к.

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ ФЕИ.
Съ рис. В. Мельникова, З. Шапиро и др. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

РЫЖИКЪ И ЧЕРНУШКА.
Разсказъ для малютокъ, съ хром. карт. А. Гейера. Ц. 1 р. 50 к.

ВЕСЕЛАЯ ДЮЖИНКА.
Книжка стишковъ для маленьк. дѣтей, съ илл. Ц. 45 к.

ВОВИКЪ.
Полу-быль, полу-сказка, съ илл. барона Демерта.

КОГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКІЕ.
Разсказы для маленьк. дѣтей, съ хром. карт. Изд. 2-е. Ц. 90 к.

Грозная Дружина

■ ■ ■

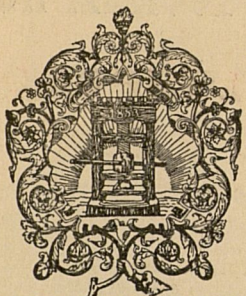
Историческая повѣсть

А. А. Чарской

Съ 12 оригинальн. иллюстраціями худ. С. Панова, 8 снимками съ картинъ Сурикова, Дмитріева-Оренбургскаго, Ростворовскаго видомъ статуи Антокольскаго и пр.

■ ■ ■

Изданіе
Товарищества М. О. Вольфъ
С.-Петербургъ • Москва •



ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФІИ
Т-ва М·О·ВОЛЬФЪ
С-Петербургъ · Вас· Остр· 16 линія соб· домъ

ПРЕДИСЛОВІЕ.

НЕ много въ исторіи примѣровъ такого героизма, какъ смѣлый походъ казаковъ въ XVI в. для завоеванія далекой, невѣдомой Сибири. Не много и героевъ столь своеобразныхъ, безумно-отважныхъ, какъ Ермакъ и его не большая, но грозная дружина. Смѣлый орелъ-атаманъ, затѣявшій неслыханное, грандіозное военное дѣло, и его удальцы воины—это истинные богатыри. Чѣмъ-то стихійнымъ вѣетъ отъ ихъ могучихъ образовъ. Ихъ походъ—подвигъ чисто-сказочный, въ духѣ древнихъ русскихъ былинныхъ богатырей. Но онъ не выдуманъ, этотъ подвигъ, не созданъ въ красивой сказкѣ или звучной пѣснѣ. Тѣмъ выше, тѣмъ удивительнѣе онъ. Тѣмъ сильнѣе, тѣмъ значительнѣе его воспитывающее вліяніе на юныя души. Эпизоды завоеванія Сибири горстью удальцовъ, глубоко преданныхъ своему дѣлу, воодушевленныхъ одной только идеей—завоевать для русскаго народа огромный, богатый Сибирскій край и тѣмъ оставить по себѣ добрую память на вѣки,—эти эпизоды невольно трогаютъ душу, будятъ добрыя чувства и оставляютъ неизгладимое впечатлѣніе.

Одинъ изъ выдающихся нашихъ педагоговъ и писателей говоритъ: «Если окружающая жизнь даетъ мало великихъ примѣровъ героизма, пусть идетъ на подмогу литература, окрыляя юныя души великими примѣрами прошлаго или же героическими вымыслами, рожденными изъ души поэта!»

Цѣль настоящей повѣсти удовлетворить этому вполнѣ справедливому педагогическому требованію. Въ ней передъ читателемъ проходитъ вся грандіозная картина завоеванія Сибири, съ перваго момента возникновенія смѣлой затѣи до послѣдняго аккорда великаго историческаго событія.

Придерживаясь строго провѣренныхъ историческихъ данныхъ въ отношеніи основного фона—завоеванія Сибири,—авторъ оживляетъ этотъ историческій фонъ повѣствованіемъ, въ которомъ одинаково почетная роль выпадаетъ и на долю русскихъ побѣдителей, и на долю побѣжденныхъ, и отдаетъ должную дань героизму какъ первыхъ, такъ и послѣднихъ.

Въ основу повѣствованія положена исторія смѣлаго юноши, случайно, по волѣ судьбы, попавшаго въ ряды разбойниковъ-завоевателей и сумѣвшаго личными своими качествами вызвать къ себѣ любовь даже въ черствыхъ, загрубѣлыхъ сердцахъ. Рядомъ же съ этимъ благороднымъ юношей передъ читателемъ проходятъ типы героевъ и героинь—туземцевъ-дикарей, беззавѣтно преданныхъ своей родинѣ и готовыхъ на всякую жертву ради сохраненія свободы родного края.

Иллюстраціонная часть повѣсти распадается на двѣ категоріи: тутъ и снимки съ извѣстныхъ историческихъ картинъ, скульптуръ, видовъ и пр., — тутъ и спеціальныя иллюстраціи, воспроизводящія отдѣльныя сцены повѣсти.

Издатели.

ОГЛАВЛЕНІЕ

СТР.

Предисловіе . . . . . I—II

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава I. Неожиданное нападеніе 3
» II. Пагубный выстрѣлъ.—Расправа.—Странный обмѣнъ. 9
» III. Грозная казацкая вольница 17
» IV. Орелъ Поволжья.—Коршуны и вороны.—Погоня. 23
» V. Недужный. 38
» VI. Новый другъ.—Вражье судно.—Нежданное предложеніе. . . 53
» VII. Югра и именитые купцы Строгановы. 64
» VIII. Плѣнница и госпожа.—Горѣлки.—Напасть. 69
» IX. Въ свѣтлицѣ.—Страхи.—Событіе за событіемъ. 86
» X. Бѣда.—Безпокойная ночь.—Незванные гости.—На выручку . 94
» XI. Новые знакомые.—Прятки.—Роковое открытіе 107

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава I. Вольница бурлитъ.—Смѣлыя мечты.—Кругъ снова. 129
» II. Непредвидѣнная просьба.—Новый казакъ 142
» III. Любовь и горе 149
» IV. Въ походъ 157
» V. Первые дни.—Каменный гигантъ.—Тайна сердца 161
» VI. Снова въ путь.—Волокомъ черезъ горы 170
» VII. Первые выстрѣлы. — Первый успѣхъ.—Алешинъ подвигъ.—
Важный плѣнникъ 176
» VIII. Допросъ.—Посолъ къ Кучуму 188
» IX. Звѣзда Искера.—Байга.—Страшное видѣніе 193

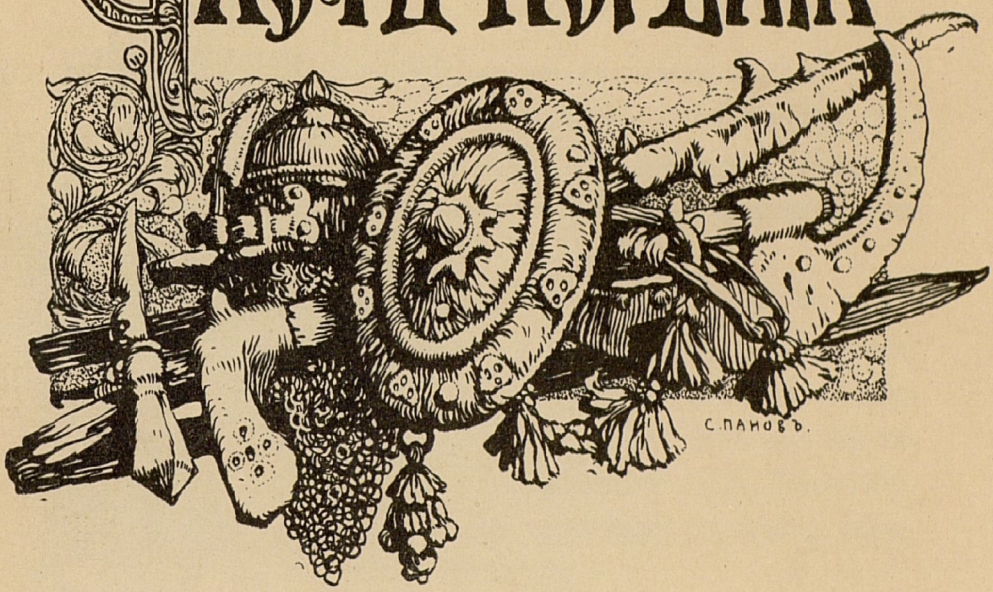
СТР.

Глава X. Бѣлый волкъ и черная собака.—Объясненіе шамановъ.—Печальный гонецъ.—Живая награда. 205
» XI. Желѣзныя цѣпи. — Хитрость за хитрость. — Подъ Бабасаномъ.—Въ плѣну 216
» XII. Ужасъ смерти.—Кошка и мышка.—Неизбѣжно 232
» XIII. Новое чувство.—Въ каменной могилѣ.—Отказъ 243
» XIV. Свѣтлое слово.—Воскресшій изъ мертвыхъ.—Кровавая битва. 252
» XV. Рѣшительная побѣда.—Шутка шайтана.—Гибель за гибель.—Гнѣвъ Аллы 258

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Глава I. Въ русскомъ Искерѣ.—Абалацкія жертвы.—Месть Ермака. . 273
» II. Послѣдняя надежда.—Свадебный обычай.—Жертва Алызги.—Походъ 279
» III. Снова въ битву. — Царственный плѣнникъ.—Новый слуга.—Однимъ храбрымъ меньше 287
» IV. Посольство Ермака 295
» V. Танины заботы.—Возвращеніе.—Двѣ свадьбы 305
» VI. Въ печальной столицѣ.—Цынга и голодъ.—Адскій замыселъ . 311
» VII. Не вернулись.—Новая напасть.—Осада.—Послѣдняя ставка . 319
» VIII. Гибель князя Сибирскаго 325
» IX. Роковая вѣсть.—Кровь за кровь.—Въ даръ Уртъ-Игэ 336
» X. Тайна Ишимской степи.—Послѣдніе дни Кучума.—Ханджаръ. 341
Заключеніе 350

Часть первая



ГЛАВА I.

Неожиданное нападеніе.

А-А-РЫНЬ на-а-а ки-ич-ку-у-у!

— Са-а-рынь на-а-а ки-ич-ку-у-у! — зычно и протяжно повторило откликъ отдаленнымъ раскатомъ гулкое лѣсное эхо...

Лошади вздрогнули, рванули и неожиданно стали какъ вкопанныя. Стала съ ними и тяжелая, громоздкая дорожная каптана [1]. Изъ окна ея выглянуло старое морщинистое лицо, и взволнованный голосъ тревожно спросилъ, обращаясь къ возницѣ:

— Слыхалъ, Егорушка, кричатъ быдто?

— Слыхалъ, Игнатій Терентьичъ... И кто кричитъ смекаю. «Онъ» таперича на разные голоса аукаться станетъ, — отозвался съ козелъ ражій парень въ посконной сермягѣ.

— Лѣсной хозяинъ [2], мыслишь? Съ нами крестная сила, не къ ночи будь сказано, — и, торопливо осѣнивъ

---

[1] Колымага. — [2] Лѣшій.

себя крестнымъ знаменіемъ, старикъ скрылся въ каптанѣ.

— Са-а-рынь на-а ки-ич-ку-у-у! — гдѣ-то близко, совсѣмъ близко, пронеслось по лѣсу.

Тихо ахнулъ Игнатій Терентьичъ.

Снова высунулось изъ окна каптаны встревоженное лицо.

— Егорушка, не «самъ» это. По голосу слыхать: человѣчьими голосами кричитъ-то, — дрогнувъ, пролепетали побѣлѣвшія отъ страха губы.

— «Онъ»-то по всякому кричать можетъ: по-песьи и по-людски, — снова отозвался съ козелъ возница, — а только и впрямь людскіе крики какъ быдто, — заключилъ онъ, насторожившись и чутко прислушавшись съ минуту.

— Станишники никакъ [1]? Господи, помилуй! — почти простоналъ старикъ.

— Станишники и то, слышь, расшкались.

— Ахти, бѣда! — зашепталъ упавшимъ голосомъ Терентьичъ. — Гони што есть духу коней, миляга! — обратился онъ къ возницѣ. — Вызволяй изъ бѣды князеньку нашего! Не приведи Господи попасться въ лапы живодерамъ! Хуже разбойниковъ ночные тати [2]. Ой, гони лошадокъ, Егорушка, спасай боярское дите... Покойный князь батюшка увидаетъ съ того свѣта твое усердіе и его молитвами воздастъ тебѣ сторицей Господь...

Гикнулъ, свистнулъ, молодецки гаркнулъ на коней возница, ударилъ хлесткой нагайкой по всей запряжкѣ, и сытая, удалая четверка взялась съ мѣста на всемъ скаку, волоча за собою скрипучую, громыхающую каптану.

Это былъ просторный возокъ, вышиною въ человѣ-

---

[1] Члены удалой казацкой вольницы, жившіе грабежами. [2] Воры.

ческій ростъ, обитый сукнами и крытый коврами поверхъ перинъ и подушекъ, грудой наваленныхъ на скамьяхъ. Въ углахъ каптаны стояли лари со всякою дорожною снѣдью, боченки съ медомъ и ендовы съ квасомъ, заготовленные на долгое время пути. Тутъ же были нагромождены укладистые сундуки со всевозможнымъ богатствомъ въ видѣ мѣховъ, штукъ сукна и парчи, боярскихъ одеждъ, утвари и драгоцѣнныхъ камней, составляющихъ главное богатство именитыхъ людей стараго времени. Два тяжелыхъ ларца съ казною были упрятаны подъ пуховую перину подъ самый низъ сидѣнья.

На перинѣ, крытой кизыльбацкимъ [1] ковромъ, спалъ юноша, вѣрнѣе мальчикъ лѣтъ четырнадцати на видъ. Серебряный мѣсяцъ, заглядывая въ слюдовое оконце, освѣщалъ спящаго. Тонкій и стройный, въ дорожномъ терликѣ [2], расшитомъ по борту золотой тесьмой, охваченный чеканной опояской поперекъ стана, со спущеннымъ съ одного плеча опашнемъ [3], онъ былъ очень хорошъ собою.

Изъ-подъ сдвинувшейся на затылокъ во снѣ мурмолки [4] съ собольимъ, не глядя на лѣтнюю пору, околомъ, выбивались свѣтло-русые кудри мальчика, шелковистые и мягкіе какъ ленъ. Надъ сомкнутыми вѣками горделиво изгибались темныя брови. Высокій, умный лобъ, тонкій носъ съ подвижными, какъ у горячаго молодого конька, ноздрями и полныя, смѣло очерченныя, полуоткрытыя въ сонной грезѣ, румяныя губы несказанно красили это юное, открытое, милое лицо.

Старикъ Терентьичъ осторожно склонился надъ спящимъ красавчикомъ-отрокомъ и долго тревожно вглядывался въ его сонныя черты.

— Господь съ тобою, соколикъ, спи съ миромъ! Богъ да молитвы дѣдушки-князя вызволятъ насъ изъ бѣ...

---

[1] Персидскимъ. — [2] Родъ кафтана. — [3] Верхняя одежда. — [4] Родъ шапки.

Онъ не докончилъ своей фразы.

— Са-а-рынь на-а-а ки-ич-ку-у-у!—новымъ зловѣщимъ раскатомъ пронеслось по лѣсу, замирая въ чащѣ.

Помертвѣвъ отъ ужаса, Терентьичъ упалъ на колѣни посреди каптаны, безпорядочно шепча: «Господи, помилуй! Господи, не попусти!»

Спящій отрокъ проснулся и быстро вскочилъ со своего мягкаго ложа.

— Чего ты, дядька? Аль попритчилось што?—прозвучалъ его звонкій, красиво вибрирующій голосъ, въ то время какъ большіе, ярко-синіе глаза впились въ старика.

Эти синіе глаза такъ и горѣли, такъ и искрились смѣлой недѣтской удалью и молодымъ задоромъ. Ни капли сна не оставалось въ нихъ.

— Князенька, родимый, соколикъ мой! Неладное штой-то въ лѣсу дѣется. Никакъ станишники насъ выглядѣли и ровно по звѣрю какому облаву ведутъ; слышь, свищутъ да гикаютъ окаянные,—потерявшись отъ смертельнаго ужаса ронялъ Игнатъ.

По лѣсу, дѣйствительно, носился зловѣщій посвистъ, точно вѣтеръ въ мятелицу гулялъ межъ великановъ деревьевъ въ сгустившихся сумеркахъ іюньской ночи.

Оживала съ каждой минутой дремучая чаща. Тысячью голосовъ заговорила, загикала, засвистѣла, затопала сотнею молодецкихъ ногъ. Громкіе окрики разбудили сонную тишину поздняго ночного часа. Трепетъ охватилъ стараго Терентьича.

— Бѣда, соколикъ, бѣда, Алешенька! Куды я тебя схороню? Куды отъ лихого глаза укрою? Пропали мы, дитятко, какъ есть пропали!—лепеталъ несчастный старикъ.

Поблѣднѣлъ и юный князекъ. Дрогнуло сердце Алеши. Страхъ обуялъ дѣтскую душу, но не надолго. Въ слѣдующее же мгновенье онъ былъ спокоенъ. Лишь

темныя брови строго нахмурились да синіе глаза ярче блеснули въ лунномъ сіяніи.

— Самъ говоришь, што Грознаго царя не убоялся, — произнесъ твердымъ голосомъ мальчикъ,—а отъ ночныхъ татей дрожишь. Кони сытые да ходкіе у насъ, авось не нагонятъ станишники.

— Не за себя боюсь, свѣтикъ, — все такъ-же растерянно лепеталъ дядька, — бѣда тебѣ, коли нагонятъ, вѣдаешь самъ...

— А нагонятъ — откупимся, — тряхнувъ кудрями, отвѣчалъ мальчикъ, — чай не мало казны въ мошнѣ припасено. А коли што—и ручницы [1] возьмемъ, палить будемъ! — смѣло заключилъ красавчикъ-князекъ.

— Храни Господи!.. Ручницы! Ишь што выдумалъ! Да ихъ то, разбойниковъ, съ десятокъ али болѣ соберется, а насъ то — я да Егорка, да ты, молоденчикъ. Нешто справиться съ ими? Да и откупомъ немного возьмемъ — все едино обдерутъ до нитки. Единое спасеніе—коней гнать... Куды ни шло!

И снова высунулся въ окно каптаны старикъ-дядька, снова перекинулся словомъ съ возницей и, полуживой отъ страха и волненія, опустился на сидѣнье возка.

Лошади уже не бѣжали, а неслись молніей на всемъ скаку. Тяжелая каптана перепрыгивала съ кочки на кочку, грозя ежеминутно грохнуться о-земь и развалиться на сотню кусковъ. Мѣсяцъ скрылся за тучу и внутри каптаны снова наступила ночь. Въ сгущенномъ мракѣ князекъ Алеша нащупалъ небольшой, какъ-бы игрушечный чеканъ [2], заткнутый за поясъ и сжалъ его дрогнувшей рукою.

«Буду защищать дядьку, коли доведется настигнуть насъ татямъ», — вихремъ пронеслось въ мозгу смѣлаго мальчика.

---

[1] Ружья. — [2] Родъ топорика.

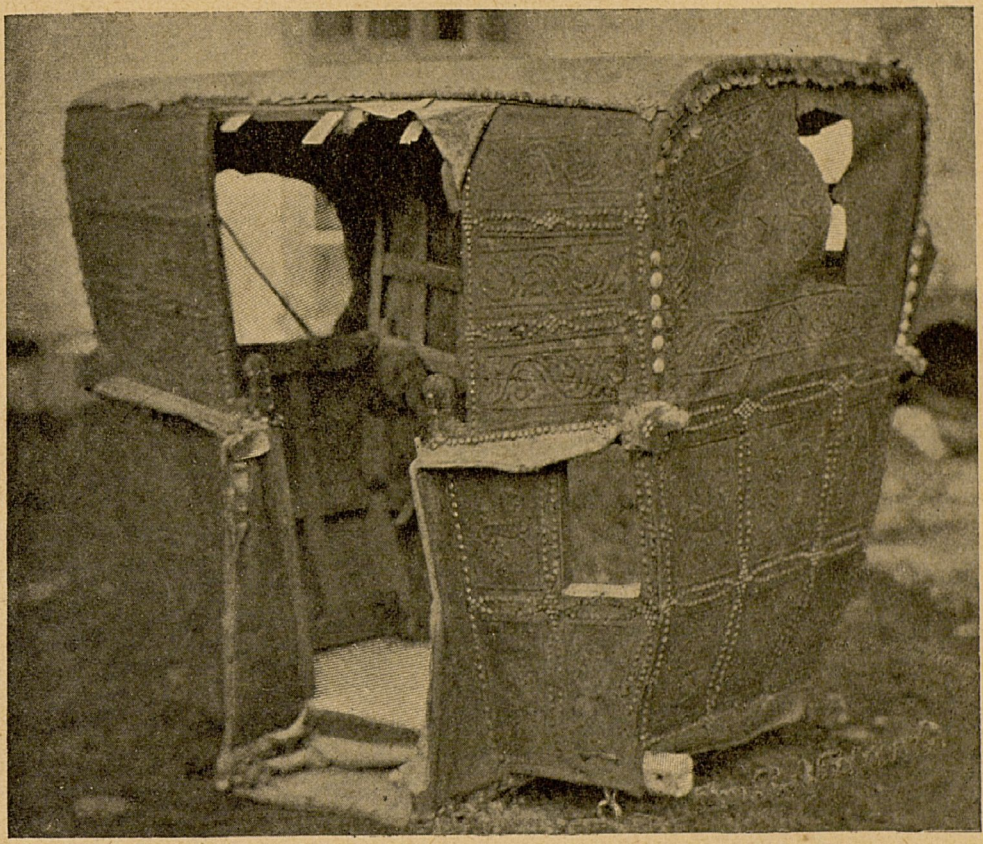
А чаща все стонала, и вопила, и гикала на разные голоса. Казалось, вся нечистая сила лѣса, съ упырями, лѣсовиками и вѣдьмами во главѣ, слетѣлась сюда справлять свой полночный шабашъ.

Вдругъ, совсѣмъ близко, чуть не надъ самой каптаной, просвистѣлъ молодецкій посвистъ. Вслѣдъ за нимъ ясно и четко прогремѣло надъ головой путниковъ:

— Сарынь на кичку [1]!

И кони разомъ остановились, схваченные подъ уздцы десяткомъ сильныхъ, молодецкихъ рукъ.

[1] Условный окликъ или сигналъ, который выкрикивали воры и разбойники, нападавшіе на проѣзжихъ дорогахъ на богатыхъ купцовъ и знатныхъ бояръ.

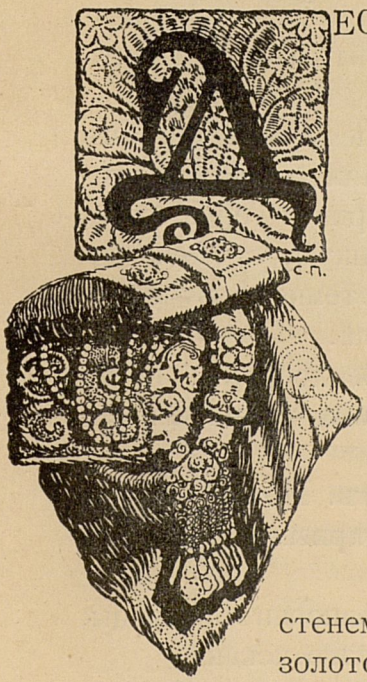


Карета Строгановыхъ, хранящаяся въ Сольвычегодскѣ, въ соборномъ подвалѣ.

СЪ ФОТОГРАФІИ К. А. БАРАНѢЕВА.

ГЛАВА II.

Пагубный выстрѣлъ.—Расправа.—Странный обмѣнъ.



ЕСЯТКА полтора дюжихъ молодцовъ, одѣтыхъ въ темные кафтаны и вооруженныхъ бердышами [1], кистенями [2] и дрекольемъ, вмигъ окружили каптану.

Вынырнувшій снова изъ-за облака мѣсяцъ освѣтилъ ихъ сильныя богатырскія фигуры, полныя безшабашной удали и разгула лица, ихъ мускулистыя руки, сжимавшія оружіе... Впереди былъ высокій плечистый парень, одѣтый богаче и наряднѣе остальныхъ. На немъ былъ алый кафтанъ, опоясанный дорогимъ поясомъ заморской чеканки, съ заткнутыми за нимъ ножами и кистенемъ. Высокая шапка, съ расшитымъ золотомъ околомъ, и желтые, подбитые

[1] Широкій топоръ на длинной рукояткѣ. — [2] Увѣсистый набалдашникъ на короткой палкѣ, просто насаженный, прикованный звеньями или привязанный ремнями.

серебряными скобами, нѣмецкой кожи, сапоги довершали нарядъ станичника, внѣшностью своею скорѣе похожаго на знатнаго воина, нежели на вора и разбойника.

Его грозное лицо, казалось, не знало милосердія. Жестокою суровостью дышала каждая черта. Черныя брови хмурились. Румяныя уста подъ длинными холеными усами презрительно сжимались. Большой шрамъ, слѣдъ вражьей сабли, шелъ отъ правой щеки къ переносицѣ, странно отмѣчая это, еще молодое, но уже не мало видѣвшее на своемъ вѣку, лицо.

— Гей, ты, кто кроется тамъ въ бѣсовомъ логовищѣ, вылѣзай, што-ли! — крикнулъ онъ зычнымъ голосомъ, въ то время какъ трое изъ его ватаги ринулись къ Егору, стащили его съ козелъ и скрутили поясами по рукамъ и ногамъ.

Все это произошло такъ быстро, что несчастный возница не успѣлъ даже крикнуть или попытаться защитить себя.

Внутри же каптаны было попрежнему тихо какъ въ могилѣ. Гробовымъ молчаніемъ отвѣчали на приказъ станичника сидѣвшіе въ ней. Только старикъ Терентьичъ, загородивъ своей плотной фигурой тонкую, статную фигурку юнаго князька, налаживалъ въ темнотѣ ручницу, наскоро схваченную изъ ближняго угла.

— Гей, кто тамъ есть! Вылѣзай добромъ, не то худо будетъ! — снова прогремѣлъ своимъ громкимъ голосомъ главный вожакъ шайки.

— Слышь, дядька, вылѣзать велитъ. Може и лучше такъ-то по-добру, по-здорову? — невѣрнымъ голосомъ шепнулъ Алеша старику.

Онъ былъ очень блѣденъ и взволнованъ. Пальцы, помимо воли, сжимали рукоятку дѣтскаго чекана.

— Нишкни, дѣтушка, нишкни! — замахалъ на него рукою Терентьичъ. — Може отмолчимся... А не то...

И вѣрный дядька краснорѣчиво потрясъ ручницей,

готовясь дорого продать жизнь своего ненагляднаго питомца.

Въ слюдовое оконце уже заглядывали бродяги.

Парень въ аломъ кафтанѣ первый ринулся впередъ. Изо всей силы налегъ онъ на дверку и въ одинъ мигъ высадилъ ее своими могучими плечами.

— Вона гдѣ голубчики притаилися, старый воронъ да молодой ястребенокъ! Ну, не погнѣвайтесь, чинъчиномъ, вылѣзайте, бояре! — съ какимъ-то злораднымъ смѣхомъ произнесъ онъ и осѣкся разомъ, такъ какъ Терентьичъ вскинулъ свой самопалъ и, не цѣлясь, выпустилъ въ богатыря-парня весь зарядъ изъ ручницы. Блеснулъ огонекъ, грянулъ выстрѣлъ. Молодецъ въ аломъ кафтанѣ громко ахнулъ и съ яростнымъ проклятіемъ схватился за плечо. Алая струя крови брызнула изъ раны...

— Никита Евсеичъ раненъ! Гляди, робята! Держи стараго филина! Вяжи его дьявола, и пащенка ево заодно съ имъ! — бѣшеными криками загремѣли окружавшіе каптану разбойники.

Въ одинъ мигъ былъ обезоруженъ старый Терентьичъ. Его выволокли изъ возка, съ ругательствами и проклятіями перекрутили ему руки веревками и потащили въ чащу.

Слѣдомъ за нимъ ринулся Алеша.

— Куда, ястребенокъ? — схватилъ его за руку одинъ изъ станичниковъ.

— И меня, и меня берите! Я заодно съ дядькой, съ Терентьичемъ... Жили вмѣстѣ и помирать намъ стало вмѣстяхъ,—сверкая глазами крикнулъ отважный мальчикъ.

— Ишь ты какой прыткій! Помереть завсегда успѣешь, — усмѣхнулся кто-то изъ бродягъ, — прежде дай съ твоимъ батькой справиться. Какъ онъ въ нашего есаула пальнулъ! По головкѣ за то, само собой, не погладимъ.

— Гей,—тутъ-же добавилъ тотъ-же голосъ, обращаясь къ прочимъ станичникамъ,—пообчистите капитану, робята. Небось, не мало въ ей всякаго добра да казны боярской припасено.

Едва было отдано это приказаніе, какъ нѣсколько ражихъ молодцовъ кинулись къ каптанѣ и съ дикимъ остервенѣніемъ принялись хозяйничать въ ней.

Между тѣмъ раненый начальникъ, во главѣ небольшой кучки разбойниковъ, углубился въ чащу. Слѣдомъ за нимъ вели связанныхъ Терентьича и Егора. Подлѣ злосчастнаго дядьки шагалъ Алеша, не отводя отъ Игната встревоженныхъ глазъ. Вскорѣ межъ деревьевъ замелькали огни, зачернѣли новые силуэты людей... Ихъ собралось около сотни на огромной лѣсной полянѣ, у нѣсколькихъ разложенныхъ тутъ и тамъ костровъ.

Въ сторонѣ отъ другихъ, у большого костра, на огнѣ котораго варилось что-то въ таганѣ, подвѣшенномъ съ помощью трехъ копій, сидѣлъ смуглый юноша съ открытымъ веселымъ лицомъ, черными глазами и такими же кудрями, выбивавшимися изъ-подъ шапки.

На немъ былъ такой же какъ и у раненаго есаула нарядъ, только вмѣсто всякаго оружія, заткнутаго у того за поясъ, висѣла большая, тонкой работы, кривая турская сабля съ осыпанной дорогими каменьями рукояткой, такъ и бросавшаяся своимъ великолѣпіемъ въ глаза.

— Летали сѣрые коршуны и выслѣдили гнѣздо кукушки. Съ поживой тебя, есаулъ,—обнажая улыбкой бѣлые зубы, произнесъ черноглазый, отодвигаясь отъ костра и уступая мѣсто раненому начальнику.

— Спасибо на такой поживѣ! Зачѣпилъ меня малость старикашка... Ну, да расправлюсь по-свойски съ обидчикомъ моимъ. Попомнитъ, небось, на томъ свѣту, каково изъ самопала палить въ есаула,—зловѣще сверкнувъ очами въ сторону связаннаго Терентьича, проворчалъ тотъ.

— Давай его сюда, робя! Допросъ ему чинить надоть,—свирѣпо крикнулъ онъ тутъ-же, обращаясь къ приведшимъ плѣнника людямъ.

Сильнымъ, грубымъ толчкомъ выдвинули старика впередъ.

— Ты—бояринъ?—рѣзко спросилъ его есаулъ.

— Въ жизни имъ не бывалъ. Мы простые гости [1] Московскіе, держали путь отъ престольнаго града домой обратно,—чуть внятно роняли дрожащія губы обезумѣвшаго отъ ужаса Игната.

— А лари да укладки съ добромъ это товары, што-ли, скажешь?..—криво усмѣхнулся есаулъ, невольно морщась отъ боли и зажимая рану у плеча.

— Товары и есть... Обмѣняли ихъ на пермскіе гостинцы и веземъ домой... Отпусти, милостивецъ, заставь Бога молить,—лепеталъ старикъ, падая на колѣни.

— То-то обмѣнялъ! Что-то дюже много ихъ накупилъ, старина! Ровно добро боярское... Ну, да ладно, повѣримъ, коль не врешь. А парнишка энтотъ—внучекъ твой, што-ли?—также усмѣхаясь, продолжалъ свой допросъ есаулъ.

— Внучекъ, со мной изъ Перми на Москву ѣздилъ, а сейчасъ вертаетъ обратно, — словно обрадовавшись неожиданному исходу разговора подтвердилъ Терентьичъ.

— Красно придумалъ, старина,—неожиданно расхохотался есаулъ-разбойникъ,—да только внучекъ на тебя словно ни осанкой, ни обличьемъ не сходенъ. Да и по одежѣ разнится. Ишь, у него чеканъ-то што у самого царевича, такъ каменьями и играетъ. По всему видать боярское отродье! Да и ты-жъ, не во гнѣвъ буде сказано, старикъ, переодѣванный, должно, бояринъ, изъ тѣхъ кровопивцевъ самыхъ, што народъ взятками да по-

[1] Купцы.

датями давятъ, да кровь христіанскую сосутъ... Видать, што совѣсть у тебя нечиста, бояринъ, коли зачалъ палить не за што, не про што—здорово живешь. Гей, молодцы, вздернуть всѣхъ троихъ, и старичка рѣчистаго, и пащенка-внучка богоданнаго, да и возницу заодно! Всѣ они переодѣванные губители! Ишь, добра, народнымъ потомъ добытаго, прозапасли полну каптану,—присовокупилъ грозный есаулъ и махнулъ рукою.

Съ рыданьемъ и воплемъ повалился ему въ ноги Терентьичъ.

— Батюшка, не губи! Милостивецъ, отпусти! Не за себя прошу. Паренька не казни да Егорку. Ни въ чемъ неповинны оба... Меня покарай, а ихъ ослобони на волю, батюшка милостивецъ...

— То-то, милостивецъ!.. Запѣлъ соловьемъ... Душа въ пятки... Вздернуть всѣхъ троихъ!—снова повысилъ свой и безъ того зычный голосъ начальникъ.

Три дюжихъ станичника кинулись къ старцу, набросили ему на шею веревку и подтащили къ толстостволой березѣ.

Не помня себя ринулся къ дядькѣ Алеша, взмахнулъ игрушечнымъ чеканомъ и дико вскрикнулъ:

— Не троньте дядьку, не то...

Но въ тотъ же мигъ сильная рука обезоружила мальчика. Дѣтскій чеканъ очутился въ рукахъ одного изъ разбойниковъ; другой крѣпко стиснулъ въ своихъ мощныхъ рукахъ плечи Алеши.

Напрасно рвался мальчикъ къ Терентьичу. Могучіе пальцы станичника, словно клещами, впивались въ его плечи. Онъ видѣлъ, какъ его дядьку подвели подъ огромный сукъ, какъ закинули на сукъ веревку и какъ медленно стало подниматься на ней грузное тѣло старика.

— Алешенька, свѣтикъ, храни тебя Господь!—успѣлъ только произнести несчастный, и въ послѣднихъ конвульсіяхъ дрогнуло мертвое тѣло Игната.

Дикій крикъ пронесся по полянѣ и какъ подкошенная былинка упалъ на траву сомлѣвшій князекъ. Онъ не видѣлъ продолженія ужасной расправы, не видѣлъ, какъ рядомъ съ мертвымъ дядькой повисло на суку и тѣло Егора. Не видѣлъ, какъ, обшаривъ каптану, станичники съ богатой добычей присоединились къ костру, какъ одинъ изъ нихъ, по приказу озвѣрѣвшаго отъ боли въ плечѣ есаула, подошелъ къ нему, Алешѣ, и занесъ надъ его головой тяжелый бердышъ.

— Стой!—крикнулъ внезапно черноглазый молодой разбойникъ.—Стой, Ермила!... Ей, Никита Евсеичъ, отдай мнѣ ево,—обратился онъ къ своему жестокому сосѣду, указывая глазами на обмершаго Алешу.

— Што сердцемъ сталъ больно жалостливъ, Матюша? Ровно дѣвка красная,—засмѣялся есаулъ.—По всякой падали кручиниться—кручины не хватитъ. Не по-казацки это... А еще подъесауломъ назначенъ! Вотъ такъ подъесаулъ! Надъ всякой дохлятиной плачется, ровно баба слезливая.

— Нѣтъ! Не моги ты меня унижать, есаулъ,—вскакивая со своего мѣста и вытягиваясь, какъ струна, во весь свой стройный ростъ, отвѣтилъ черноглазый,—самъ вѣдаешь, какая баба изъ меня вышла. Небось, николи не дрогнула рука Мещерякова... кололъ и рубилъ съ плеча враговъ народныхъ. Невѣдома сердцу жалость была, а нынѣ она заговорила. И стыднаго ничего тутъ нѣтъ... Обмеръ парнишка, а ты его мертваго прикончить велишь. Нешто ладно это? Нешто на то и поднялась вольница казацкая, штобъ съ ребятами малыми воевать?... Ну, про старичишку, лядъ съ имъ, ничего не скажу. Онъ въ тебя палилъ, за то и поплатился. Око за око, зубъ за зубъ... Возница тожъ волкомъ смотрѣлъ. Но энтотъ малецъ ни въ чемъ неповиненъ. Вотъ што: видалъ мою саблю турскую? Богатѣе и краше у самого атамана-батьки не сыщешь... Самъ

салтанъ, поди, не носилъ такой-то. Снялъ я ее у воеводы того, што изрубили мы лѣтось съ отрядомъ. Возьми ее у меня и носи на здоровье, а мнѣ мальчонку за то отдай.

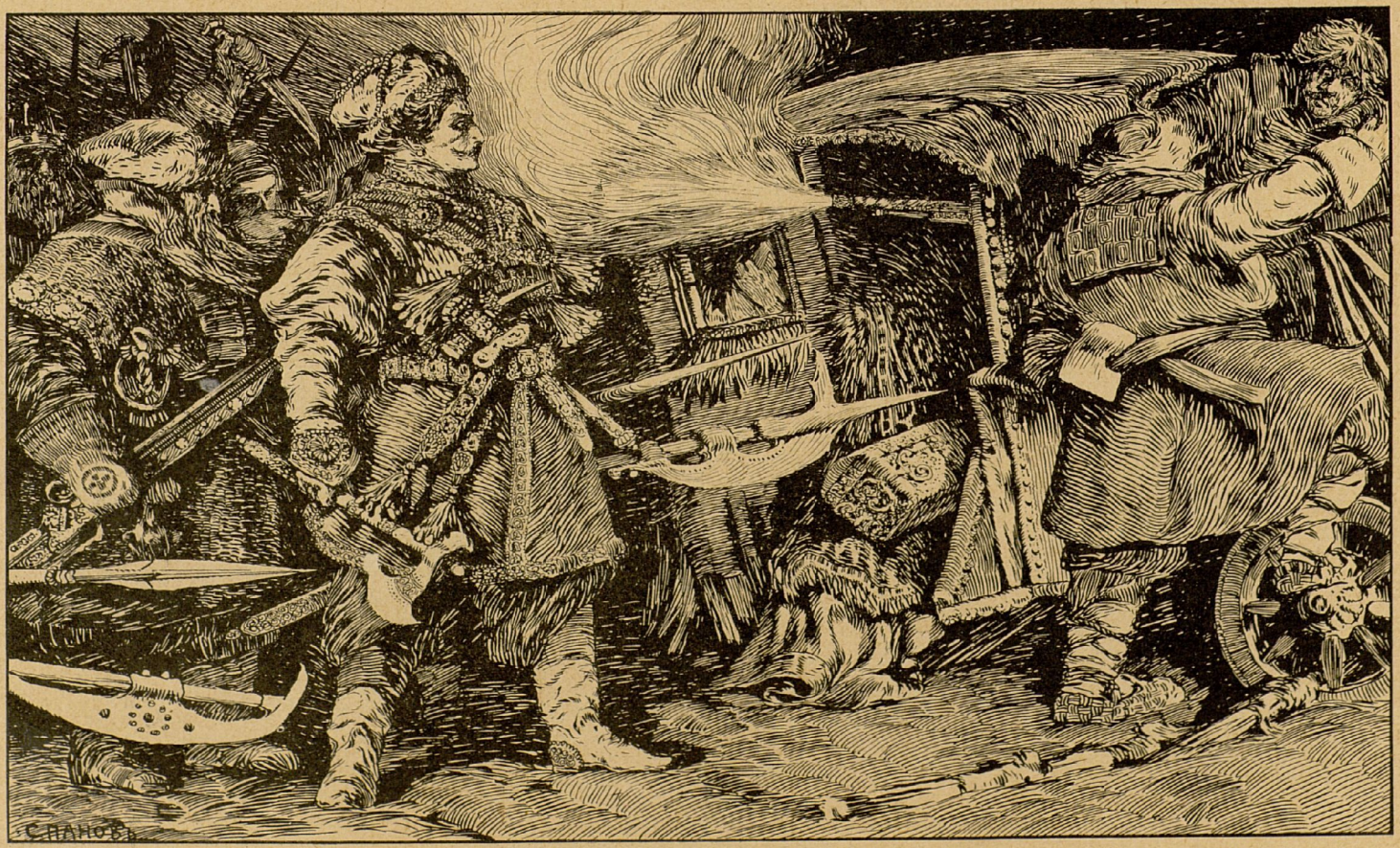
И быстро отцѣпивъ драгоцѣнную саблю отъ пояса передалъ ее есаулу.

Замолкъ черноглазый и яркимъ взоромъ вонзился въ товарища, а у того зрачки такъ и загорѣлись. Турецкая сабля невиданной красоты давно плѣняла его. Недолго колебался Никита Панъ, — какъ звали раненаго главаря шайки, — и отвѣтилъ:

— Бери парнишку, Матвѣй, твой онъ... А за саблю турскую великое тебѣ, большое спасибо. Ужъ больно по душѣ она мнѣ пришлась...

И чуть не впервые улыбнулись суровые глаза есаула, впиваясь восхищеннымъ взоромъ въ дорогой подарокъ.

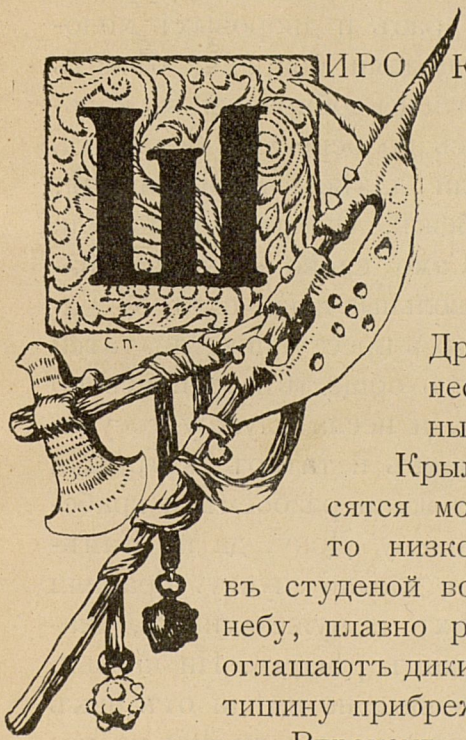
Черноглазый Мещеряковъ даже вспыхнулъ отъ удовольствія, вскочилъ на ноги, отошелъ отъ костра и, быстро приблизившись къ лежащему на травѣ Алешѣ, бережно поднялъ его, взвалилъ на плечи и понесъ безчувственнаго въ чащу лѣса.



Терентьичъ выпустилъ въ богатыря-парня весь зарядъ изъ ручницы...

ГЛАВА III.

Грозная казацкая вольница.



ИРОКО, вольно, плавно и красиво катитъ красавица-Волга серебристую ленту своихъ тихо ропчущихъ водъ. Зеленою осокой да пышными дремучими лѣсами поросла, убралась на диво красавица-рѣка. Дробно рябитъ шалунъ-вѣтерокъ нескончаемую гладь ея хрустальныхъ теченій...

Крылатыя бѣлогрудыя чайки носятся молніей надъ водяною гладью, то низко-низко купая сѣрыя крылья въ студеной волнѣ, то вздымаясь высоко къ небу, плавно рѣютъ въ голубоватой дали и оглашаютъ дикимъ и рѣзкимъ крикомъ сонную тишину прибрежныхъ лѣсовъ.

Впрочемъ, не всегда мертвая тишина царствуетъ надъ Волгой. Часто побѣднымъ боевымъ кликомъ оглашается красавица-рѣка... Зашуршитъ, зашепчетъ при-

брежная осока. Дрогнутъ камыши, и цѣлая флотилія остроносыхъ струговъ и ладей заскользитъ правильной шеренгой, клоня долу концами веселъ гибкіе, покорные стебли тростника. Одна за другой скользятъ лодки... Гребцы, какъ на подборъ, молодецъ къ молодцу. Глаза ястреба, рука долотъ булатный, сила у всѣхъ богатырская. Гребутъ дружно, пѣсни поютъ, звонкія молодецкія пѣсни, про славные набѣги, про житье-бытье вольной вольницы, про самихъ себя.

Междоусобныя войны древнихъ князей, издѣвательства татаръ, придавившихъ Русь своимъ тяжелымъ игомъ, неправильные подати и налоги, заставляли изстрадавшихся въ нуждѣ и насиліяхъ жителей русскихъ городовъ и деревень, а иной разъ и дворовыхъ холоповъ, притѣсняемыхъ ихъ господами боярами, бѣжать на окраину, въ степь. Эти бѣглецы собирались въ вольныя бродячія дружины, ютились по берегамъ большихъ рѣкъ Волги и Дона и уходили далѣе въ привольныя, южныя русскія степи, на рубежъ. Они-то и положили начало русскому казачеству. Само слово «казакъ» значитъ вольный человѣкъ. Эти вольные люди охотно принимали въ свои дружины бѣглыхъ преступниковъ, татей и воровъ. Многіе изъ казацкихъ обществъ селились по рубежу, образовывая станицы, и несли службу государеву, отражая нападеніе ногайцевъ и татаръ, которыми кишѣли южныя степи. Другіе жили разбоемъ и грабежомъ по широкой Волгѣ и синему Дону, да по Камѣ-рѣкѣ. Эти послѣдніе никому не давали спуску. Грабили купцовъ съ товарами, русскихъ и чужеземныхъ, плавающихъ на судахъ по широкимъ рѣкамъ. Ни князья, ни бояре, ни даже послы иноземные не имѣли отъ нихъ пощады. Стаей дикихъ коршуновъ нападали они на корабли и караваны, грабили ихъ, безжалостно убивали купцовъ и путешественниковъ, а добычу волокли въ

свой казацкій «кругъ» [1] и здѣсь главный атаманъ-батька дѣлилъ поровну всю награбленную добычу между своими удалыми дружинниками.

1564 годъ, ознаменовавшійся учрежденіемъ опричины царемъ Іоанномъ IV, увеличилъ такія вольныя шайки до невѣроятныхъ размѣровъ.

Славный покоритель Казани и Астрахани, счастливый завоеватель Ливонскихъ земель, грозный соперникъ короля польскаго Сигизмунда-Августа и шведскаго Густава-Вазы, — царь Іоаннъ Васильевичъ, послѣ смерти любимой жены своей, царицы Анастасіи и сына-первенца Дмитрія [2], заподозрилъ въ ихъ смерти своихъ давнишнихъ враговъ — бояръ. Былая дѣтская ненависть къ своимъ бывшимъ воспитателямъ и притѣснителямъ, управлявшимъ государствомъ за его малолѣтствомъ, вспыхнула теперь съ новой силой въ царѣ. Все припомнилъ боярамъ злопамятный Іоаннъ: и какъ потакали его дурнымъ наклонностямъ бояре, и какъ отдаляли ближнихъ людей отъ него, и какъ всячески проявляли надъ нимъ свою тяжелую власть. А тутъ еще при жизни царицы и царевича довелось жестоко заболѣть царю и тѣ же бояре, не желая присягать его преемнику, малюткѣ Дмитрію, задумали присягнуть князю Владиміру Андреевичу Старицкому, двоюродному брату царя. Все помнилъ Іоаннъ, ничего не забылъ. И теперь рѣшилъ жестоко отомстить всѣмъ ненавистнымъ ему боярамъ. Онъ началъ съ того, что отдалилъ отъ себя Адашева и священника Сильвестра, своихъ прежнихъ любимцевъ, совѣтами которыхъ пользовался долгіе годы. Кто-то изъ новыхъ приближенныхъ царя успѣлъ шепнуть убитому горемъ государю, что Сильвестръ и Адашевъ отравили царицу Анастасію. Это и послужило на-

[1] Сходка, во время которой рѣшались всѣ дѣла вольной казацкой дружины. [2] Не надо смѣшивать перваго, умершаго въ младенчествѣ, сына Іоаннова Дмитрія съ царевичемъ-отрокомъ Дмитріемъ, убитымъ въ Угличѣ.

чаломъ кровавой драмы. Іоаннъ назначилъ судъ надъ своими недавними друзьями. По приговору этого суда Сильвестръ былъ заточенъ въ Соловецкую обитель, Адашева же бросили въ тюрьму, гдѣ несчастный скоро покончилъ съ собою. Между тѣмъ царь переѣхалъ изъ столицы въ Александровскую слободу и занялся тамъ устройствомъ опричины, той удалой дружины тѣлохранителей, которые готовы были въ огонь и въ воду за своего царя. Съ этими-то опричниками [1], по большей части худородными дворянами и дѣтьми служилыхъ людей, во главѣ которыхъ стоялъ сдѣлавшійся главнымъ и ближайшимъ совѣтникомъ царя Малюта Скуратовъ-Бѣльскій, Іоаннъ выводилъ крамолу изъ среды боярской. Достаточно было кому-либо изъ опричниковъ оговорить боярина, будь это даже самый прославленный въ бояхъ воевода-герой, его ожидали лютыя муки въ застѣнкѣ палача Малюты и неизбѣжная казнь. Кровь полилась рѣкою по Руси православной. Стонъ стономъ повисъ надъ Московской землей.

Жадные и лютые, новые слуги государевы — опричники, желая поживиться на счетъ казны именитыхъ людей, оговаривали то того, то другого изъ земскихъ бояръ передъ Іоанномъ. И несчастнаго боярина, чаще всего неповиннаго, брали въ застѣнокъ, пытали до смерти, иногда со всей семьею, а всѣ его богатства, вотчины и имѣніе отдавались клеветникамъ.

Лучшія имена именитыхъ людей были вычеркнуты изъ списка живущихъ. Братъ Алексѣя Адашева, Даніилъ, князь Дмитрій Овчина-Оболенскій, прославленный воевода, князь Михаилъ Рѣпнинъ, Курпины, Колычевы и другіе, безъ числа и счета, погибали мученической

[1] Слово «опричникъ» происходитъ отъ «опричь», т. е. опричь царя (кромѣ царя) они никого не знали. На содержаніе опричниковъ были отданы многіе города, а въ самой Москвѣ даже нѣкоторыя улицы. Все остальное составляло земщину, порученную Государственной Думѣ съ боярами Мстиславскимъ и Бѣльскимъ во главѣ.

смертью по приказу царя. Погибъ Владиміръ, князь Старицкій съ семьею, погибъ и свергнутый митрополитъ Филиппъ за его «печалованіе» передъ царемъ за осужденныхъ. Многіе бояре, князья и именитые люди, въ ужасѣ передъ лютыми муками на дыбѣ или подъ ножомъ палача, бѣжали за литовскій рубежъ и переходили на службу къ польскому королю Сигизмунду. Знаменитый князь Курбскій, Черкасскіе, Вишневецкіе нашли себѣ новое отечество въ Польшѣ. Ихъ холопы бѣжали также, зная обычай царя губить не только самого оговореннаго боярина съ семьею, но и всю дворню боярскую, а нерѣдко и цѣлыя деревни, принадлежащія обреченному на смерть. И холопы, и крестьяне бѣжали сотнями въ привольныя степи и на берега Волги и Дона, гдѣ «гуляли» вольныя казацкія дружины, разбоями и набѣгами запечатлѣвавшія каждый свой шагъ.

Но больше всего здѣсь все же было недовольныхъ правленіемъ воеводъ да тяжелыми податями, гнетомъ давившими обѣднѣвшій голодный русскій народъ. Гуляли казаки по Волгѣ и Дону, приводя въ страхъ и ужасъ купцовъ и гостей иноземныхъ да воеводъ-бояръ... Бѣдныхъ людей казаки не трогали. Бѣдный человѣкъ всегда могъ найти пристанище среди грозныхъ вольныхъ дружинъ. Грабили и убивали тѣхъ, кто наживалъ тяжелую мошну обманнымъ торгомъ, богатѣевъ-купцовъ, своихъ и иноземныхъ. Не разъ схватывались также казаки съ кочевыми племенами ногайскихъ и крымскихъ ордъ, уходя далеко въ степи, всюду прославляя могучее удалое имя казацкой вольницы — Поволжской и Донской.

Много слышалъ Іоаннъ жалобъ на кровавыя расправы вольныхъ казаковъ. Грозный царь слалъ сильные отряды ловить разбойниковъ, обѣщалъ богатыя награды за головы ихъ главныхъ вождей, заочно приговаривалъ къ плахѣ удалыхъ атамановъ. Но неуловимы были шайки

вольныхъ молодцовъ... Сама Волга-матушка да Донъ широкій, казалось, покровительствовали имъ, пряча въ прибрежной осокѣ ихъ мелкіе струги отъ царскихъ судовъ, да дремучіе лѣса укрывали смѣльчаковъ подъ раскидистыми вѣтвями деревъ въ невылазной угрюмой чащѣ...

ГЛАВА IV.

Орелъ Поволжья.—Коршуны и вороны.—Погоня.

ТО сверху-то было Волги-матушки,
Выплывала то легка лодочка,
Ужъ и всѣмъ-то лодка изукрашена,
Парусами она изувѣшена,
Ружьецами изуставлена.
У ней носъ, корма раззолочены.
На кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ,
На носу стоитъ есаулъ съ багромъ,
По краямъ лодки добры молодцы,
Среди лодки бѣлъ-тонкій шатеръ,
Во шатрѣ лежитъ шелковый коверъ,
Подъ ковромъ лежитъ золота казна,
На казнѣ сидитъ красна дѣвица;
Она плачетъ, какъ рѣка льется,
Въ возрыданьи слово молвила:
«Не хорошъ то мнѣ сонъ привидѣлся,
«Ужъ какъ у меня, красной дѣвицы,
«Распаялся мой золотой перстень,
«Выкатился дорогой камень,
«Расплелась моя коса русая,
«Выплеталась лента алая,
«Лента алая ярославская.
«Атаману быть разстрѣляну,
«Есаулу быть повѣшену,
«Добрымъ молодцамъ срубятъ головы,
«А мнѣ дѣвушкѣ во тюрьмѣ сидѣть»...

Дивно и громко несется пѣснь по зеркальной глади могучей рѣки. Золотое солнце играетъ волной, дробясь милліардами искръ на хрустальной поверхности водъ. Царственно-величаво въ своихъ лѣсистыхъ берегахъ катится красавица-Волга. То вздымаются къ небу высокіе

гористые берега, то голой равниной стелются вдаль, туда, гдѣ синее небо граничитъ съ зеленой степью. Чуть шуршитъ прибрежная осока, низко склоняясь подъ могучими ударами гребцовъ... Ходко и стройно движется-скользитъ среди цѣлаго моря тростника утлая ладья. А пѣсня несется все привольнѣе и шире, вылетая изъ груди четырехъ дюжихъ молодцовъ, сидящихъ на веслахъ.

Имъ подтягиваетъ сѣдой человѣкъ, стоящій на кормѣ съ правиломъ. Плотный, высокій, въ дорогомъ кафтанѣ изъ тонкаго сукна, съ массою оружія, привѣшеннаго у пояса, въ расшитой шелками рубахѣ, выглядывающей изъ-за ворота кафтана, онъ такъ и дышитъ мощью и силой, не глядя на пожилые степенные годы. Высокая казацкая шапка съѣхала ему на темя и остриженные въ кружокъ сѣдоватые кудри падали вокругъ умнаго, открытаго лица. Возлѣ него сидѣлъ на обрубкѣ дерева, поставленномъ на днѣ лодки, человѣкъ лѣтъ тридцати, олицетворявшій собою типъ настоящаго зрѣлаго красавца-мужчины. Широкія могучія плечи, стройный, на диво сложенный богатырскій станъ, не столько высокій, сколько сильный и мощный, смуглое, румяное лицо, орлиный взоръ свѣтлыхъ, словно душу прожигающихъ, горячихъ глазъ, странно дисгармонирующихъ со смуглой кожей и черной шапкой смоляныхъ кудрей и черною же бородою. Что-то властное, привыкшее повелѣвать было въ его сильной богатырской фигурѣ и въ свѣтлыхъ искрометныхъ очахъ, спорящихъ въ блескѣ съ самимъ солнцемъ. Гордыя, смѣло очерченныя губы, плотно сжатыя подъ черными же усами, и широкія густыя брови, сошедшіяся надъ переносицей, дѣлали его внѣшность не заурядной, величественной и красивой. Въ бѣлой шелковой рубахѣ, расшитой по вороту и краямъ рукавовъ пышнымъ узоромъ изъ крупныхъ бурмицкихъ зеренъ, съ золотой тесьмой опояски,

— Што закручинился, атаманъ-батька?..

онъ не имѣлъ и слѣда оружія при себѣ. Только изъ-за голенища торчалъ короткій ножъ, сверкающій въ лучахъ солнца разукрашенной камнями рукояткою. Бархатный съ парчевой тесьмой кафтанъ былъ небрежно накинутъ на плечи. Съ непокрытой головой, предоставивъ свои черные кудри ласкѣ солнечныхъ лучей, онъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости на днѣ лодки, какъ бы убаюканный пѣніемъ гребцовъ...

А пѣсня лилась широкою волною, то сливаясь съ нѣжнымъ рокотомъ быстрой рѣчной волны, то отдѣляясь отъ нея зычнымъ побѣднымъ звукомъ и вспугивая бѣлогрудыхъ чаекъ среди густыхъ зарослей и золотистаго тростника.

Сѣдой человѣкъ, стоявшій на правилѣ лодки, долго смотрѣлъ на задумчиваго богатыря. Наконецъ не вытерпѣлъ, положилъ на дно челна шестъ, которымъ правилъ, и, подойдя къ чернявому молодцу и коснувшись его плеча рукою, спросилъ съ замѣтной ноткой почтительности въ голосѣ:

— Што закручинился, атаманъ-батька? Аль не весело тебѣ?.. Аль и пѣсня не тѣшитъ?

— Не весело, Иванычъ,—слегка дрогнувъ отъ неожиданности своимъ мощнымъ тѣломъ, отвѣчалъ тотъ.— Какъ разсказалъ ты мнѣ про ночное гульбище ребятъ нашихъ, Никитки-Пана съ шайкой его, такъ ровно ножомъ мнѣ мысль голову рѣзанула: пошто убили старика и возницу наши молодцы? Пошто мальчонка запужали до смерти?

— Да старикъ-то съ возницей, баютъ наши, переодѣванные бояре были. Изъ ручницы зачали палить, старикъ Микитку ранилъ. Ну и того, значитъ, озвѣрѣлъ Микитка. Самъ вѣдаешь, не изъ кроткихъ онъ... Съ той поры какъ прикончили у его на глазахъ невѣсту опричники царскіе, поклялся онъ мстить всѣмъ слугамъ Ивановымъ безъ разбору и суда, — все также почтительно докладывалъ сѣдой человѣкъ.

— Звѣрь-человѣкъ што и говорить, не помилуетъ и сиротъ... А по мнѣ, Ваня, чѣмъ меньше крови на душѣ, тѣмъ легче живется. Враговъ народныхъ, кровопивцевъ-бояръ да опричниковъ кромѣшныхъ, да купцовъ-лихоимовъ аль воеводъ-взяточниковъ, ну, этимъ я первый безъ жалости ножъ въ сердце всажу... А тѣ, што тихо да мирно путь держатъ и никому зла не чинятъ, ихъ мово приказу губить не было. Такъ ли я говорю, есаулъ?

— Такъ-то такъ, атаманъ-батька! А только и то помысли: нешто намъ молодцовъ нашихъ сдержать? Кровь-то у нихъ горячая, што огонь... Зайдутся, удержу нѣтъ... Хошь бы и ты, не прогнѣвись на вѣрномъ словѣ, хошь бы и тебя взять въ младости твоей: небось загубилъ ненарокомъ не едину душу неповинную, — тихо, чуть слышно, произнесъ старый есаулъ.

— Загубилъ, Ваня, — сильно вздрогнувъ и нахмуривъ свои черныя брови, произнесъ атаманъ, — помню, на Дону то было... Еще при славномъ атаманѣ Михаилѣ Черкашенинѣ [1]. Отъ Азова за Донъ забѣжала часть его шайки на Волгу, къ намъ. Гуляли на просторѣ вмѣстяхъ. Вмѣстяхъ же ограбили и караванъ купцовъ отъ Астраханскаго юрта съ кизыльбацкимъ товаромъ и шемаханскими шелками, пробиравшійся по Волгѣ... Ну, это пронюхали о нихъ молодцы. Чинъ чиномъ, какъ водится, засѣли со стругами въ осокѣ. Подплыло судно, подпустили, напали, какъ всегда... Ну, рѣзня это... пальба... рубка... а апосля дѣлежъ. Только вижу я не всѣ люди съ суденышка посняты да перебиты. Сидитъ это старикашка плюгавенькій, не то турка, не то персъ... У самого зубы со страха лязгаютъ да глаза, ровно мыши, бѣгаютъ. А въ рукахъ штука парчи; къ груди прижалъ, держитъ крѣпко. Подошелъ это я къ ему,

---

[1] Знаменитый въ свое время атаманъ Донского и Азовскаго казачества.

наклонился, а онъ, откуда не возьмись, ножъ острый изъ мошны вытащилъ да и грозится имъ. Разсвирѣпѣлъ я, зашлось во мнѣ сердце. Мнѣ бы его обезоружить, а я, грѣшенъ, чеканъ изъ-за пояса выхватилъ да тѣмъ чеканомъ старикашку по темени и хвать... Мозги наружу... и ахнуть не успѣлъ... Кровью чоботы мнѣ да полу кафтана покрасилъ... А зубами, кажись, и мертвый лязгалъ, пока не убрали его, глазами какъ-то страшно, съ укоромъ смотрѣлъ. Индо душу мнѣ вывернулъ... И долго чудился мнѣ его взглядъ... Съ той поры закаялся я проливать кровь неповинную, Ваня, — тихо закончилъ свой разсказъ атаманъ.

А пѣснь все развертывалась, все шире, все мощнѣе и вольнѣе расплывалась на рѣчномъ просторѣ. Вздыхалъ тростникъ. Шуршала осока. Скользила подъ могучими ударами веселъ ладья.

Вдругъ смолкла, оборвалась пѣсня на полусловѣ. Крикъ иволги пронесся и замеръ въ прибрежномъ лѣсу.

— Наши вѣстуютъ. Ястребовое гнѣздышко близко, — разомъ, оживляясь, произнесъ атаманъ и, поднявшись съ мѣста, вытянулся во весь ростъ, приложилъ руку ко рту и протяжно свистнулъ.

Ему отвѣтили крикомъ горленки изъ чащи, и вслѣдъ затѣмъ раздѣльно и часто закукóвала кукушка.

— Приставай, робя! Слышь, молодцы наши голосъ подаютъ. Причаливай!—снова отдалъ приказъ атаманъ, и, когда ладья незамѣтно подплыла къ песчаной отмели и ударилась носомъ въ песокъ, онъ первый выскочилъ на берегъ. За нимъ вышли его спутники. Лодку привязали къ прибрежной осокѣ и, поклавъ снасти на дно, двинулись отъ берега въ лѣсную чащу.

Сдѣлавъ съ полъ-сотни шаговъ, всѣ четверо остановились. Снова приложилъ руку ко рту атаманъ и на этотъ разъ карканье ворона огласило лѣсъ. Изъ чащи отвѣчали такимъ же карканьемъ. Путники прошли еще

немного и очутились на большой лѣсной полянѣ, окруженной непроходимой чащей лиственныхъ деревъ. Срубленные пни, торчавшіе на каждомъ шагу, показывали, что еще недавно это мѣсто было такъ же густо, какъ и окружающая его чаща. Теперь, вмѣсто великановъ-деревьевъ, были разбросаны на каждомъ шагу шатры и шалаши изъ вѣтвей и листьевъ.

Посреди поляны, тутъ и тамъ, сидѣли люди большими группами, одѣтые кто во что попало. Мелькали здѣсь и нарядные кафтаны, и посконныя рваныя мужицкія сермяги, и зипуны, и старыя шапки. Въ оружіи, имѣвшемся у нихъ, замѣчалось тоже огромное различіе: иные были вооружены бердышами, чеканами, саблями, иные кистенями и ножами, а то и просто дубинами.

Среди бродягъ богатствомъ наряда и обиліемъ вооруженія выдѣлялись трое. Тутъ былъ и суровый Никита съ рубцомъ на лицѣ и плотно перевязаннымъ холстиной раненымъ плечомъ, прозванный Паномъ за его польское происхожденіе, и черноглазый молодой Матвѣй Мещерякъ, и Яковъ Михайловъ, старшій изъ подъ-есауловъ, угрюмый, съ нависшими бровями, старикъ, прозванный Волкомъ за его хищные рѣдкіе зубы, за блуждающій взглядъ и полное отсутствіе милосердія въ дѣлахъ нападенія и разбоя. Онъ стоялъ посреди большой группы людей и что-то оживленно разсказывалъ окружающимъ.

Остальные разбойники почтительно поглядывали на этихъ троихъ, отчаянной удалью прославившихся, людей.

Лишь только появился атаманъ со своими спутниками, всѣ почтительно вскочили со своихъ мѣстъ, уступая ему дорогу. Шапки мигомъ послетѣли съ казацкихъ головъ и вся поляна огласилась громкимъ крикомъ:

— Здравъ будь, атаманъ-батько!

— Здорово, ребятушки! — сильнымъ, звучнымъ голосомъ отвѣчалъ вновь прибывшій.

— Есаулу Ивану Ивановичу здоровьеце! — новымъ крикомъ пронеслось по лѣсу.

— Спасибо, братцы!—отвѣчалъ сѣдоусый есаулъ.

Между тѣмъ острые глаза атамана обѣжали поляну.

— Не вертались дозорные? — спросилъ онъ, обращаясь къ тремъ своимъ помощникамъ, стоявшимъ отдѣльно.

Старый Волкъ выдвинулся впередъ.

— Не вертались, Ермакъ Тимофеичъ. А съ ночи ушли. Вотъ ужо подымется солнышко, полдничать станемъ, глядишь, и подоспѣютъ молодцы.

— А ты, Михалычъ откедова? Ишь кафтанъ на тебѣ еле живъ—весь въ дырьяхъ. Да и на лицѣ тожъ царапины да кровь запеклась,—обратился Ермакъ (такъ звали атамана) къ старику Волку.

Яковъ Михайловъ только тряхнулъ плечами.

— На развѣдки ходилъ я, атаманъ. Самою чащею пробирался, — вишь, сучья да вѣтви искровянили рожу. Черныхъ вороновъ выглядывать ходилъ...

— Ну, и штожъ, выглядѣлъ? — живо вскинулъ на него глазами Ермакъ.

— Выглядѣлъ... Не даромъ волкомъ меня зовутъ ребята наши. Инь глаза-то у меня, што у звѣря лѣсного, да и чутье его-же... Близко, въ десяти всего переходахъ [1] вороны черные. Видимо-невидимо ихъ, што твоя туча. А ведетъ ихъ бояринъ—князь Одадуровъ, воевода царскій. Къ самой головѣ рати я подползалъ, въ кустахъ хоронился, да въ дуплахъ деревъ... Все выглядѣлъ, все высмотрѣлъ, батько-атаманъ. Небось ни одинъ изъ ихъ не пронюхалъ, что Михайловъ Яковъ, по коему застѣнокъ Малютинъ плачетъ, на воеводское пресвѣтлое личико близехонько любовался, — со смѣхомъ заключилъ свою рѣчь старикъ.

---

[1] Верстахъ.

Захохотали и остальные разбойники. Веселымъ гомономъ оживился лѣсъ.

— Ай да Волкъ! Ай да Яковъ Михалычъ! На воеводское личико, бишь, налюбовался! — съ нескрываемымъ восхищеніемъ повторяли въ группахъ.

— Молодецъ, Яша! Вѣкъ не забуду, — сильно ударивъ его по плечу могучей рукою, крикнулъ Ермакъ, и острые глаза его вспыхнули яркимъ огнемъ.—Жалую тебя кафтаномъ съ плечъ того воеводы.

— Слышь, робята? Слышь? — такъ и всколыхнулся Яковъ,—кафтанъ мнѣ атаманомъ княжій пожалованъ! Стало съ самимъ княземъ и расправа моя!

— Твоя, подъесаулъ... твоя, дѣдка! Што и говорить, заслужилъ, — отозвались громкіе голоса со всей поляны.

— А людей нашихъ не видалъ, Михалычъ?—давъ утихнуть крикамъ, снова обратился къ старику Ермакъ.

Старый Волкъ хотѣлъ отвѣтить и не успѣлъ. Топотъ нѣсколькихъ десятковъ копытъ послышался въ чащѣ. Точно нѣсколько человѣкъ сломя голову неслись на коняхъ по лѣсу.

Ермакъ выпрямился и насторожился. Орлиныя очи его впились въ чащу, какъ бы прорѣзывая густую листву деревьевъ и кустовъ.

— Ребята, го-то-о-вь-ся!—умышленно замедленнымъ шопотомъ, но громко и сильно, пронесся вслѣдъ затѣмъ его голосъ по полянѣ.

Какъ дѣйствіемъ волшебства оживилась по этому крику поляна. Со всѣхъ концовъ ея къ серединѣ кидались люди, спѣшно хватая оружіе — самопалы, бердыши и ножи. Въ боевомъ порядкѣ становились разбойники, развертываясь правильнымъ четыреугольникомъ, готовые къ бою. Впереди всѣхъ стоялъ атаманъ. Его орлиный взоръ попрежнему не отрывался отъ чащи. Сѣдоусый есаулъ Кольцо всталъ возлѣ атамана. Всѣ взоры

впились въ Ермака. Всѣ ждали, готовые грудью постоять за свою свободу, за вольныя головы казацкихъ дружинъ... Казалось, поведи только черною бровью храбрецъ-атаманъ, и вся эта горсть смѣльчаковъ ринется впередъ навстрѣчу еще невидимому врагу.

Топотъ слышался все ближе и ближе... Вотъ замелькали цвѣтные кафтаны въ зеленой листвѣ.

— Го-то-о-вься! — еще разъ пронеслось по лѣсу.

Почти одновременно съ этимъ выскочили изъ чащи съ десятокъ верховыхъ на быстрыхъ и рослыхъ коняхъ, убранныхъ чепраками.

— Наши! — вырвалось разомъ удивленнымъ возгласомъ изъ нѣсколькихъ сотенъ грудей.

— И впрямь наши! Дозорные вернулись! — весело и радостно крикнулъ Ермакъ. — Да и съ прибылью никакъ!.. Коней, гляди, робя, пригнали!

— И то съ прибылью! — весело крикнулъ черноглазый Мещерякъ, скакавшій впереди всѣхъ на дивномъ, бѣломъ, какъ снѣгъ, аргамакѣ, — воеводовымъ конемъ тебѣ челомъ бью, атаманъ! — и спрыгнулъ съ лошади на всемъ скаку, веселый, радостный, такъ и сверкая темнымъ взоромъ. За нимъ спѣшились и всѣ остальные. Это были все молодые, сильные казаки, какъ на подборъ молодецъ къ молодцу. Ничего хищнаго, ни разбойничьяго не было въ ихъ мужественныхъ, дышащихъ удалью, лицахъ.

— Здорово, Мещеря! Отколь выудилъ коньковъ? — спросилъ молодца-юношу Ермакъ Тимофеичъ.

— Изъ-подъ самаго носа воеводиной рати стянулъ, атаманъ, — бодро и весело отвѣчалъ тотъ. — Вишь притомились царскіе дружинники-стрѣльцы да дѣти боярскіе: на привалѣ полдничали да соснуть полегли. Больно крѣпки чарки зелена вина, видно, у царской рати. Ну, а кони на травѣ стреножены, паслись... Я да Ивашка Гвоздь, да Соловейка, да Петрушка-Пушкарь ползкомъ

до часовыхъ и добрались. Ихъ похватали, перевязали, рты позаткнули, а сами коней подхватили да сюда. Проснется воевода — на палочкѣ верхомъ поскачетъ, его сподручные тожъ, — съ хохотомъ закончилъ свою рѣчь черноглазый Матвѣй.

— Ай-да Мещеря! Ай-да хватъ-парень! — захохоталъ и Ермакъ. — Видано-ли дѣло, штобъ изъ-подъ самаго носу воеводы коней увесть!

За нимъ хохотали и всѣ разбойники, находившіеся на полянѣ. Снова ожила дремучая чаща Поволжья и сотнями голосовъ прокатилась эхомъ, замирая въ хрустальныхъ волнахъ сосѣдки-Волги. Казалось, глядя на всѣ эти безпечно смѣющіяся лица, что не душегубы-станичники это, готовые, какъ звѣри, броситься съ ножами на добычу, а веселый, добродушный народъ собрался поболтать и побалясничать въ лѣсной чащѣ.

Но вдругъ снова все смолкло...

Лицо черноокаго Матвѣя сразу стало серьезнымъ.

— Слушай, атаманъ-батька, — произнесъ громко юноша, — кони — конями, а рать — ратью. Черные вороны по слѣдамъ нашимъ идутъ; напали вѣрно... Всего въ пяти переходахъ отъ насъ они. Сниматься надо да утекать, не то нагрянутъ... Видимо-невидимо ихъ нагнало: передовой отрядъ воеводскій и то змѣей растянулся длиннѣющей, на два перехода хватитъ.

— Съ тыщу будетъ? — небрежно кинулъ Ермакъ.

— Какое? Тыщи съ три, а то и болѣ! Къ ночи ждать безпремѣнно надо...

— Зачѣмъ ждать, — усмѣхнулся Ермакъ. — Когда черные вороны тучей на коршуна несутся, коршунъ къ небу вздымется и пойдетъ на улетъ. Не соромно то, не зазорно, — все же коршунъ выше да могучей, все же не одолѣть его стаѣ вороньей! — презрительно повелъ плечами атаманъ.

Потомъ, помолчавъ немного, онъ словно раздумалъ.

Ермакъ.

СТАТУЯ М. М. АНТОКОЛЬСКАГО.

Спустя нѣсколько минутъ громкимъ кликомъ далеко раскатился его могучій голосъ:

— На стругъ, робята! Живо! На стругъ!

Ожила мигомъ поляна. Забѣгали, засуетились люди, собираясь въ путь. Снимали шатры, убирали всякіе признаки жилья-стоянки. Каждый хлопоталъ за себя и за другихъ. Ермакъ отошелъ къ сторонѣ, терпѣливо выжидая окончанія сборовъ.

Цѣлый планъ роился въ этой гордой вольной головѣ, по которой давно тосковала Московская плаха.

Гроза Поволжья не любилъ утека, какъ онъ называлъ бѣгство отъ царскихъ дружинъ, но онъ не былъ воленъ въ своихъ чувствахъ. Его пятисотенная дружина лежала цѣликомъ на его совѣсти. Будь онъ одинъ, бобылемъ, безъ этой вольницы, прославившей себя разбойничьими удалыми дѣлами, онъ бы не бѣжалъ, какъ ночной воръ, а дорого-бы продалъ царскому воеводѣ свою удалую головушку! Прежде чѣмъ одолѣли-бы его ратники-стрѣльцы, онъ не мало искрошилъ бы ихъ своей казацкой саблей.

Но не одинъ онъ, Ермакъ. Онъ отецъ всѣхъ этихъ удальцовъ, дѣлившихъ съ нимъ радость и горе казацкой жизни. Они его выбрали своимъ атаманомъ-батькой, ввѣрили ему свою судьбу, долженъ же онъ охранять ихъ буйныя, смѣлыя головы. Многихъ изъ нихъ ждутъ-не-дождутся палачи. Иванъ Кольцо, ближній совѣтникъ и есаулъ Ермака, давно заочно приговоренъ къ мучительной казни четвертованіемъ; Волкъ, Михайловъ Яковъ, бѣжалъ изъ застѣнка; Никита Панъ приговоренъ съ ними; о немъ, Ермакѣ, и говорить нечего: лютыя муки ждутъ его въ Москвѣ. По немъ, какъ по травленному звѣрю, гонится царская погоня. Все Поволжье занято московскими дружинами. Надо спасаться, уносить свою шкуру. Не за себя жутко атаману, а за тѣхъ, которые слѣпо довѣрили ему свою судьбу.

Любитъ онъ ихъ всѣхъ, могучій атаманъ. Дорогъ ему каждый изъ этихъ отчаянныхъ удальцовъ, съ которыми протекли вольные годы его безшабашной казацкой жизни. И пока собираются его дружинники въ дальній путь, онъ сидитъ съ глубокой думой, поникнувъ головою.

— Атаманъ-батька,—слышится ему тихій голосъ,—дозволь слово молвить. Просьбишка у меня до тебя малая есть.

Ермакъ быстро поднялъ чернокудрую голову. Юноша Мещерякъ, его любимецъ, удалецъ-подъесаулъ, стоитъ передъ нимъ.

— Выкладывай, Мещеря,—ласково, окинувъ казака своимъ орлинымъ взоромъ, произнесъ атаманъ и дружески хлопнулъ по плечу черноглазаго Матвѣя.—Вмѣстѣ щи хлебаемъ, авось вмѣстяхъ и бѣду разжуемъ.

— Не бѣда это, батька, а зацѣпа одна,—тряхнувъ кудрями, произнесъ Мещерякъ.—Въ шалашѣ у меня мальчонка лежитъ недужный, тотъ самый, коего я у Микиты на саблю обмѣнялъ. Такъ дозволь его съ собой прихватить, Ермакъ Тимофеичъ.

— Да стоитъ-ли, Мещеря? Онъ тебѣ руки свяжетъ, а все одно, сказывали молодцы, не жилецъ онъ, не сегодня-завтра помретъ.

— Не жилецъ, это вѣрно, атаманъ.

— Такъ, може, царскимъ ратямъ его оставить? Не найдетъ-ли родичей ненарокомъ али ближнихъ знакомцевъ своихъ. Устроить бы его какъ-нибудь повиднѣе въ шалашѣ. Найдутъ его царскія дружины.

— Такъ-то такъ, атаманъ, а только жалко мнѣ што-то оставлять ворогамъ нашимъ мальчонку. Ужъ больно онъ мнѣ братишку напомнилъ. Былъ у меня братишка, атаманъ, Ванюшкой звали... Померъ въ молодыхъ годахъ. Такой же пригожій да нѣжный, какъ боярчикъ этотъ! Такъ того... Дозволь мнѣ его при станѣ держать, атаманъ.

— Ну, держи, парень, нѣтъ на томъ моего запрета. Лишь-бы не померъ на пути мальчуга. Дальній путь будетъ, въ прикамскіе лѣса мы на стругахъ поплывемъ, — серьезно и тихо приказалъ Ермакъ.

— Попытаю уберечь, атаманъ!.. Спасибо на добромъ словѣ. Ужъ больно на Ванюшку онъ обликомъ схожъ.

И низко поклонившись начальнику, Мещерякъ кинулся къ небольшому шалашу, стоявшему на дальнемъ концѣ поляны.

Ермакъ долго смотрѣлъ ему вслѣдъ, пока не скрылась подъ темнымъ навѣсомъ сильная, рослая фигура юноши.

— Ишь, жалостливый! А вѣдь доведись до схватки — и стараго, и малаго ножомъ пырнетъ...—чуть усмѣхнувшись, прошептали его губы.

И, словно встряхнувшись, быстро поднялся съ мѣста Ермакъ и протяжно свистнулъ три раза. Въ одинъ мигъ вся его дружина была вокругъ своего атамана.

— Готовы, робя? — прозвучалъ его громкій возгласъ.

— Готовы, атаманъ!—дружнымъ хоромъ отвѣчалъ весь станъ.

— На-а стру-угъ! — раздалась команда.—Коней воеводскихъ разнуздать и пустить по степи, пущай нагайцы ловятъ!.. Съ конями возжаться не надо. А поляну съ четырехъ концовъ запалить! Пущай господинъ воевода дыму до отвала налопается, вражій сынъ! — сверкнувъ глазами, приказалъ коротко Ермакъ.

— Близехонько ужъ, поди, они, — вставилъ свое слово есаулъ Кольцо.

— А нуть-ка, Яша, послушай малость, — обратился атаманъ къ Волку.

Тотъ камнемъ упалъ на земь и приложилъ ухо къ травѣ.

— Топочатъ, батька... Грохоту навели... Дрожитъ земля; поди, бѣгутъ бѣгомъ; накрыть мыслятъ, — обрывисто докладывалъ старикъ.

— Во-во! Сейчасъ тебя и нагонятъ! Держи мошну[1] шире, — засмѣялся Ермакъ. — Дрова покладены, костеръ горитъ, котелъ шумитъ, сварена ли каша, вольные братцы-казаки?

— Сварена, атаманъ, хлебать надо.

— Похлебаемъ артелью, когда полдникъ придетъ, а пока што ложки, да плошки, да посуду клади, да новаго мѣста къ вечеру ищи! Коршунъ вьется, кукушка плачетъ... гдѣ то сядетъ, на чьемъ гнѣздѣ? Время не терпитъ, гайда на стругъ! — закончилъ атаманъ свою рѣчь, типичную, разбойничью, полную сравненій и недосказокъ.

— На стругъ! — въ голосъ повторили за нимъ разбойники и чинъ чиномъ, правильными рядами, двинулись, неся каждый оружіе и припасы къ рѣкѣ, гдѣ, спрятанные въ тростникахъ, ихъ ждали струги, весла и паруса, готовые всегда на случай отступленія.

Ермакъ еще оставался на полянѣ. Когда послѣдніе ряды его пятисотенной съ лишкомъ рати двинулись гуськомъ къ рѣкѣ подъ предводительствомъ есаула Кольцо, онъ подозвалъ Никиту Пана и Волка и еще трехъ, оставшихся при коняхъ, станичниковъ и что-то приказалъ имъ. Въ одинъ мигъ три молодыхъ разбойника высѣкли огонь при помощи кремня и трута и, привязавъ пучки сухихъ листьевъ и хвороста къ стволамъ старыхъ деревьевъ, подожгли въ нѣсколькихъ мѣстахъ мѣсто недавней стоянки.

Лошади при видѣ пламени зафыркали, затопали копытами, дико поводя испуганными глазами. Одинъ изъ станичниковъ взмахнулъ по воздуху нагайкой; онѣ взви-

[1] Карманъ.

лись на дыбы и съ дикимъ ржаніемъ понеслись, обезумѣвъ, въ самую чащу, минуя пылающіе древесные столбы.

— Лихо! Ой лихо!—блеснувъ глазами, крикнулъ Ермакъ и, махнувъ оставшимся станичникамъ слѣдовать за нимъ, быстрыми шагами направился къ рѣкѣ догонять свою дружину.

За нимъ поспѣшили и остальные.

Въ ту же минуту открылась самодѣльная дверь шалаша, и на ея порогѣ появился Матвѣй Мещерякъ съ тяжелой ношей въ рукахъ, бережно завернутой полами кафтана.

ГЛАВА V.

Недужный.

ОЧЬ... Тьма кромѣшная заволокла густыя заросли Поволжскихъ лѣсовъ. Мракъ спустился по берегу. Но на рѣкѣ свѣтло. Серебряный мѣсяцъ сіяетъ во всю... Плавленымъ серебромъ въ этомъ сіяніи кажется Волга. Гдѣ-то далеко плачетъ въ тростникахъ какая-то ночная птица. Глухо шуршитъ осока. Въ высокихъ камышахъ чувствуется жизнь. Они то низко склоняются къ серебряной водѣ, то гордо выпрямляются, точно тянутся на встрѣчу лунному сіянію. Отъ мѣсяца по рѣкѣ идетъ дорожка. Она какъ будто манитъ, зоветъ къ себѣ...

Низко еще разъ наклонились камыши, и изъ чащи ихъ выплываетъ стругъ. За нимъ второй, третій, четвертый... Цѣлая флотилія струговъ, цѣлая вереница ихъ. Вотъ миновали тѣнью покрытыя мѣста и въѣхали въ серебряную дорожку. На носу передовой лодки, весь

облитый прихотливымъ сіяніемъ мѣсяца, точно статуя, вылитая изъ серебра, стоитъ Ермакъ. Какъ зачарованный смотритъ атаманъ на мѣсяцъ, а мысли докучнымъ роемъ носятся въ его головѣ. Которыя сутки почти вровень съ ними, берегомъ только, идутъ царскія дружины. Будь онъ со своими молодцами на берегу, то давно-бы нагнали и похватали ихъ государевы ратники. Да только ошиблись. Не такъ то глупы они, чтобъ попасться впросакъ. И невдомекъ воеводамъ царя Ивана, что скользятъ его, Ермака, ребята почти рядомъ съ ними, скрытые только камышами да ночною тьмою.

«Эхъ, до Камы-бы добраться,—спасены тогда! На Каму не пойдутъ царскія дружины... Знаютъ, што съ Волги-матушки не уйдетъ онъ, Ермакъ. Эхъ, кабы Кама поскорѣе!»—взволнованно роется въ мозгу атамана горячая мысль.

Тихо на лодкахъ. Не слышно пѣсенъ. Словно не живые люди гребутъ въ ладьяхъ. Всѣ знаютъ серьезность минуты. Знаютъ завѣтную мысль атамана проскользнуть невидимо на Каму, избѣгнуть неравнаго боя, обмануть намѣреніе царской погони.

Только въ одномъ изъ струговъ слышится тихій разговоръ. Черноглазый юноша Мещерякъ и сѣдой Волкъ, Яковъ Михайловъ, шепчутся, склонясь надъ кормой лодки, гдѣ на разостланномъ войлокѣ, покрытомъ пушистымъ ковромъ, — добычей послѣдняго набѣга на алтайскій караванъ,—лежитъ Алеша.

Уже около недѣли прошло съ той роковой ночи, когда онъ былъ свидѣтелемъ гибели любимаго дядьки, а мальчикъ все еще не приходитъ въ себя. Жестокій недугъ приковалъ его къ мѣсту. Память и сознаніе, казалось, навсегда отлетѣли отъ этой юной красивой головы. Онъ то мечется, горячій какъ огонь, на своемъ ложѣ, съ лихорадочно-горящими глазами и пылающимъ

лицомъ, то, съ неестественной для больного силой, приподнимется на рукахъ и полнымъ ужаса и смертельнаго испуга взоромъ уставится въ одну точку. Съ его устъ поминутно срываются дикія, безсвязныя слова, то вдругъ мучительный стонъ вырывается изъ груди. И тогда все красивое лицо мальчика искажается невыразимымъ страданьемъ.

И такъ восьмыя сутки мучается Алеша.

— Дѣдушка-Волкъ, — въ непонятной тоскѣ шепчетъ, склонившись надъ недужнымъ князькомъ, Мещерякъ, — много ты прожилъ на своемъ вѣку, много пережилъ, спаси ты мнѣ парнишку... Заставь за себя Бога молить. Я-же тебѣ услужу за это! Чего хочешь требуй, — все выполню... Слыхалъ, говорили ребята, што ты знахарствовалъ когда то...

— Знахарствовалъ и то... За знахарство и на костеръ чуть было не угодилъ... Шибко не любитъ знахарей да вѣдуновъ Грозный государь-батюшка, — чуть-чуть усмѣхнулся старый разбойникъ. — А только ужъ не знаю, какъ тебѣ помочь... Не трясовица, не огневица, не прочая болѣсть у твоего парнишки... Испугался, шибко зашелся онъ и упало въ немъ сердце и покедова не надышится оно—такъ то маяться и будетъ... А надышится...

— Выживетъ тогда? — живо сорвалось съ губъ Матвѣя.

— Выживетъ, паря.

— А коли не надышится?

— Ну, тогда шабашъ — карачунъ.

— Помретъ? — дрогнувшимъ звукомъ проронилъ Мещерякъ.

— Лопнетъ сердце, зайдется и лопнетъ, — спокойнымъ дѣловымъ тономъ отвѣчалъ Волкъ.

— Стой, дѣдка. Никакъ говоритъ штой-то парнишка.

И въ одну минуту Матвѣй очутился на колѣняхъ

передъ Алешей и быстро приставилъ ухо къ его губамъ. Чуть слышный стонъ вырвался изъ груди мальчика.

— Терентьичъ... дядька... голубчикъ, — беззвучно лепеталъ больной, — куды они тебя... Не пущу... Не пущу, злодѣй... извергъ... душегубъ... Дѣдушка... родненькій... заступись... Дѣдушка... дѣдушка...

И онъ заметался на днѣ струга, какъ подстрѣленная птица.

— Ишь, сердешный, дѣда зоветъ, — произнесъ кто-то изъ гребцовъ.

— Ау твой дѣдъ! Давно его вороны съѣли!

Жалостно и съ сочувствіемъ дрогнули суровыя лица находившихся въ лодкѣ.

— Матвѣй Андреичъ, испить-бы ему, — нерѣшительно произнесъ другой голосъ.

— И то... закрени сулеей [1] водицы, Степа, — приказалъ Волкъ.

Молодой разбойникъ отложилъ весла, взялъ со дна струга сулею и, перегнувшись черезъ бортъ, зачерпнулъ ею серебристой хрустальной влаги, потомъ бережно поднесъ ко рту больного.

Къ полному изумленію присутствующихъ Алеша отхлебнулъ изъ сулеи.

— Никакъ опамятовалъ? — затаивъ дыханіе, прошепталъ Мещерякъ.

— Опамятовалъ и то... Ну, таперича корешокъ я ему дамъ, пущай на гайтанѣ [2] носитъ, — произнесъ Яковъ Михайловъ и, наклонившись надъ больнымъ, сталъ возиться около него.

Бредъ мальчика становился между тѣмъ все неяснѣе, непонятнѣе. Онъ то звалъ дѣда и дядьку и безпокойно метался, то затихалъ на минуту, чтобы въ слѣдующую же снова стонать и метаться.

---

[1] Плоская склянка, посудина.—[2] Шнурокъ, тесьма.

А ночь ползла и таяла, растворяясь въ бѣлесоватыхъ пятнахъ разсвѣта. Деревья на берегу принимали все болѣе опредѣленныя очертанія. Мѣсяцъ поблѣднѣлъ и казался теперь жалкимъ напоминаніемъ недавняго серебрянаго ночного властителя ночи. Наконецъ, алая красавица-заря, словно пурпуровой мантіей, накрыла пробужденное небо...

Струги уже не скользили на вольномъ просторѣ рѣки. Скрытые осокой и тростникомъ, они плыли въ ихъ чащѣ, невидимые въ этомъ густомъ лѣсу.

— Скоро и Кама!—радостно произнесъ одинъ изъ гребцовъ.

— Какъ выйдемъ на берегъ, оправится мальченокъ,—мечтательно проговорилъ Мещерякъ и замеръ отъ неожиданности...

Прямо на него сознательно смотрѣли широко открытые глаза больного—двѣ синія, ярко горящія звѣзды... Блѣдное, изможденное, исхудалое лицо повернулось въ его сторону.

— Гдѣ я?—прошептали блѣдныя ссохшіяся отъ жара губы.

— У своихъ, родимый... Что, лучше тебѣ?—такъ и ринулся къ мальчику обезумѣвшій отъ радости Мещеря.

— А Терентьичъ гдѣ? Егорка?—съ трудомъ роняли слово за словомъ слабыя губы Алеши.

Глаза его тревожно обѣгали лодку. Вдругъ все лицо его странно измѣнилось. Отчаяніе, гнѣвъ и ужасъ отразились на немъ... На кормѣ поровнявшагося съ нимъ струга стоялъ человѣкъ въ аломъ кафтанѣ съ перевязаннымъ плечомъ. Знакомые широкіе глаза, длинные усы и шрамъ на щекѣ такъ и бросились въ глаза больному.

И разомъ страшная картина гибели дядьки выплыла передъ больнымъ князькомъ.

— Убійца Терентьича!—глухо вырвалось изъ груди

Алеши и дикій вопль жалобнымъ крикомъ пронесся надъ рѣкой.

— Нишкни! Ишь дьяволенокъ, выдастъ насъ всѣхъ съ головой врагамъ! Въ мѣшокъ бы его да въ воду!— сверкнувъ своимъ жесткимъ взоромъ, произнесъ Никита и замахнулся бердышемъ.

Но въ одинъ прыжокъ черноглазый Мещерякъ очутился въ его стругѣ.

— Слушай, Панъ,—весь блѣдный и дрожащій отъ злобы ронялъ Матвѣй,—коли ты еще хоть однажды такое слово речешь,—чеканомъ раскрою тебѣ темя, Господомъ Богомъ клянусь!

И не дождавшись отвѣта ошалѣвшаго отъ неожиданности Никиты, Мещеря снова очутился подлѣ бившагося въ нечеловѣческихъ вопляхъ и рыданіяхъ Алеши.

— Кама! Кама!—послышались сдержанные голоса въ передовомъ кругѣ.

Атаманъ точно проснулся отъ своей задумчивости; лицо его оживилось.

Прямо передъ нимъ темной лавиной вливался въ Волгу ея могучій многоводный притокъ.

— Спасены!—облегченно вздохнулъ всею грудью Ермакъ Тимофеичъ.—Спасены! Царскіе воеводы не посмѣютъ сунуться въ глухія Прикамскія чащи. Ни дорогъ въ нихъ, ни тропъ не проложено. А по глади водной не больно то пѣшій пройдетъ,—торжествующе подсказывала услужливая мысль.

И ожилъ, встрепенулся Ермакъ.

— А ну-ка, братцы, грянемъ разудалую,—весело прозвучалъ его голосъ, когда струги уже болѣе часа времени скользили въ высокихъ зарослях Камскихъ водъ,—только не больно голосисто штобы. Не вѣдомо еще, далеко-ли отстала погоня наша.

Едва успѣлъ произнести Ермакъ эти слова, какъ грянула веселая, удалая разбойничья пѣснь.

Ой, гуляетъ, гуляетъ душа молодецкая,
Веселись на послѣдъ, удалой казачекъ.
Веселится, гуляетъ головушка буйная
Вдоль по Волгѣ родной да по Камѣ рѣкѣ.
Ой, гуляетъ душа молодецкая!
Не долгонько гуляти тебѣ, удалой,
Налетятъ, словно вороны, вороги-ратники,
Разобьютъ удалую дружину твою.
Закуютъ тебя въ цѣпи могучи, желѣзныя,
Отвезутъ на расправу въ столицу Москву.
Ой, гуляетъ, гуляетъ душа молодецкая!
Да не дологъ, коротокъ надъ молодцомъ судъ.
Клещи рвутъ ему тѣло могучее, бѣлое;
Кровь казачья вокругъ полилася струей.
На дыбахъ захрустѣли могучія косточки,
Издѣваясь, ломаетъ ихъ лютый палачъ.
Ой, гуляетъ, гуляетъ душа молодецкая!
Не придется ей долѣ гулять удалой...
Ужъ на Лобномъ готовятъ столбы съ перекладиной,
Ужъ какъ точитъ топоръ свой палачъ-богатырь,
Ужъ какъ море шумитъ вокругъ плахи народъ,
Ждетъ-пождетъ лютой казни души-казака...

При первыхъ же звукахъ пѣсни Алеша затихъ и поднялъ свою кудрявую голову.

— Господи, што-же это? Разбойники? Душегубы, а поютъ-то какъ, словно мамушка-кормилица надъ моей колыбелькой пѣла въ дѣтствѣ... — произноситъ онъ; медленно обводя взоромъ вокругъ себя, онъ встрѣтился съ сочувственными глазами черноглазаго юноши.

— Што, паренекъ, легше-ль тебѣ?—участливо спрашиваетъ его тотъ и, протянувъ руку, ласково гладитъ мальчика по кудрявой головѣ.

Алеша хочетъ отвѣтить и не можетъ. Вся душа его рвется на части отъ боли и тоски. Какъ живой стоитъ передъ нимъ загубленный Терентьичъ. Острая мука потери терзаетъ сердце. Рыданья клокочутъ въ горлѣ... А между тѣмъ эта пѣсня, что голосистой волной катится надъ рѣкою, это ласковое, заботливо-склоненное надъ нимъ лицо, эти мягкіе черные глаза какимъ-то цѣлебнымъ бальзамомъ проливаются въ душу мальчика. Онъ чувствуетъ, что другъ ему этотъ юноша, съ красивыми черными глазами, что всей душой онъ сочувствуетъ ему, и неясная мысль проносится въ разомъ потускнѣвшемъ сознаніи Алеши.

— Вотъ бы такъ-то подъ пѣсню эту, подъ шопотъ осоки и тростника умереть-бы, уснуть на-вѣки, — собравъ послѣднія силы шепчетъ онъ чуть слышно, и его взглядъ устремился на пригожее лицо Мещеряка. Помолчавъ немного, онъ обратился къ Матвѣю:

— Слушай, молодецъ, возьми ты ножъ острый да порѣши меня. Тошно мнѣ! Не вмоготу маяться болѣ! Богомъ заклинаю тебя!

Снова впалъ въ какое то полузабытье Алеша. Не видитъ онъ больше испуганно склонившагося надъ нимъ лица Матвѣя. Не то сонъ, не то грезы заволакиваютъ усталый мозгъ больного. Не сонъ и не грезы это, а недавнія воспоминанія, картины прошлаго, чуть задернутыя какою-то сонною дымкой, носятся передъ нимъ...

. . . . . .

. . . . . .

— Ай, да куды-жъ это ты запропастился, князенька? Въ самую чащу крапивицы угодилъ. Ишь, озорникъ, не приведи Господи! Вотъ постой-ка, ужо нажалюсь на тебя князю-дѣдушкѣ... Онъ тебѣ задастъ...

Вся запыхавшаяся, красная, взволнованная ворчитъ мамушка Евстигнѣевна, нѣкогда выкормившая княжича Алешу, раздвинувшая полными бѣлыми руками кусты малины, густо окруженные жгучей крапивой и лопухомъ.

Но синеокому красавчику Алешѣ не страшны угрозы мамушки. Синеглазый Алеша не боится дѣдушки. Ко всѣмъ строгій да требовательный, старый князь Серебряный-Оболенскій, прославившій себя воеводскими дѣлами подъ Казанскимъ юртомъ и въ земляхъ Ливонскихъ, души не чаетъ въ своемъ любимчикѣ-внучкѣ. Да и кого же жалѣть, какъ не малютку-внучка, старому воеводѣ? Круглой сиротинкой послѣ смерти отца и матери остался Алеша на рукахъ князя. Скрашиваетъ и облегчаетъ жизнь старика своимъ дѣтскимъ лепетомъ

красавчикъ-княжичъ. А и то сказать: не веселая жизнь воеводы, князя Серебрянаго. Когда то однимъ изъ ближайшихъ людей къ царю считался бояринъ. Вмѣстѣ Казань воевали съ молодымъ царемъ. Но съ тѣхъ поръ не мало воды утекло. Иными любимцами окружилъ себя Іоаннъ. Опричники встали грозною стѣною между нимъ и прежними друзьями. Косится на былыхъ своихъ боевыхъ сподвижниковъ государь. А какъ начались побѣги за рубежъ Ливонскій, и совсѣмъ отвернулся Іоаннъ отъ земскихъ бояръ. А тутъ еще старый князь Рѣпнинъ, товарищъ Серебрянаго, поперечилъ какъ-то царю на пирномъ столованіи. Погибъ старый бояринъ жестокой смертью: по дорогѣ ко всенощной убили князя Михаила опричники-палачи, а его другъ Серебряный опалѣ подвергся.

Но и въ опалѣ люди живутъ. Зажилъ и князь Серебряный-Оболенскій въ своихъ подмосковныхъ хоромахъ, вдали отъ двора, на покоѣ. Внучка Алешу роститъ-воспитываетъ, балуетъ и холитъ его. Въ этомъ вся радость, все счастье стараго князя.

Любо живется въ дѣдушкиной усадьбѣ княжичу. Родителей онъ своихъ не помнитъ. Не было еще и году дитяти, какъ умерли отецъ и мать. Мамушка Матреша выкормила его. Мужъ ея, Игнатъ Терентьичъ, вѣрный слуга дѣдушкинъ, въ дядьки ему поставленъ.

Хорошо, какъ у Христа за пазухой, живется Алешѣ.

Длинными зимними вечерами, когда бѣлыя пелены снѣга саваномъ ложатся вокругъ усадьбы, тепло и уютно въ дѣдушкиной горницѣ. Самъ дѣдушка - князь сидитъ въ тепломъ кафтанѣ на мѣху бѣличьемъ, да въ домашней тафьѣ, покрывающей серебряную, убѣленную сѣдиной, голову. А Алеша на колѣняхъ у дѣда примостился. Дивныя были-сказки разсказываетъ ему дѣдъ: про казанскій походъ, про взятіе непокорнаго татарскаго юрта, про плѣненіе царевича Утемышь-Гирея, двухлѣт-

няго казанскаго царя, про грознаго царя-батюшку, бывшаго въ ту пору милостивымъ да добрымъ, и про великое былое святой Руси...

Слушаетъ эти разсказы мальчикъ, а у самого глазенки горятъ, лицо пылаетъ.

— Постой, выросту, дѣда, такимъ-же воякой буду! — восторженно лепечетъ онъ и нѣжится, и ласкается къ старому воеводѣ, счастливому отъ этихъ дѣтскихъ, неподкупныхъ, искреннихъ ласкъ.

Лѣтомъ другія радости ждутъ Алешу. Поспѣваетъ ягода въ дѣдушкиномъ саду. Малина да смородина, да наливной крыжовникъ зрѣютъ въ зеленой чащѣ. Заберется туда ребенокъ и мамушка всѣ руки себѣ о кусты обдеретъ, прежде нежели найдетъ княжича. Ворчитъ, сердится, пожаловаться грозится. Малютка Алеша ластится къ ней, цѣлуетъ няньку, а самъ, чуть что, — снова въ чащу кустовъ...

Съ пяти лѣтъ, вопреки обычаю, посадили за букварь Алешу. Самъ дѣдушка училъ внука, а не приходскій попъ, какъ это принято было въ то время на Руси [1]. Съ дѣдушкой любящимъ начинаетъ понимать грамоту Алеша. Понятливый онъ, толковый мальчикъ, и старый воевода Петръ Семеновичъ нерѣдко съ умиленной душой говоритъ послѣ урока:

— Во истину на радость посланъ мнѣ Алеша-свѣтикъ. Сына отнялъ Господь — внукомъ воздалъ Милостивецъ.

А время не шло, а бѣжало. И бѣда лихая стряслась надъ мирной семьей. Подползла черной тучей страшная година.

Крымскій ханъ Девлетъ-Гирей, давнишній врагъ Іоанна, воспользовавшись войною русскихъ съ Ливоніей, двинулся на Москву. Царь бросился подъ Серпуховъ

[1] Мальчиковъ подростковъ въ тѣ времена учили священники или дьяки изъ ближайшихъ церквей. Начало ученія обставлялось всевозможными церемоніями.

стягивать войска, но крымцы обрушились съ такой быстротой и силой, что не успѣлъ Грозный приготовиться къ оборонѣ и бѣжалъ съ ближними тѣлохранителями къ Ростову. Ханъ подступилъ къ Москвѣ, сжегъ ея посады, и разгромивъ и похватавъ въ плѣнъ болѣе ста тысячъ русскихъ, самъ испугался бушевавшаго пламени и ушелъ назадъ въ свои степи.

Алеша, тогда шестилѣтній мальчикъ, былъ свидѣтелемъ страшной картины. Она и теперь, какъ живая, стоитъ передъ нимъ.

Свѣтло у нихъ въ горницахъ отъ грознаго пламени. Бушуетъ оно, какъ огненное море, кругомъ. А они съ дѣдушкой спѣшно собираются въ Москву. Татары близко. Подожгли пригороды. Съ минуты на минуту надо ожидать нежданныхъ гостей. Во дворѣ колымаги наготовѣ. Коней сѣдлаютъ для него и дѣда... Крошечный домишка есть у Терентьича въ Москвѣ, — за Матреной Степановной въ приданое онъ даденъ, — тамъ и схоронятъ его съ женщинами пока что. А самъ дѣдъ тряхнетъ стариною, грудью встанетъ за московскія святыни: клянется отбивать татаръ. Блѣденъ, но спокоенъ старый воевода. Отдаетъ приказанія твердымъ голосомъ дворнѣ. Велитъ все, что изъ добра поцѣннѣе, подъ поломъ въ мыльнѣ [1] закопать. Быстро исполняютъ приказъ своего хозяина холопы.

Черезъ часъ пустѣетъ усадьба. Вторгнувшіеся татары какимъ то чудомъ не сожгли ее... А обитатели ея въ Москву ускакали. Тамъ стонъ-стономъ стоитъ. Люди мечутся по площадямъ и улицамъ, какъ безумные. Вопли и плачъ повисли надъ столицей. Тамъ пожаръ. Рвутся и жгутся несчастные москвитяне, и давятъ другъ друга, и сотнями гибнутъ въ Москвѣ-рѣкѣ, побурѣвшей отъ крови.

---

[1] Въ банѣ.

Страшные дни!.. Страшная картина!

И тотчасъ же, ей на смѣну, еще страшнѣе, еще мучительнѣе встаетъ другая, новая картина передъ затуманенными взорами больного Алеши.

Жаркое іюльское утро. Отдаленные раскаты грома то и дѣло нарушаютъ тишину. Сегодня Ильинъ день... Батюшка Илья-пророкъ на огненной колесницѣ катается по небу, гремятъ и гудятъ исполинскія колеса его колымаги. Такъ объяснялъ грозу Алешѣ старый Терентьичъ. Но не вѣрится что-то умному мальчику, что отъ колесницы и ѣзды Ильи по небу происходитъ гроза.—Дай-кось, спрошу у дѣда,—рѣшаетъ малютка и летитъ стрѣлой изъ сада въ домъ.

— Дѣдушка, родненькій!—весело кричитъ онъ, вбѣгая въ горницу, и вдругъ замираетъ на мѣстѣ: на лицѣ стараго князя трепетъ и отчаяніе; старый Терентьичъ рыдаетъ въ углу.

— Что такое, дѣдушка? Дѣда! Ахъ, ты, Господи!

Сильныя руки Серебрянаго схватываютъ Алешу и трепетно прижимаютъ къ груди.

— Желанный! Свѣтикъ мой! Пришло лихо на наши головы. Разстаться намъ надо, Алешенька, покуда што... Очернили меня передъ государемъ... Въ ссылку дальнюю велитъ собираться батюшка-государь. Ты не горюй, любимый... Дастъ Господь, обойдется гнѣвъ царя... А покуда съ Терентьичемъ поживешь да съ мамушкой...—шепчетъ взволнованно бояринъ-князь на ушко Алешѣ, а у самого голосъ дрожитъ и руки тоже. Креститъ онъ этими дрожащими руками Алешу, цѣлуетъ, благословляетъ его. Слезы крупными жемчужинами катятся по щекамъ князя.

— Дѣдушка! родненькій! Да што-жъ это! Ужли разстаться! Не хочу! Не оставлю я тебя! Вмѣстѣ въ ссылку поѣдемъ! Не оставляй меня, дѣдушка!

Не договорилъ мальчикъ. Дикіе, хорошо знакомые

московскимъ обывателямъ крики: «гайда! гайда!» и топотъ копытъ послышались у воротъ усадьбы. Поблѣднѣлъ старый князь, судорожно обнялъ внука и съ рукъ на руки передалъ рыдающему дядькѣ.

— Сохрани мнѣ его, Терентьичъ... Блюди пуще глаза... Господь съ вами...

— Жизнью своей клянусь тебѣ на этомъ, батюшка-князь!—только и успѣлъ отвѣтить вѣрный слуга: во дворѣ уже мелькали звѣрскія лица, песьи головы и метлы... Зазвенѣло оружіе, залязгали сабли. Самъ царь находился во главѣ отряда. Искаженное гнѣвомъ лицо его подергивалось судорогой.

Въ какую-нибудь минуту весь отрядъ спѣшился и, бряцая саблями, чеканами и бердышами, опричники вошли на крыльцо.

Внѣ себя схватилъ старый Терентьичъ Алешу и, несмотря на крики и мольбы мальчика оставить его съ дѣдомъ, силой унесъ потайнымъ ходомъ изъ усадьбы.

А тамъ уже въ это время происходила кровавая расправа.

Скрылъ отъ внука воеводa страшную истину. Не о ссылкѣ шепнули ему старые друзья, когда предупреждали о новой опалѣ царя, обрушившейся на сѣдую, славную побѣдами голову князя... Въ тотъ же удушливый, грозный іюльскій полдень скатилась эта сѣдая голова подъ ударомъ ножа одного изъ опричниковъ царскихъ... Слѣдомъ за княземъ была зарѣзана и вся его дворня.

Покончивъ кровавое дѣло, опричники изъ усадьбы съ ихъ неизмѣннымъ крикомъ: «гайда! гайда!» бросились въ подмосковную вотчину Серебрянаго. И въ тотъ же часъ и деревня, и жители—все погибло въ огнѣ пожара... Спасавшихся принимали на ножи и дорѣзывали тутъ-же, несмотря на отчаянные крики и мольбы о помощи

— «Каковъ попъ—таковъ и приходъ. У крамольнаго боярина и слуги крамольные». Таковъ былъ девизъ Іоанна, которымъ онъ оправдывалъ свою жестокость.

Но о страшной расправѣ не скоро узналъ маленькій княжичъ. Щадя ребенка, долго скрывалъ отъ него печальную истину Терентьичъ. Не легко было это несчастному, который вмѣстѣ съ любимымъ воеводой-хозяиномъ потерялъ и жену: одновременно съ дворней погибла жена Терентьича, Матрена Степановна, мамушка Алеши. Только темныя ночи знали муки вѣрнаго дядьки, оплакивавшаго отъ зари до зари гибель любимой жены и господина...

Цѣлыхъ восемь лѣтъ Терентьичу, съ племянникомъ Егоромъ, чудомъ уцѣлѣвшимъ отъ общей бойни, удалось скрывать въ своемъ московскомъ домишкѣ маленькаго князя. Теперь несчастный ребенокъ уже зналъ всю ужасную истину про гибель дѣда и безъ внутренняго содроганія не могъ вспомнить о томъ. Но годы—лучшіе цѣлители душевныхъ ранъ и страданій: затянулась и душевная рана Алеши, притупилось острое ощущеніе потери и горе. Не притупилась, однако, любовь къ дѣду въ сердцѣ мальчика и не остыла ненависть къ его погубителямъ-опричникамъ, сумѣвшимъ очернить невиннаго князя передъ царемъ.

Но вотъ неожиданно, черезъ восемь лѣтъ, новая туча собралась надъ головой Алеши. Кто-то изъ давнихъ завистниковъ покойнаго князя Серебрянаго-Оболенскаго дознался, что въ маленькомъ домишкѣ на окраинахъ Москвы живетъ таинственный отрокъ. Дознались и о происхожденіи этого отрока. Подозрительные послухи и соглядатаи стали выслѣживать и высматривать вокругъ домика Игната. Испугался старикъ и, не долго думая, собрался въ дорогу, откопалъ изъ подполицы разрушенной усадьбы всѣ, припрятанныя во времена

страшнаго нашествія, богатства князя Серебрянаго и, купивъ дорожную колымагу и коней, вмѣстѣ съ Алешей и Егоркой, со всѣмъ добромъ юнаго княжича, ускакалъ изъ Москвы, держа путь на сѣверъ, куда рѣдко заглядывали московскія ищейки.

Думалъ старый Игнатъ гдѣ-нибудь въ Пермскомъ или Вологодскомъ краѣ дать тихое и спокойное существованіе своему любимцу-княжичу, да судьба видно судила иначе.

Иную участь уготовала она вѣрному слугѣ.

ГЛАВА VI.

Новый другъ. — Вражье судно. — Нежданное предложеніе.

Когда пришелъ снова въ себя Алеша и открылъ глаза, было почти темно...

Что-то странное происходило вокругъ него. Ладьи, еще такъ недавно скользившія въ зарослях тростниковъ, теперь, выплывъ на середину рѣки и сгруппировавшись, тѣснились одна къ другой.

Несмотря на мучительную слабость, сковавшую его члены, Алеша могъ замѣтить какія то необычайныя приготовленія въ ладьяхъ. Разбойники, побросавъ весла, спѣшно заряжали самопалы и ручницы, вытаскивали оружіе изъ ноженъ и тутъ же, лязгая металломъ, точили ихъ. И черноглазый юноша, лицо котораго такъ часто въ полузабытьи видалъ склонившимся надъ собой Алеша, тоже суетился и отдавалъ вполголоса приказанія людямъ, находившимся съ нимъ въ одной лодкѣ. Увидя, что его плѣнникъ пришелъ въ себя,

черноглазый юноша быстро подошелъ къ нему и, пощупавъ голову Алеши, произнесъ тихо:

— Слава тѣ Господи... Спала огневица... Не горитъ, какъ намеднись... Може хочешь испить водицы? — спросилъ онъ.

— Испилъ-бы, — чуть слышно отвѣчалъ больной.

Это было первое слово, обращенное имъ къ разбойнику.

— Пей во здравьице. Вода чистая, студеная, Камская водица, — радостно отозвался Мещерякъ и поднесъ полный ковшъ къ губамъ мальчика.

Тотъ долго не отрывался отъ ковша, съ наслажденіемъ глотая живительную влагу. Казалось, съ нею возвращались здоровье и силы княжичу. Въ болѣзни Алеши наступилъ тотъ неизбѣжный переломъ, послѣ котораго человѣкъ или умираетъ, или быстрыми шагами идетъ по пути къ выздоровленію.

— Спасибо, — отводя рукой ковшъ, слабо произнесли его губы въ то время, какъ глаза безпокойно обѣгали взоромъ кругомъ. Въ глубинѣ ихъ засвѣтилась тревога.

Матвѣй Мещерякъ сразу угадалъ, что волнуетъ больного.

— Ты того... не сумлѣвайся... Въ обиду не дамъ, — заговорилъ онъ, любовно гладя мягкіе, какъ ленъ, кудри Алеши.—Вишь, наши передовые доглядѣли вражье судно, на перерѣзъ намъ идетъ... Видно перехитрили насъ государевы воеводы, выслали рѣкою дружину свою... Ну, да ладно, не въ первой... Раньше восхода не бросятся... А мы тѣмъ временемъ, какъ стемнѣетъ, ударимъ на ихъ... Ты не пугайся... Грохотъ пойдетъ, пальба... Я тебя огорожу коврами... Быдто въ шатрѣ, али въ зыбкѣ будешь... Стрѣлецкая пуля не тронетъ, небось... И къ запасной ладьѣ перенесу тебя, и въ камышахъ схороню, а какъ кончится бой, то я къ тебѣ назадъ живо... И пищаль тебѣ приволоку въ гости-

нецъ, знатную пищаль, московскую,—пошутилъ молодой разбойникъ, обнажая улыбкой бѣлые зубы.

— Не надо пищаль мнѣ, гостинца не надо!.. Людей убивать будутъ!.. Опять убивать!—безпокойно забился и затрепеталъ, поблѣднѣвшій какъ платъ, Алеша.

— Да вѣдь вороги это... Не мы ихъ, такъ они насъ...—оправдывался Матвѣй.

— Все едино кровь... кровь проливать станутъ...—метался въ смертельной тоскѣ и ужасѣ мальчикъ.

Встревожился глядя на него и Мещерякъ. Чего добраго помретъ парнишка, мелькнуло въ мысляхъ молодого разбойника, и онъ самъ былъ не радъ, что повѣдалъ больному о предстоящемъ боѣ. Но какъ же было поступить иначе?.. Мальчикъ могъ бы услышать пальбу, увидѣть битву и тогда бы испугался вдвое.

«Ужели-же помретъ?»—съ тоскою думалъ Матвѣй.

Недужный плѣнникъ дѣлался ему все дороже и милѣе съ каждой минутой. Его неотразимо влекло къ себѣ печальное личико, синіе ясные глаза Алеши. Немало на своемъ короткомъ вѣку погубилъ душъ Мещерякъ, чернѣе черной ночи были помыслы его порой, а этотъ чистый отрокъ со своей трогательной, вымученной недугомъ красотою, точно приросъ къ его сердцу. И при видѣ его далекимъ, позабытымъ дѣтствомъ и ласками матери повѣяло на Матвѣя... Казалось, воскресъ его братишка, покойный Ванюшка, и глядитъ на него своимъ дѣтскимъ, чистымъ взоромъ.

— Слушай, паря,—произнесъ словно осѣненный такою мыслью Мещерякъ,—пущай я злодѣй и воръ, но съ тобою больно сердцемъ размякъ, што твоя баба заправская... Ей Богу!.. Полюбился ты мнѣ, паренекъ, пуще родного... Впервые сердце узналъ послѣ давнихъ поръ... Бывало, рубитъ, бьетъ съ плеча Мещерякъ, жизнь—копѣйка, грошъ, задаромъ отдамъ... А нынѣ пожить больно охочъ я сталъ... Для тебя ради... Вотъ

и мыслю, передъ ночью дѣло будетъ, слышь, судно вражье близехонько, поди, — такъ того, не больно то охочъ, штобъ убили... Помолись за меня, паренекъ... — неожиданно заключилъ свою рѣчь Матвѣй, опустивъ свои черные глаза долу.

Алеша поднялъ взоръ на юношу. Смущенное молодое лицо и почти робкіе, точно смежавшіеся глаза, сразу расположили его въ свою пользу. Точно что ущипнуло его за сердце. И невольная мысль толкнулась въ мозгу:

«А може и жизнью своей я обязанъ юношѣ этому?» — и, немедля болѣе, Алеша спросилъ слабымъ голосомъ:

— Скажи, Христа ради, не ты-ли вызволилъ меня изъ петли?

Ниже потупилъ голову Матвѣй.

Жаркій стыдъ прожегъ его душу.

— Тебя-то вызволилъ, а ближнихъ твоихъ не сумѣлъ, — казалось, безъ словъ говорило все его смущенное лицо.

Но Алешѣ не надо было отвѣта.

Худенькая ручонка больного протянулась къ разбойнику.

— Помолюсь за тебя, — произнесъ онъ тихо, — и дѣдушку, и Терентьича покойнаго попрошу помолиться за тебя... Скажи только, какъ звать тебя? — еще тише, сквозь набѣжавшія слезы при одной мысли о погибшемъ дядькѣ, спросилъ князекъ.

— Матвѣемъ, — произнесли негромко губы Мещеряка.

— Матвѣемъ... Матюшей... — повторилъ больной, — храни тебя Богъ, Матюша... А вотъ еще... сними съ меня гайтанъ съ тѣльникомъ и себѣ надѣнь его на грудь, а твой мнѣ передай... Тѣльникъ благословенный... дѣдушка покойный имъ меня благословилъ отъ бѣды, во имя Бога... — закончилъ съ трудомъ Алеша.

При мерцаніи лучины онъ прочелъ поданную грамоту...

— Побрататься хочешь? — не вѣря ушамъ, весь вспыхнувъ отъ радости, произнесъ Матвѣй.

— Ты мнѣ жизнь спасъ, — было отвѣтомъ.

— Дитятко!.. Голубь мой чистый!.. Мученикъ мой! — прошепталъ Мещерякъ, и яркою влагою блеснуло что-то въ самой глубинѣ его черныхъ очей. Потомъ онъ осторожно раскрылъ кафтанъ на груди Алеши и отстегнулъ воротъ его рубахи.

Осыпанный рубинами и яхонтами тѣльный крестъ на золотомъ гайтанѣ блеснулъ въ полутьмѣ.

— Мое имя узналъ ты, а свое не охочъ сказывать... — произнесъ Матвѣй, осторожно снимая съ груди Алеши его крестъ и надѣвая свой оловянный тѣльникъ черезъ голову малютки. — Какъ звать тебя, родимый?

— Алексѣемъ звать меня, по отцу Семенычемъ, а изъ роду я князей Серебряныхъ-Оболенскихъ, — тихо проронилъ тотъ.

— Алеша, стало, будешь, Алеша, братикъ мой богоданный!.. — съ тихимъ умиленіемъ началъ Матвѣй и вдругъ разомъ осѣкся.

Мѣсяцъ, точно багрово-красный шаръ, выплылъ изъ-за тучи и освѣтилъ огромное, черное судно, плывущее прямо на струги, сбившіеся въ кучу посреди рѣки.

— Са-а-рынь на ки-и-чку! — пронеслось въ тотъ же мигъ протяжнымъ заунывнымъ звукомъ съ первой ладьи и помчалось вверхъ по рѣкѣ.

— На ве-ес-ла! — прогремѣла новая команда въ тишинѣ ночи.

И, точно встрепенувшіяся птицы, быстрыми лебедями заскользили струги по глади водъ.

Мѣсяцъ алымъ заревомъ облилъ Каму. Багрово-красною стала рѣка...

Гребцы съ какимъ то тихимъ остервенѣніемъ налегали на весла. Лодки неслись теперь впередъ со стремительной быстротой. Черное судно тоже выдвинулось

замѣтно впередъ, приготовляясь, въ свою очередь, къ отпору. На палубѣ его замелькали темные силуэты людей.

— Са-а-рынь на ки-и-чку!—еще разъ прокатилось надъ Камой.

Почти одновременно съ борта судна грянулъ выстрѣлъ, блеснулъ огонь, и съ грохотомъ и свистомъ тяжело плюхнуло свинцовое ядро въ воду.

— Ой, тетка, молода больно!.. Кашу заварила, сала не поклала, сгорѣла каша безъ сала, сама съ голоднымъ брюхомъ осталась!—послышался съ очередного струга веселый голосъ есаула.

Хохотъ разбойниковъ покрылъ его. И тотчасъ же могучими звуками прозвучалъ въ темнотѣ вопросъ Ермака:

— Всѣ-ли живы, ребятушки?

— Всѣ живехоньки, атаманъ!—весело откликнулись съ лодокъ.

Черное судно было теперь всего въ десяти саженяхъ отъ передней лодки.

— Готовься, робя! За честь и свободу славной вольницы казацкой!—снова зычнымъ кликомъ прорѣзалъ тишину сильный голосъ Ермака.—Впередъ!

— Во славу атамана-батьки, Ермака Тимофеича!—хоромъ гаркнула дружина.

И все разомъ устремилось по золотой глади водъ.

Точно стая исполинскихъ чаекъ окружила вмигъ цѣлая фаланга лодокъ неуклюжее, медленно подвигающееся судно.

— Эй, вы, ночные ратники, сдавайся, што-ли, не то въ воду, къ рыбамъ да къ ракамъ на дно пойдете!.. Палить изъ ручницъ, робя! А тамо приставляй лѣстницы, да съ Богомъ въ рукопашный бой!—отчетливо гремѣло надъ затихшей рѣкою.

Быстро вскинулись къ плечу пищали, щелкнули курки.

— Стой! Кто въ Бога вѣруетъ, стой, православные!—понеслись испуганные крики съ палубы барки.

— Никакъ сама Ермакова дружина?—прозвучалъ вмѣстѣ оттуда же чей-то взволнованный вопросъ.

— Вѣрно, пріятель. Атамановы люди къ тебѣ въ гости идемъ. Плохо насъ угощаешь, потчуешь только, хозяинька не тароватый,—отвѣчалъ есаулъ Кольцо.

— Голубчики! Не признали! Палить было въ васъ зачали,—кричалъ, надрываясь, съ палубы судна тотъ же голосъ.—А не къ кому другому, какъ къ его милости, Ермаку Тимофеичу который день по Камѣ плывемъ.

— Ой-ли? Больно хитро надумано! Штой-то несуразно быдто: до насъ плывете, а въ насъ же изъ пушчонки своей палить зачали... Небось, не проведешь... Старый волкъ шкуру овечью надѣлъ—овцой прикинулся... Пали въ мою голову, робя!—неожиданно заключилъ свою рѣчь Ермакъ.

— Пожди, ради Христа, малость, атаманъ, выслушай... Мы изъ пушки палили потому, что за другихъ приняли... Мы не вояки-стрѣльцы, мы люди тихіе, купецкіе, именитыхъ Строгановыхъ гонцы... Къ твоей милости, атаманъ, съ грамоткой плыли,—звучало съ палубы барки.

— Отъ Строгановыхъ? Изъ Сольвычегодска, што-ли? Отъ пермскихъ гостей?—изумленно спрашивалъ Ермакъ.

— Во-во... Отъ ихъ самыхъ... Бьютъ тебѣ челомъ мѣхами, штуками суконъ... Полну барку гостинцевъ тебѣ веземъ... Да и грамоту въ придачу, Василь Тимофеичъ, батюшка.

— Мнѣ грамоту?.. Да ты знаешь-ли кто я, купецкій посолъ?—все болѣе и болѣе изумлялся Ермакъ.

— Какъ не знать!.. Гроза ты Поволжья, славный атаманъ казацкій... Гремитъ про тебя слава по всей Руси...

— Вольный казакъ я, разбойничекъ удалый, человѣче. Голова моя оцѣнена на вѣсъ золота... Плаха испоконъ временъ дожидаетъ меня... Бабы на Москвѣ робятъ мной пугаютъ... Вѣдомо-ль тебѣ то, гонецъ?— ронялъ Ермакъ.

— Вѣдомо, все вѣдомо, атаманъ-батюшка... Къ твоей милости хозяева Семенъ Аникичъ Строгановъ съ племянниками Максимомъ Яковлевичемъ, да Никитой Григорьевичемъ грамоту шлютъ... Челомъ тебѣ бьютъ на просьбишкѣ, удалой атаманъ!

— Ничего не разумѣю! Часъ отъ часа не легче... Не на томъ-ли челомъ бьютъ, што я безъ счета караванов загубилъ купецкихъ съ моими робятами? Може откупиться отъ прочихъ разбоевъ ладятъ, штобъ не трогали впредь мои молодцы Строгановскихъ судовъ?—шутилъ атаманъ.

— Прочти грамоту—все узнаешь, батюшка... Не побрезгай на палубу подняться... Тамъ говорить сподручнѣе,—предложилъ гонецъ.

— И то... Выкидывай лѣстницу!—смѣло крикнулъ Ермакъ.

— Ой, берегись, атаманъ!.. Не случилось бы лиха!— неожиданно подплывъ на своемъ стругѣ къ Ермаковой лодкѣ шопотомъ молвилъ Никита Панъ.—Не обманную ли рѣчь держитъ посланецъ?.. Може заманить ладитъ, а тамо...

— Эхъ, Микитушка, волковъ бояться—въ лѣсъ не ходить,—разсмѣялся Ермакъ.—Любопытно больно на какой такой просьбишкѣ солевары-купцы челомъ бьютъ намъ.

— Возьми меня съ собой, атаманъ,—не унимался Никита.

— Ладно, ты и здѣся пригодишься... Коли што случится со мной, Иванъ Иванычъ, ты съ Волкомъ да Мещерей судно вдребезги и помилованія никому,— приказалъ Ермакъ, сверкнувъ глазами во тьмѣ.

Затѣмъ въ одну минуту, по спущенной съ чернаго судна веревочной лѣстницѣ, Ермакъ ловко взобрался на палубу.

Съ низкими поклонами встрѣтили его находившіеся тамъ люди. Ихъ было до пятидесяти человѣкъ. Впереди всѣхъ стоялъ почтеннаго вида старикъ съ сѣдой бородою. Онъ держалъ въ рукѣ грамоту.

Мигомъ высѣкли огня, и палуба освѣтилась. При мерцаніи лучины прочелъ поданную грамоту Ермакъ.

«Могучему атаману Василію [1] Тимофеевичу челомъ бьемъ. Прослышаны мы про дѣла твои веліи, отъ коихъ слава гремитъ про тебя отъ моря до моря по всей Руси. Прослышали еще и о томъ, что больно прогнѣвалъ ты царя-батюшку сими дѣлами молодецкими, не во гнѣвъ тебѣ буди сказано, разбойными. И што присудилъ тебя великій государь, Иванъ Васильевичъ, всея Руси, смертью лютой казнити. И наряжена погоня за тобой. По всему по волжскому берегу стали царскія рати, и на рѣкѣ самой суда наряжены за тобой. И негдѣ укрыться тебѣ съ дружиной твоей. А посему, не погнѣвись, удалый казаче, коли мы, гости-купцы Сольвычегодскіе, тебя милостію просимъ съ дружиной твоей на наши мѣста. Положимъ тебѣ и людямъ твоимъ жалованіе, да землицы, да харчи и домы, и живите на здравіе, а за это службой нашей не побрезгайте. Отъ остяковъ, да вогуличей, да отъ татарвы изъ земли сосѣдской Югорской житья намъ нѣтъ. Городишкамъ нашимъ и посадамъ грозятъ югры да самоѣдь, поселы жгутъ, людишекъ пополонятъ да разоряютъ. Такъ коли охота будетъ у тебя съ дружиной твоей, не побрезгай отъ тѣхъ югорскихъ племенъ наши земли, самимъ государемъ пожалованныя, уберечь и набѣги ихніе отражать. А коли не

[1] Настоящее имя Ермака—Василій. Ермакомъ его прозвали въ первые годы его молодости, во время того, когда онъ былъ кашеваромъ въ артели. Ермакъ—значитъ артельный таганъ, на которомъ варится каша.

противна тебѣ сія грамота призывная, поспѣшай къ намъ, батюшка-атаманъ, съ дружиною своей.

Писалъ именитый купецъ Сольвычегодскій и Угрскихъ пограничныхъ землицъ Семенъ, сынъ Аникіевъ Строгановъ съ племянниками Максимомъ да Никитой».

Внимательно прочелъ грамоту Ермакъ.

Тысяча мыслей вихремъ закружилась въ головѣ атамана-разбойника.

Это было болѣе нежели выгодное предложеніе.

Строгановы писали правду. Все Поволжье кишѣло царскими войсками, высланными для поимки казаковъ. Не сегодня-завтра нужно ждать непрошенныхъ гостей и на самую Каму. Не разсчиталъ онъ—Ермакъ. Думалъ, берегомъ лишь идутъ государевы дружины, а оказывается и рѣкою плывутъ онѣ въ погоню за нимъ. Куда спастись? Куда скрыться? А тутъ именитые купцы, прославившіеся своими богатствами по всей Россіи, предлагаютъ жалованіе и пріютъ со всею дружиной въ своей землѣ.

Задумался атаманъ. Съ одной стороны,—прости-прощай привольная разбойничья жизнь; съ другой—спасенье отъ плахи и петли его и всѣхъ буйныхъ, ввѣренныхъ ему самой судьбой, удальцовъ.

Что выбрать? Что предпочесть?

Не долго боролся Ермакъ.

— Спасибо за честь твоимъ господамъ, старина!—обратился онъ къ Строгановскому посланцу.—А только вѣдомо-ль тебѣ, что по нашимъ станичнымъ обычаямъ должонъ я «кругъ» собрать и дѣло со своими молодцами рѣшить полюбовно? Пожди малость—ночь минуетъ! На восходѣ, какъ пристанемъ къ берегу, дѣло обсудимъ, тогда тебѣ и отвѣтъ дамъ, старина.

— Благодаримъ покорно, — низко поклонился посолъ.—На мѣхахъ и парчѣ не побрезгай, удалый казаче!

— Спасибо на томъ! Вели людишкамъ твоимъ добро въ струги наши сложить, а покедова прощенья просимъ.

И не безъ достоинства поклонившись старому Елизару Васильевичу, дворецкому Строгановыхъ, такъ же быстро и ловко спустился Ермакъ съ палубы судна.

— Ишь ты, ровно Бова-королевичъ... И ни алчности въ немъ, ни душегубства не видать, собой молодецъ,— съ изумленіемъ разсуждали люди Строгановыхъ, глядя вслѣдъ удаляющемуся атаману.

Въ ту ночь пристали къ берегу разбойничьи струги. Отдохнули подъ тѣнью Прикамскихъ деревъ молодцы, а съ восходомъ солнца забилъ рукоятками ножей о дно артельнаго котла младшій подъесаулъ, и по этому звуку со всѣхъ ногъ кинулись къ сборному мѣсту вольные казаки.

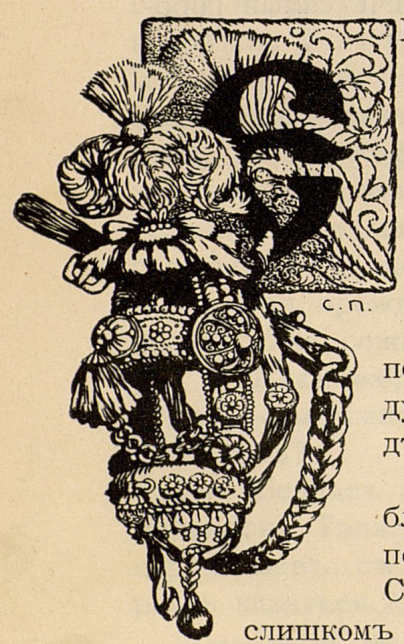
Ермакъ уже былъ на кругу. Мощно и сильно зазвучала его горячая рѣчь. Онъ разъяснилъ своей дружинѣ всю пользу строгановскаго предложенія плыть въ Сольвычегодскъ, укрыться тамъ пока гроза минуетъ, отвести душу побѣдами надъ кочевниками югорскими, а тамъ далѣе что Господь подастъ, можно и на Волгу опять вернуться,—говорилъ онъ вольной дружинѣ своей.

Внимательно слушала своего атамана дружина и когда замолкъ звучный голосъ Ермака, громкимъ крикомъ огласились ближайшіе Прикамскіе лѣса и степи:

— Веди насъ къ Строгановымъ! Всюду пойдемъ за тобою!.. И въ огонь, и въ воду, батька-атаманъ!

ГЛАВА X.

Бѣда. — Безпокойная ночь. — Незванные гости. — На выручку.



ЩЕ не ложился Семенъ Аникіевичъ Строгановъ. Ночныя сумерки давно спустились и степь понемногу теряла свои очертанія. Въ просторной горницѣ, служившей ему опочивальней, на широкой лавкѣ, крытой кызыльбацкаго штофа полавошникомъ, сидѣлъ именитый купецъ. На столѣ передъ нимъ лежалъ старинный, въ бархатномъ переплетѣ, псалтирь, который въ минуты душевнаго волненія любилъ читать владѣлецъ Сольвычегодска.

При свѣтѣ восковой свѣчи да при блѣдномъ мерцаніи лампады, зажженой передъ огромнымъ кіотомъ, горница Семена Аникіевича, блестѣвшая днемъ слишкомъ богатымъ убранствомъ, теперь имѣла болѣе уютный и скромный видъ. Широкая рѣзная кровать на массивныхъ ножкахъ, съ цѣлою грудою лебяжьихъ перинъ, подушекъ, со стеганымъ бархатнымъ одѣяломъ,

гался за участь своей земли. О могуществѣ и силѣ сосѣда — московскаго царя — уже облетѣла крылатая вѣсть всѣ ханскія владѣнія. Вотъ почему послы Едигера поздравили царя съ завоеваніемъ Казани и Астрахани и били челомъ Іоанну, прося его принять землю Югорскую (Сибирскую) подъ свою могучую власть, а за это обѣщали платить ясакъ (дань) московскому государю шкурами бѣлокъ и соболей. За свою покорность просили только помогать хану въ борьбѣ съ враждебными ему племенами. Царь принялъ челобитье и назначилъ ясакъ. Но дань платилась неаккуратно. Напугавшій сначала своимъ могуществомъ, опасный сосѣдъ пересталъ казаться опаснымъ Едигеру. Да при томъ Москва отстояла болѣе трехъ тысячъ верстъ отъ Сибири и трудно было, въ случаѣ нападенія врага, разсчитывать на помощь русскаго царя. Вскорѣ постигло несчастье Едигера: на него напалъ ханъ Киргизъ-Кайсацкой орды, Кучумъ, происходившій изъ бухарской ханской династіи Шейбанитовъ, завоевалъ его царство, самого Едигера и брата его Бекбулата убилъ и прочно водворилъ свою власть надъ всѣми сибирскими племенами. Кучуму дружба съ русскимъ царемъ не улыбалась.

— Москва далеко, — когда-когда еще надумаютъ заглянуть сюда. Убью царскаго посла, что пріѣдетъ за данью и не будутъ мои народы платить русскимъ ясакъ, — рѣшилъ Кучумъ и, дѣйствительно, убилъ посла московскаго, явившагося за данью.

Порвавъ мирную связь съ русскимъ царемъ, Кучумъ не препятствовалъ подчиненнымъ ему дикимъ кочевымъ племенамъ остяковъ, вогуличей и татаръ нападать на порубежныя владѣнія русскихъ поселенцевъ.

Первые поселенцы начали заселять этотъ Пермскій край еще въ XI вѣкѣ. Это были сыны сильной Новгородской вольницы. Еще въ 1472 г., при великомъ князѣ Іоаннѣ III, воевода Пермскій завоевалъ Соликамскій край,

расположенный по эту сторону Каменнаго Пояса и названный Великой Пермью (теперешняя Пермская губернія). Въ серединѣ XVI вѣка здѣсь поселились купцы-промышленники, Строгановы, родомъ изъ Ростовской земли.

Испоконъ вѣковъ Строгановы славились своими богатствами. Въ XV вѣкѣ они были настолько богаты, что выкупили великаго князя русскаго, Василія Темнаго, изъ татарскаго плѣна, за что были пожалованы огромными землями на сѣверо-востокѣ Россіи, въ Устюжскомъ уѣздѣ и Вондакурской волости. А при Іоаннѣ IV они перевели свою промышленность дальше на Каму. Старшій тогда изъ Строгановыхъ Григорій Аникіевичъ билъ челомъ царю въ 1558 г., прося его разрѣшенія населять земли по рѣкѣ Перми и Камѣ до рѣки Чусовой.

Въ своей челобитной грамотѣ онъ говорилъ такъ объ этихъ мѣстахъ: «Въ восьмидесяти восьми верстахъ отъ Великой Перми, по рѣкѣ Камѣ, по обѣ ея стороны, до рѣки Чусовой, лежатъ мѣста пустыя, лѣса черные, рѣки и озера дикія и острова и новолоки пустые, а всего пустого лѣса здѣсь сорокъ шесть верстъ. До сихъ поръ на этомъ мѣстѣ пашни не паханы, дворы не стаивали и въ царскую казну пошлина никакая не бывала, и теперь эти земли не отданы никому, въ писцовыхъ книгахъ, въ купчихъ и правежныхъ не записаны ни у кого». При этомъ Строгановъ заявлялъ, что хочетъ на этомъ мѣстѣ городокъ поставить, снабдить его пушками и пищалями, пушкарей, пищалочниковъ, воротниковъ прибрать для береженья отъ ногайскихъ людей и иныхъ ордъ; по рѣчкамъ до самыхъ вершинъ и по озерамъ лѣсъ рубить, расчищая мѣсто, пашню пахать, дворы ставить, людей созывать не письменныхъ и не тяглыхъ, разсолу искать, а гдѣ найдется разсолъ — варницы ставить и соль варить.

Царь разрѣшилъ Строгановымъ населять этотъ край, позволилъ ставить соляныя варницы, городки, крѣпости

укрѣплять и торговать безпошлинно ровно 20 лѣтъ. Разрѣшилъ Строгановымъ и судить поселившихся тамъ людей, не обращаясь къ намѣстникамъ и судьямъ Пермскаго края. Такимъ образомъ Строгановы являлись своего рода владѣтельными князьями новаго края.

Они основали городокъ, укрѣпили его и назвали Канкоромъ. За нимъ выстроился и второй городокъ Керсаданъ со стѣнами въ 30 саженъ въ окружности.

Въ 1568 г. новой челобитной Строгановы просили разрѣшить имъ продолжить ихъ владѣнія еще на 20 верстъ, гдѣ они обязывались построить на свой счетъ новые городки и крѣпости. И это ихъ прошеніе было уважено Іоанномъ IV.

Въ 1573 г. воевода Пермскаго края писалъ царю, что возмутившіеся черемисы съ остяками и башкирами сдѣлали набѣгъ на Каму и перебили около сотни мирныхъ пермяковъ.

Тогда Іоаннъ послалъ грамоту Строгановымъ, въ которой наказывалъ имъ собрать охочихъ казаковъ [1], выбрать добраго голову [2] и отправить войною на возмутившихся вогуличей и остяковъ, а мирныхъ дикарей поселить у себя въ городкахъ и острогахъ [3]. Строгановы поспѣшили исполнить царскій указъ. Устроившись по эту сторону Каменнаго Пояса, они обратили взоры и на земли, лежащія по ту сторону Уральскихъ горъ, которыя изобиловали пушными звѣрями въ лѣсахъ, богатой рыбною живностью въ рѣкахъ и озерахъ, а пуще всего металлической рудою въ нѣдрахъ горъ. Сказочныя богатства этой страны не могли не привлечь вниманія предпріимчивыхъ промышленниковъ.

Между тѣмъ набѣги дикарей все тревожили Прикамскихъ поселенцевъ, мѣшая имъ заниматься земледѣліемъ и соляными промыслами. Въ 1573 г. родственникъ сал-

[1] Охотниковъ-добровольцевъ изъ вольныхъ людей. — [2] Начальника. — [3] Крѣпостяхъ.

тана Кучума, царевичъ Шаметькулъ прокладывалъ дорогу къ самой Перми и къ Строгановскимъ острогамъ, чтобы сжечь и уничтожить ихъ. Пяти верстъ только не дошелъ онъ до городковъ, спалилъ окрестные поселки, а жителей частью перебилъ, частью увелъ съ собою въ плѣнъ. Тогда братья Григорій и Яковъ Строгановы обратились съ новой просьбой къ царю разрѣшить имъ укрѣпляться по рѣкѣ Тоболу и впадающимъ въ него рѣкамъ, строить тамъ крѣпости, нанимать стражниковъ и держать огненный нарядъ, то-есть пушки и порохъ, а также искать тамъ желѣзную руду и пахать землю.

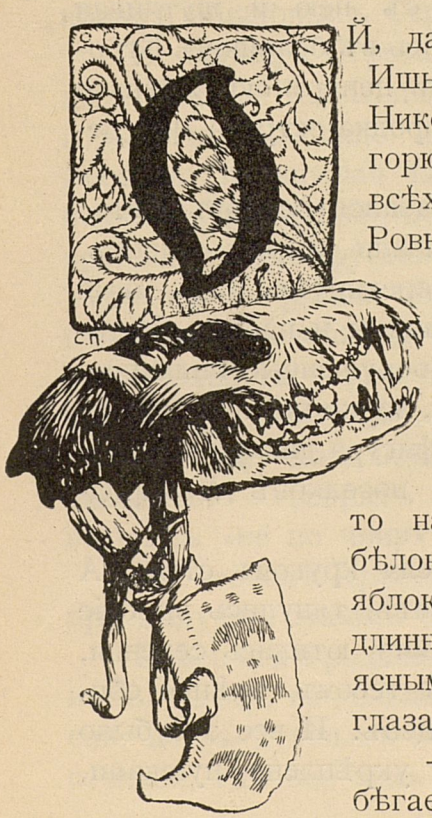
Іоаннъ IV не только отвѣтилъ полнымъ согласіемъ на Строгановское челобитье, но и разрѣшилъ Строгановымъ вести войну—посылать наемныхъ охочихъ людей на самого салтана Сибирскаго.

Въ это время умерли старшіе братья Строгановы, Григорій и Яковъ. Остался младшій братъ Семенъ съ племянниками: Максимомъ, сыномъ Григорія, и Никитой, сыномъ Якова. Получивъ разрѣшеніе царя, Семенъ Аникіевичъ призадумался невольно. Согласіе государя воевать Югорскую землю у него было, а рати нѣтъ. Откуда набрать рать для веденія задуманной войны? И вотъ услышалъ онъ, что царскія дружины повсюду ищутъ славнаго разбойничьяго атамана, не мало погулявшаго по всему Поволжью—Ермака Тимофеевича.

Къ этому-то атаману, спасавшемуся теперь отъ Московскихъ воеводъ, и отправилъ грамоту Семенъ Аникіевичъ, приглашая его поступить къ нему на службу вмѣстѣ со всею удалой дружиной своей.

ГЛАВА VIII.

Плѣнница и госпожа.—Горѣлки.—Напасть.



Ой, да и прыткая же ты, боярышня... Ишь, ноженьки то рѣзвыя у тебя! Николи не нагнать... Который разъ горю, и Дуняшу, и Машеньку, и Домашу, всѣхъ догнала, а тебя не въ мочь... Ровно бѣлка ты лѣсная бѣгаешь,— говорила Григорьевна, миловидная, со вздернутымъ носикомъ дѣвушка, отдѣляясь изъ толпы бѣгавшихъ въ горѣлки подругъ.

— То-то прыткая... Небось, у самой Алызги-полонянки бѣгать то научилась, — засмѣялась красивая, бѣлокурая, свѣженькая, какъ спѣлое яблоко, румяная дѣвочка, лѣтъ 14, съ длинной, до пояса, русой косой, съ ясными, какъ весеннее небо, голубыми глазами.

— У Алызги, говоришь. Да нешто бѣгаетъ она когда, Алызга наша? Небось, кротъ-кротомъ сидитъ у себя въ углу. Николи ея въ садъ не вытянешь.

— Ты не вытянешь, а я вытяну хоть сейчасъ!— засмѣялась веселымъ смѣхомъ дѣвочка и, сдѣлавъ знакъ своей собесѣдницѣ, приложила руку ко рту и громко, протяжно крикнула:

— А-а-лы-з-га! А-а-лызга!... Гдѣ ты?

— Никакъ боярышня наша полонянку кличетъ?— крикнулъ кто-то изъ толпы дѣвушекъ, и въ одну минуту онѣ со всѣхъ ногъ кинулись къ бѣлокурому подростку-дѣвочкѣ, которую почтительно называла боярышней ея черненькая подруга.

— А-а-лызга!—еще разъ крикнула блондинка и, немедля ни минуты, зорко вглядывалась въ окружающіе ихъ садовые кусты.

Притихла, замерла вмѣстѣ съ нею и шутливая толпа дѣвушекъ. Тишина воцарилась въ большомъ Строгановскомъ саду, находившемся въ центрѣ окруженнаго толстою стѣною съ бойницами городка-острога на берегу рѣки Вычегды.

Грознымъ и недосягаемымъ казался острогъ этотъ. Изъ отверстій бойницъ выглядывали жерла пушекъ. Отъ воротъ черезъ ровъ былъ перекинутъ подъемный мостъ. Ближе къ стѣнамъ шли заметы и насыпи. У тесовыхъ воротъ стояли пушки. Вооруженные пищалями воротники[1] прохаживались по валу, зорко поглядывая, не мелькнетъ-ли гдѣ подозрительная фигура дикаря-югорца, злѣйшаго врага Строгановскихъ поселковъ и городковъ.

Мелкимъ кустарникомъ поросла кругомъ степь. А на дальнемъ краю ея, на горизонтѣ, тянулись высокіе Уральскіе хребты. Ближе къ острогу ютились селенья, золотились поля и нивы, сверкали тесомъ крѣпко сбитыя, еще новенькія избы поселенцевъ. И все это было отгорожено высокимъ тыномъ и укрѣплено пушками,

[1] Стража.

изъ опасенія набѣговъ тѣхъ же кочевниковъ, что безъ удержки хозяйничали въ степи.

Съ такими же предосторожностями были обставлены и соляныя варницы, гдѣ гнали соль промышлявшіе ею купцы. Словомъ, Строгановскіе городки и поселки представляли изъ себя рядъ хорошо вооруженныхъ и недоступныхъ по виду крѣпостей. Тесовыя крѣпкія стѣны, постройки, высокія и крѣпкія, изъ толстыхъ деревьевъ, служили хорошей защитой. Безбоязненно могла рѣзвиться и играть въ густо разросшемся саду острога веселая шумная молодежь.

Въ этотъ теплый іюньскій вечеръ было какъ то скучно сидѣть въ душныхъ, хотя и просторныхъ, горницахъ обширныхъ Строгановскихъ хоромъ.

И Танюшѣ Строгановой, племянницѣ и крестницѣ дяди Семена Аникіевича, родной сестрѣ Максима Григорьевича, особенно не сидится у себя въ свѣтлицѣ. Веселая, подвижная какъ ртуть, дѣвочка не выноситъ никакихъ рукодѣлій, которыя составляли обычное времяпрепровожденіе русскихъ женщинъ прежняго времени. Таня не боярышня-бѣлоручка, хотя и называютъ ее боярышней холопы да сѣнныя дѣвушки. «Нашъ де Семенъ Аникичъ всѣхъ бояръ знатныхъ почище будетъ... Онъ гость [1] именитый, самимъ царемъ пожалованный и отличенный, такъ неужто ихъ кралечку боярышней не называть?»—говорятъ они на всѣ замѣчанія хозяевъ не величать «не по чину» своихъ господъ.

На свободѣ Прикамскихъ степей выросла Таня. Еще при дѣдушкѣ Аникіѣ поселились они здѣсь.

Здѣсь она и родилась, и осиротѣла съ братомъ Максимомъ. Здѣсь, на вольномъ сѣверномъ воздухѣ, расцвѣла она, не въ душныхъ Московскихъ теремахъ, а на волѣ степной, гдѣ все такъ и дышитъ свободой. И свободной,

[1] Купецъ.

вольной выросла здѣсь Таня, даромъ что крѣпкія стѣны Строгановскихъ остроговъ съ дѣтства окружали дѣвочку. И обращеніе съ нею дѣвушекъ такое же вольное, свободное, точно она не госпожа ихъ, а любимая подруга.

Вотъ и сейчасъ, замкнутая тѣснымъ кругомъ дѣвицъ-сверстницъ, чувствуетъ она себя равной имъ, даромъ что не одну тысячу даетъ за ней въ приданое дядя.

— Анъ похвасталась, Татьяна Григорьевна, вишь, не слушается и тебя Алызга... А еще хвалилась сейчасъ! — усмѣхаясь замѣтила черненькая Агаша, та самая, что только-что жаловалась на не въ мѣру рѣзвыя ноги своей госпожи.

— А вотъ поглядимъ, — задорно крикнула Таня и, прежде чѣмъ кто-либо изъ дѣвушекъ успѣлъ остановить ее, стрѣлой кинулась изъ сада.

Вся веселая толпа ринулась за нею; но не даромъ сѣтовала черненькая Агаша на Таню Строганову — трудно было догнать дѣвочку. Вихремъ пролетѣвъ широкую аллею сада, она миновала высокія хоромы, обогнула ихъ и въ нѣсколько минутъ очутилась у калитки. Воротникъ-сторожъ почтительно посторонился, давая дорогу хозяйской племянницѣ. Онъ не посмѣлъ остановить ее, зная, какъ часто дѣвочка прогуливается съ нянькой или сѣнными дѣвушками по берегу рѣки.

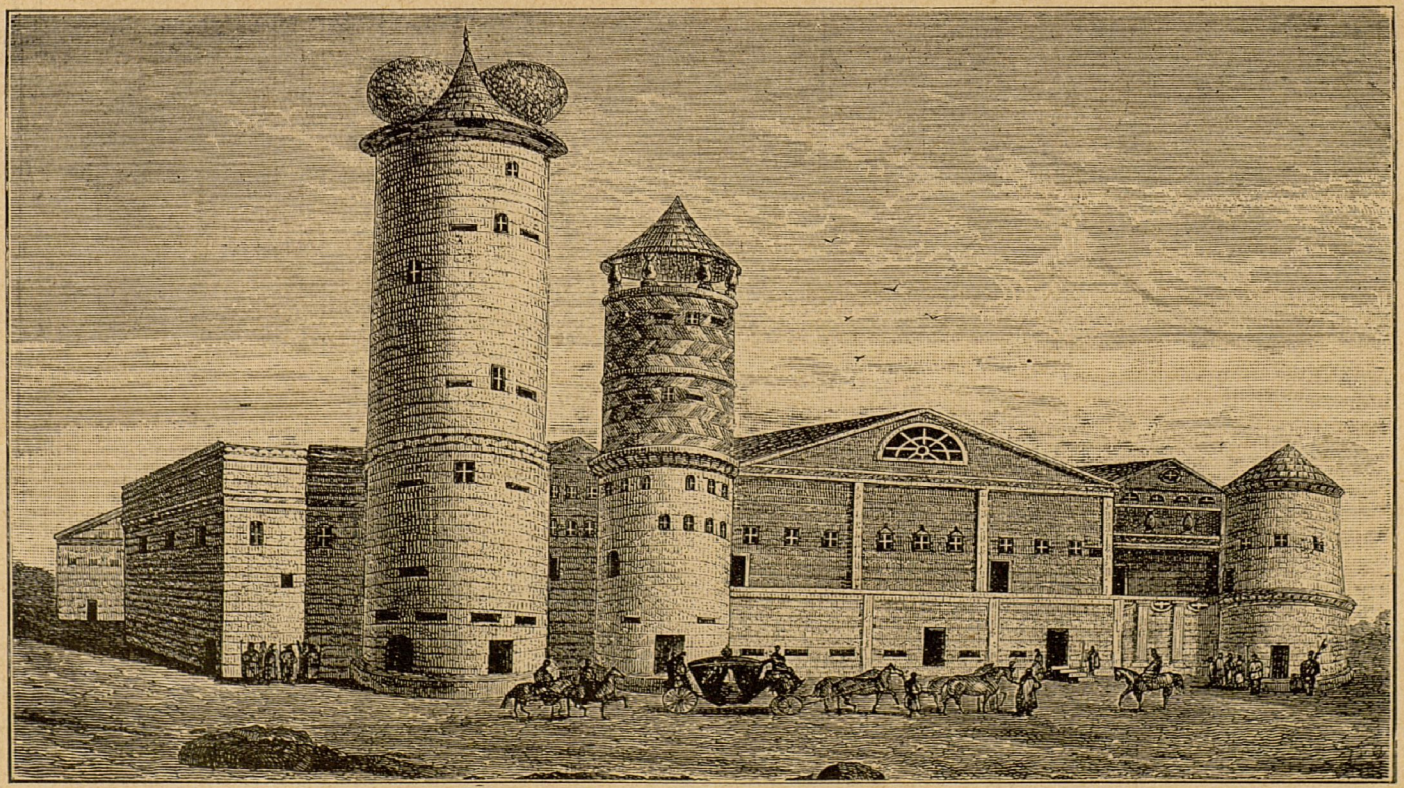
Между тѣмъ Таня однимъ духомъ пробѣжала мостъ, перекинутый надъ глубокимъ рвомъ, и очутилась въ небольшой рощицѣ или, вѣрнѣе, заросшемъ невысокою осокою мѣстечкѣ, на берегу рѣки.

Здѣсь она остановилась, перевела дыханіе и, поправивъ сбившійся на затылокъ алый чельникъ [1], унизанный жемчугомъ, крикнула звонко во весь голосъ:

— Алызга! Ты здѣся? А?

---

[1] Головной уборъ.



Сольвычегодскія хоромы именитыхъ людей Строгановыхъ въ XVI вѣкѣ.

СЪ РИСУНКА К. ЮРЬЕВА.

Осока зашевелилась и чья-то крупная голова просунулась въ зелени вѣтвей.

— Ты здѣся? Я такъ и мыслила, такъ и ждала, — радостно проговорила Таня, бросаясь въ чащу.

Изъ кустовъ выскользнуло странное небольшое существо, не то женщина, не то ребенокъ.

Смуглое темное лицо, скуластыя щеки, широкій, чуть приплюснутый носъ, маленькіе каріе глазки и коренастая, но сильная, почти дѣтская по росту, фигура, зашитая въ оленью шкуру какъ въ мѣшокъ, несмотря на палящій зной іюньскаго полдня. На ней была широкая оленья куртка безъ застежекъ, одѣвающаяся черезъ голову, и юбка изъ какой-то грубой не то холстины, не то кожи. На головѣ — остроконечная войлочная шапочка, унизанная бисеромъ, на ногахъ козьи сапоги, высокіе какъ у мужчины. Цѣлая масса ракушекъ, блестящихъ дощечекъ покрывала ея шею и грудь.

Это странное существо была остячка Алызга, плѣнница Строгановскаго острога. Лѣтъ шесть тому назадъ Сибирскій царевичъ Маметъ-Кулъ близко подошелъ къ русскимъ владѣніямъ. Въ его дружинѣ находилось, помимо татаръ, не мало и подвластныхъ Кучуму остяковъ, вогуличей и бурятъ, данниковъ Сибирскаго султана. Былъ у него и молодой остякъ въ дружинѣ, вѣрный слуга Кучума, Огевій. Онъ только-что женился на молоденькой Алызгѣ, любимой рабынѣ-остячкѣ одной изъ Кучумовыхъ женъ. Ея отецъ, мелкій остяцкій князекъ, привезъ еще малюткой къ Кучуму свою Алызгу въ его столицу Аскеръ. Съ тѣхъ поръ дѣвочка жила тамъ, въ гаремѣ Сибирскаго султана, служанкой у Сузгэ-Хонми, любимой Кучумовой жены, забывъ свою родину, свой родной языкъ и съ чисто собачьей преданностью отдавшись своей госпожѣ и ея маленькой дочкѣ-царевнѣ. Въ одну изъ темныхъ осеннихъ ночей Маметъ-Кулъ напалъ на прикамскіе поселки, находившіеся въ пяти верстахъ

отъ Строгановскихъ городковъ. Отстрѣливаясь отъ дикарей, сжегшихъ и разорившихъ ихъ посады, русскіе не мало перебили воиновъ Сибирскаго царевича. Когда поселенцы стали обходить мѣста, гдѣ кипѣла битва, то нашли среди убитыхъ враговъ одного молодого остяка. Надъ нимъ сидѣла странная неподвижная фигура и раскачиваясь протяжно пѣла что-то заунывнымъ голосомъ. Это и была Алызга, маленькая остяцкая женщина-дикарка, послѣдовавшая за мужемъ въ походъ и теперь оплакивавшая его кончину. Ее взяли и отвели къ Строгановымъ въ острогъ. Здѣсь она и прожила шесть лѣтъ, дикая, замкнутая, молчаливая. Ее пробовали заставить принять православіе, но какъ только заходила рѣчь объ этомъ, Алызга принималась горько плакать и такъ нѣжно прижимала къ груди своей деревянныхъ шайтанчиковъ [1], которымъ каждое утро и каждый вечеръ молилась, что на нее махнули рукой. Такъ же горячо протестовала она, когда ее хотѣли одѣть по-русски. Отъ мирныхъ остяковъ, данниковъ Московскаго государя, жившихъ поблизости Строгановскихъ городковъ, она научилась русскому языку. Семенъ Аникіевичъ велѣлъ ей устроить чумъ [2] въ саду, по образцу остяцкаго, съ чуволомъ [3], на которомъ она могла варить себѣ свой незатѣйливый обѣдъ.

Маленькая Алызга (она дѣйствительно казалась маленькою, несмотря на свои 22 года) не могла убѣжать отъ своихъ новыхъ господъ. Видя, какъ привязалась къ этой живой игрушкѣ его крестница, хорошенькая Таня, дядя Семенъ Аникіевичъ рѣшилъ приручить дикарку, чтобы молодая женщина и голубоглазая его крестница могли не разставаться. Съ Алызги взяли страшную клятву, чтобы она не ушла изъ Строгановскаго

---

[1] Идолы, болванчики, которые носятся на груди за пазухой, а побольше размѣромъ — стоятъ на полкахъ въ юртѣ. — [2] Жилище остяка. — [3] Очагъ

городка ни къ отцу, ни къ Кучуму, гдѣ прошла вся юность остячки. Изъ ближняго мирнаго остяцкаго селенія былъ призванъ шаманъ [1], который по желанію Семена Аникіевича, послѣ всевозможныхъ церемоній, заставилъ Алызгу поклясться надъ лапой медвѣдя [2], послѣ чего дикарка положенное число лѣтъ не могла и думать о побѣгѣ.

Вотъ какого рода странное существо выбѣжало изъ кустовъ навстрѣчу молоденькой Строгановой.

— Что ты дѣлала тутъ, на бережку, Алызга?—съ любопытствомъ, глядя въ круглое лицо дикарки, спросила Таня.

Та вспыхнула и потупила голову.

— Такъ... Алызга глядѣла на воду... глядѣла какъ прыгаютъ и рѣзвятся кули [3].

— Вотъ-то глупая!.. Это не кули твои, а рѣчныя струи, Алызга,—звонко разсмѣялась Танюша.

Румянецъ сбѣжалъ съ круглаго лица остячки, она замѣтно поблѣднѣла.

— Тссс! Не гнѣви великаго Сорнэ-Турома, — вся дрожа вскричала она,—не гнѣви, госпожа моя... Не было бы отъ того худо...

— Ха, ха, ха!—еще громче и веселѣе разсмѣялась Танюша, — аль ты запамятовала съ кѣмъ говоришь, Алызга? Духовъ мнѣ вашихъ бояться велишь. Да вѣдь я христіанка, православная, глупенькая ты бабенка, Алызга! Нешто можно мнѣ вѣрить въ существованіе вашихъ бездушныхъ боговъ?

— Охъ, не говори, не говори такъ, хозяйка, — испуганно прошептала дикарка и глаза ея округлились отъ ужаса.—Великій Унъ-тонгъ [4] услышитъ твои рѣчи и тогда бѣда: пропала и госпожа, и Алызга.

---

[1] Жрецъ, посредникъ между остяками и ихъ богами, и въ то же время кудесникъ и врачъ. — [2] Медвѣдь считается священнымъ у остяковъ. По остяцкимъ понятіямъ онъ когда-то былъ сыномъ Сорнэ-Турома, творца неба, упалъ съ неба и бродитъ среди людей. — [3] Водяные духи. — [4] Богъ природы: лѣса, степи и рѣки.

— Ничего, не пропала!—тряхнувъ красивой головкой съ толстой русой косой, произнесла Таня.—Не боюсь я твоихъ глупыхъ божковъ, Алызга... Одинъ Богъ на небѣ истинный, христіанскій... И нѣту, опричь его, другихъ боговъ,—строго и рѣзко произнесла дѣвочка.

Потомъ, помолчавъ немного, добавила мягче, обвивая за шею рукою свою круглолицую подругу:

— Голубушка Алызга, ты любишь меня?

Ея голубые глазки ласково засіяли навстрѣчу всегда угрюмымъ маленькимъ глазкамъ дикарки. Тонкіе пальчики любовно перебирали темно-русые, твердые и жесткіе, какъ солома, прямые волосы Алызги. Нѣжная бѣлая ручка продолжала обнимать сильную шею молодой полонянки.

— Ты крѣпко любишь меня, Алызга?—заглядывая ей въ лицо, еще разъ спросила Таня.

Дикарка угрюмо взглянула въ хорошенькое личико Строгановой и рѣзкимъ движеніемъ отстранилась отъ нея.

— А за што мнѣ любить тебя, госпожа?—усмѣхнувшись произнесли ея толстыя губы.

— Какъ за што?—такъ и встрепенулась обиженная Таня,—я-ль тебѣ не дарила и лѣтники [1] шелковые, и ферязи [2], и тѣлогрѣи, и вѣнцы, жемчугомъ и камнями осыпанные [3], и бусы, и ленты, и чеботы, шитые золотомъ да серебромъ? Только ты не брала ихъ, Алызга, и глядѣть не хотѣла на подарки мои. А небось, мониста и бусы брала отъ твоей казацкой царевны [4], небось, и сейчасъ ракушки да мониcты носишь, дарованныя ею тебѣ.

И Таня, ревниво косясь на остячку, сердито дер-

---

[1] Сарафаны. — [2] Верхнія одежды. — [3] Дѣвичій головной уборъ. — [4] Жены Кучума, хана Киргизъ-Кайсацкой орды. Русскіе люди того времени кайсаковъ звали казаками.

нула ея пестрое ожерелье изъ раковинъ, бисера и металлическихъ пластинокъ, которыя носила на шеѣ и груди Алызга. Молодая дикарка въ свою очередь вспыхнула гнѣвомъ. Ея глаза сердито блеснули.

— Не тронь! — крикнула она, сдвинувъ грозно брови. — Дары царевны Ханджаръ послѣдняя радость Алызги.

И она съ благоговѣніемъ приложила мониста къ своей скуластой щекѣ. Все некрасивое лицо ея озарилось яркимъ свѣтомъ. Потомъ глаза снова стали мрачны и угрюмы и снова обратились печальнымъ взоромъ къ рѣкѣ.

— Ты очень любишь твою царевну, Алызга? — съ затаенной ревностью произнесла Танюша.

— Га! — не то усмѣхнулась, не то всхлипнула дикарка. — Спроси рыбу, любитъ-ли она рѣчную струю. Спроси цвѣтокъ, любитъ-ли онъ солнце. Спроси мѣсяцъ, любитъ-ли онъ зимою ночь. Двоихъ людей послалъ на путь Алызгѣ великій Сорнэ-Туромъ: Огевія-батыря и царевну Ханджаръ. За обоихъ умретъ Алызга. Но къ великой печали ея въ мрачный хала-турмъ [1] отошелъ мужъ ея и грозный Уртъ-Ичэ [2] разлучилъ Алызгу съ царевной Ханджаръ... Правда, Ханджаръ не часто дарила монистами и ожерельями Алызгу, какъ ты, хозяйка, но зато она свободу дарила ей... Вольной птицей могла носиться по степи Алызга, идти на Бѣлую рѣку (Обь) къ своему князю-отцу. Ханджаръ сама любила свободу, понимала Алызгу и не мучила ее въ полону. А здѣсь?.. О, русскіе! Вы взяли страшную клятву съ Алызги, чтобы не могла Алызга бѣжать, — закончила съ мучительною тоскою дикарка и закрыла желтыми руками свое некрасивое, плоское, скуластое лицо.

— Крестись, Алызга, прими вѣру нашу и легче

[1] Подземный міръ. — [2] Грозный богъ, сынъ Троицкаго шайтана.

куда станетъ тебѣ,—тихо и ласково произнесла Таня, снова нѣжно обвивая шею остячки своей бѣлой рукой.

Что-то странное произошло съ дикаркой. Казалось, ненависть, бѣшенство и гнѣвъ разомъ наполнили все ея необузданное существо.

— Никогда!—топнувъ ногою, крикнула она рѣзко,—никогда не станетъ Алызга христіанкой! Великій ханъ Кучумъ не неволилъ Алызгу и ея мужа исповѣдывать Аллу и Магомета, пророка его...[1] Ни царевна Ханджаръ никогда не говорила о томъ, такъ подавно и тебѣ, госпожа, не слѣдъ неволить меня принимать Христа. Жила доселѣ Алызга рабыней своихъ великихъ боговъ и умретъ тоже ихъ слугой и рабыней,—громко заключила она, поводя разгорѣвшимися глазами.

— Ишь ты упористая какая,—произнесла, нахмурившись, Таня и невольный гнѣвъ охватилъ дѣвочку.—Нѣтъ такихъ боговъ! Вотъ што! И все твое вѣрованіе брехня одна!—поддавшись разомъ нахлынувшей на нее гнѣвной волнѣ вскричала она.

Алызга вздрогнула, вытянулась, какъ стрѣла. Вся коренастая фигурка дикарки точно выросла въ одно мгновеніе. Маленькіе глазки загорѣлись зелеными огнями. Она была блѣдна какъ смерть.

— Великій духъ, могучій Сорнэ-Туромъ! — грозно потрясая руками вскричала она рѣзкимъ голосомъ.—И ты, всесильный Унъ-тонгъ, и ты, грозный Уртъ-Игэ, и вы, быстрые кули и мрачные менги[2], вы слышите, что говоритъ она! Откликнитесь, великіе... нашлите громы и молніи на мѣсто это... Пусть видятъ кяфыры нечистые всю страшную силу могучихъ боговъ! — и она упала навзничь въ траву, не то смѣясь, не то рыдая, въ охватившемъ ее экстазѣ.

Доброй по натурѣ Танюшѣ стало жаль дикарки.

---

[1] Кучумъ вводилъ магометанство среди своихъ приближенныхъ, самъ онъ былъ магометанинъ. — [2] Лѣсные духи.

— Полно, Алызга, полно... сбрехнула, може, я... Не серчай, голубка! — наклонившись надъ нею проговорила она. — У насъ своя, у васъ своя вѣра... Не серчай... Не хотѣла я тебя обидѣть, бабочка! Полно, не плачь... Слышь, Алызга!

Все ниже и ниже наклонялась надъ дикаркой Таня и, занятая бившейся въ конвульсіяхъ Алызгой, не замѣчала, какъ нѣчто не совсѣмъ обыденное происходило подлѣ нея. Не видѣла, какъ разомъ зашевелились кусты, какъ чья-то закутанная въ оленью кожу фигура въ остроконечной шапкѣ съ лукомъ и стрѣлами, засунутыми за поясъ, съ плоскимъ, темно-желтымъ лицомъ и приплюснутымъ носомъ неслышно выскользнула изъ кустовъ и приблизилась къ обѣимъ женщинамъ.

Радостная, злобно-торжествующая усмѣшка искривила лицо незнакомца. Онъ выпрямился. Маленькіе глазки его блеснули... Твердой рукой онъ сталъ налаживать свой лукъ.

— Великъ могучій Сорнэ-Туромъ! — грозно прозвучалъ его голосъ и почти одновременно звякнула натянутая смуглой рукой тетива.

При звукахъ родного языка Алызга вскочила на ноги съ быстротою дикаго оленя. Одновременно громкій, испуганный крикъ вырвался изъ груди Тани. Стрѣла съ шипѣніемъ пронеслась мимо самой головы дѣвочки и вонзилась въ молодую осоку, росшую на берегу.

— Спасите! — новымъ отчаяннымъ крикомъ пронеслось по окрестности и замерло въ холодныхъ струяхъ рѣки. И, не помня себя, молодая дѣвушка ринулась изъ чащи. Промахнувшійся остякъ сердито топнулъ ногою, потомъ запустилъ руку въ сапогъ и, вытащивъ оттуда кривой ножъ съ короткой рукояткой, какимъ обыкновенно сдираютъ шкуры звѣрей охотники-остяки, ринулся въ погоню за дѣвочкой.

— Стой! — повелительнымъ жестомъ остановила его

Алызга, — стой, говорю я тебѣ, — все дѣло погубишь, братъ Имзега! — крикнула она по-остяцки. — Ужели пришелъ ты сюда, чтобы отправить въ хала-турмъ твою и мою душу?

— Молчи, сестра! Недаромъ я готовлюсь стать большимъ тодиби [1]. Я не могъ выслушивать, какъ нечистыя уста порочатъ нашу вѣру. Я служитель свѣтлыхъ боговъ,—угрюмо произнесъ остякъ.

— Великій Сорнэ-Туромъ лишилъ разума эту несчастную и сами боги вольны казнить и миловать ее! — вѣско и убѣжденно заговорила Алызга. — Ты пришелъ во-время, Имзега. Я каждый вечеръ выходила сюда слушать крикъ иволги, которымъ ты извѣщаешь свой приходъ. Въ этотъ годъ онъ принесетъ мнѣ счастье. Этотъ годъ — послѣдній годъ плѣна и страданья Алызги, сестры твоей... Былъ-ли ты, богатырь, на урманѣ Вагатима-нетъ? [2] — съ лихорадочной поспѣшностью закончила свою рѣчь вопросомъ Алызга.

— Я только оттуда, сестра! — произнесъ молодой остякъ. — Слушай, надо торопиться... А то дѣвчонка успѣетъ добѣжать до острога и поднять тревогу... Мой каюкъ [3] спрятанъ въ камышахъ... Успѣемъ бѣжать, только надо спѣшить... Слушай: я провелъ семь дней и семь ночей на урманѣ... Я принесъ въ даръ великому духу девять [4] медвѣжьихъ сердецъ, добытыхъ на охотѣ... Я лежалъ ницъ передъ великимъ изображеніемъ могучаго шайтана, не вкушая пищи, девять дней и девять ночей и вотъ что открылъ мнѣ могучій Унъ-Тонгъ, сестра моя Алызга: черезъ семь новолуній ты будешь освобождена отъ клятвы своей и можешь вернуться къ отцу на Бѣлую рѣку, либо въ юртъ хана Кучума. Слышишь, сестра?

---

[1] По-остяцки — шаманъ. — [2] Священное мѣстопребываніе главнаго остяцкаго божества. — [3] Лодка. — [4] Число 7 и 9 имѣютъ кабалистическое значеніе у остяковъ.

Твердой рукой онъ сталъ налаживать свой лукъ...

— О, Имзега! Благодарю тебя за добрую вѣсть!—вся вспыхнувъ отъ счастья, прошептала Алызга.

— Постой, не все еще. Ты должна сослужить намъ великую службу, Алызга,—кладя ей свою смуглую руку на плечо, произнесъ остякъ.—Пятьсотъ вогуличей-воиновъ, съ мурзою Бабеліемъ и нашими молодцами, остяцкими батырями, стоятъ недалече въ степи. Сегодня въ ночь лучшіе молодцы мурзы проберутся къ острогу. Ты откроешь намъ ворота, Алызга, и наши ворвутся и перебьютъ собакъ русскихъ, ворвавшихся въ нашу землю и завладѣвшихъ ею. Поняла ты меня, сестра?

— О, поняла! Все поняла Алызга!

— Когда все будетъ сдѣлано, ты можешь бѣжать сегодня-же въ ночь. Великій духъ освободилъ тебя отъ страшной клятвы, сестра!

— О, Имзега! Съ какими чудными вѣстями прислалъ тебя великій духъ! Благодареніе могучему Сорнэ-Турому! Ты не забылъ свою невольницу-сестру, богатырь!—радостно проговорила Алызга, обнимая брата.

— Я приходилъ каждыя двѣнадцать новолуній сюда въ эту рощу, ты помнишь, Алызга? Вотъ уже шесть лѣтъ, какъ я узналъ, что сестра моя въ плѣну у русскихъ... Теперь, благодареніе всесильному Ун-тонгу, тебѣ остается провести лишь послѣдніе часы у этихъ собакъ. Къ восходу солнца, милостью свѣтлыхъ духовъ, ихъ остроги и поселки—все будетъ обращено въ пепелъ и прахъ... Но, чу! я слышу—сюда бѣжитъ погоня. Дѣвчонка вѣрно подняла на ноги острогъ! Я спѣшу въ мой каюкъ, Алызга. Прощай до ночи, сестра!

— Прощай, богатырь! Буду ждать къ ночи нашихъ храбрецовъ!

Имзега въ три-четыре прыжка очутился на берегу и вскочилъ въ лодку. Зашуршала осока. Нѣсколько разъ взмахнулъ веслами остякъ, и легкая лодка понеслась стрѣлой вверхъ по рѣкѣ. Отъ острога къ рощѣ бѣжали

люди, стража и холопы во главѣ, съ самимъ Семеномъ Аникіевичемъ, на смерть перепуганнымъ случаемъ съ крестницей. Его племянники, Максимъ и Никита, статные, красивые молодцы, съ ружьями въ рукахъ, вели всю эту вооруженную толпу. Старшій Строгановъ, еще далеко не старый мужчина, съ легкой просѣдью въ волосахъ и окладистой бородѣ, казался по виду скорѣе какимъ-нибудь важнымъ бояриномъ, нежели солеваромъ-купцомъ, столько достоинства было въ его пріятномъ добромъ лицѣ и голубыхъ глазахъ, теперь зажегшихся гнѣвомъ.

— Оцѣпить, братцы, рощу да обыскать поладнѣе! Должно, схоронилась тамъ басурманская нечисть, что пустила въ крестницу стрѣлу!—приказалъ онъ, первый бросаясь въ чащу. И тутъ же сразу замѣтилъ Алызгу. Она стояла спокойная, какъ ни въ чемъ не бывало, на опушкѣ. Только лицо ея было блѣдно, да глаза значительно поблескивали изъ-подъ насупленныхъ бровей.

— Ага, здѣся ты! — сурово произнесъ Строгановъ, хватая за руку плѣнницу.—Ты это што-же... а? Спустя лѣто по малину ходить? Шесть годовъ выжила кротко да смирно, што твоя овечка, а тутъ, накося, съ твоимъ песьимъ племенемъ никакъ шашни стала сводить? Такъ-то ты отплатила за хлѣбъ, за соль да за заботы мои, вражья бабенка!

И, добрый и ласковый отъ природы, настоящій «отецъ» своихъ поселенцевъ, онъ теперь, не помня себя, трясъ изо всѣхъ силъ упорно хранившую молчаніе Алызгу.

Та только закусила губы и тяжело, порывисто дышала.

— Кто въ Танюшку стрѣлялъ? А? Какого разбойника здѣсь схоронила?—крикнулъ, выскочивъ впередъ, Максимъ, испуганный за сестру не менѣе дяди.

Алызга молчала. Вся ея небольшая, но коренастая,

приземистая фигура олицетворяла только одну настойчивость, одно дикое, животное упорство.

— Эхъ, окрестить бы тебя нагайкой, чортову куклу!— замѣтилъ кто-то изъ стражниковъ-холоповъ.

Алызга съ ненавистью и злобой скосила на него глаза.

— Право слово, окрестить бы ее, Семенъ Аникичъ,— подхватили другіе.—Небось тогда заговоритъ!

— Окститесь, други! Аль бивалъ я васъ когда? — замѣтно недовольнымъ голосомъ произнесъ Семенъ Аникіевичъ.

— Николи не бивалъ!—хоромъ отвѣчали холопы.

— Такъ ужели же беззащитную бабенку, да еще полоненную нами же, лупить? По добру куда гораздъ ладнѣе спросить ее будетъ,—тихо и спокойно ронялъ Строгановъ, гнѣвъ котораго уже мало-по-малу проходилъ. И, взявъ за руку Алызгу, на сколько могъ ласково сказалъ, обращаясь къ дикаркѣ:

— Твои боги накажутъ тебя, коли ты супротивъ насъ не права, Алызга, ежели укрыла здѣся вора какого изъ вашихъ племенъ... А все же ужо велю раздобыть я медвѣжью лапу и новую клятву возьму съ тебя, штобъ вѣрой и правдой служила ты своимъ господамъ. Да вотъ еще, сходи ты, Максимушка, къ попу въ поселокъ, да попроси батю Алызгу къ купели готовить. Не слѣдъ ей своей басурманской вѣрѣ прямить. Крестить ее скорѣича надоть. Наша-то русская, глядишь, не своимъ басурманамъ-татарвѣ да самоѣди прямить будетъ, — заключилъ Строгановъ, довольный своей выдумкой, поглядывая на всѣхъ.

При послѣднихъ словахъ Семена Аникіевича Алызга затрепетала. Блѣдное лицо ея стало багровымъ. Даже синія жилы вздулись на вискахъ. Но это длилось не долго. Быстрѣе молніи заработалъ ея мозгъ.

Клятву не ранѣе восхода возьмутъ. Да и рус-

скій тадибей [1] не сейчасъ придетъ крестить ее, Алызгу. Пока исполнитъ свое желаніе хозяинъ, она, Алызга, успѣетъ сдѣлать все, что велѣлъ ей братъ и скрыться на вѣки изъ этого проклятаго мѣста, — вихремъ пролетѣла мысль въ угрюмо-потупленной головѣ остячки.

— А все же запереть ее не худо, — началъ кто-то изъ слугъ, подозрительно поглядывая на остячку. Но Семенъ Аникіевичъ, почему-то довѣряя проживавшей у него въ плѣну дикаркѣ, не хотѣлъ обижать послѣднюю. И на предложенную мысль запереть молодую женщину до времени въ глухомъ Строгановскомъ подвалѣ, куда обыкновенно сажали провинившихся поселенцевъ [2] или плѣнныхъ кочевниковъ, только покачалъ головой:

— Не для чего запирать Алызгу. Не ея вина, што кочевникъ въ Танюшку мѣтилъ стрѣлою. Небось, и сама испужалась за хозяйку свою. Правду-ль я говорю, испужалась, Алызга?

И Строгановъ, почти успокоенный тѣмъ, что не нашелъ ничего подозрительнаго на мѣстѣ происшествія, уже ласково обращался съ дикаркой.

Та только молча кивнула головой.

— А по мнѣ ее въ кандалы бы да въ цѣпи! — произнесъ горячій и вспыльчивый Максимъ Строгановъ.

— И то бы!—вторилъ ему братъ Никита,—а то не случилось-бы худа, дядя

— Чему случиться? Не сегодня-завтра придутъ казаки, спасители наши... Вона Евстигнеюшкѣ намедни прислали грамотку, што больно спѣшитъ къ намъ Ермакъ Тимофеевичъ съ дружиной своей... Гляди, еще въ сю ночку явятся молодцы,—съ довольнымъ видомъ потирая руки, весело говорилъ Строгановъ.

Хорошо, что не смотрѣлъ въ сторону Алызги именитый купецъ, а то бы увидѣлъ, какъ неожиданно сразу

---

[1] Священное лицо. — [2] По жалованной грамотѣ Іоанна Строгановы имѣли право самолично вершить судъ и расправу въ своихъ владѣніяхъ.

измѣнилось лицо дикарки, какъ испуганно забѣгали ея обычно тусклые, теперь какъ-то странно загорѣвшіеся, глаза.

Казаки идутъ!.. Ночью будутъ!.. Не успѣютъ наши... Какъ оповѣстить Имзегу объ этомъ?—быстро-быстро мелькала мысль за мыслью въ головѣ Алызги.

Между тѣмъ къ Семену Аникіевичу вернулись стражники, обыскавшіе рощу, и заявили, что ничего подозрительнаго не нашли нигдѣ.

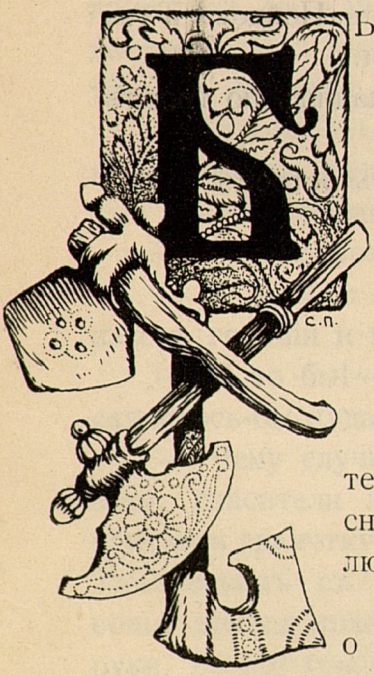
— Вотъ, видите, не нашли, — обрадовался добрякъ Строгановъ, — небось, чужой, невѣдомый Алызгѣ, забѣжалъ сюды къ намъ кочевникъ... Неповинна бабенка, какъ есть, ни въ чемъ. А тапереча айда, домой, ребятушки, надо крестницу успокоить. Самъ Господь Татьяну Григорьевну отъ бѣды уберегъ. Пойдемъ и ты, Алызга. Вижу, зря распалился на тебя.

И Семенъ Аникіевичъ ласково погладилъ по головѣ дикарку.

Весь маленькій отрядъ двинулся въ острогъ.

ГЛАВА IX.

Въ свѣтлицѣ.—Страхи.—Событіе за событіемъ.



БЫСТРО оправилась отъ своего испуга Танюша. Уже къ вечеру отошла на столько, что, несмотря на всѣ доводы няни Анфисы Егоровны, выняньчившей свою «золотую кралечку», велѣла позвать сѣнныхъ дѣвушекъ на игры и затѣи дѣвичьи въ свою свѣтлицу.

— Полежать-бы тебѣ малость въ постелькѣ, пташечка! Небось, напужалась-то. Еле отъ водицы святой отошла. А то игры да пѣсни растревожатъ тебя и, не приведи, Господи, занедужишься снова,—уговаривала старая нянька свою любимицу.

Но любимица и слышать не хотѣла о лежаньѣ и отдыхѣ.

— Не недужная я какая, штобы зря пролеживать перины, няня, — говорила бойкая, веселая дѣвочка.—Скушно мнѣ такъ-то... Ишь невидаль: спаслась отъ кочевниковой стрѣлы... Такъ вѣдь спаслась же, не попала въ меня стрѣла та...

— Еще что скажешь! Не попала! Храни, Господи!— такъ и залилась нянька со страха.

— Ну, вотъ видишь. Стало быть все и ладно. А коли ладно, зови сѣнныхъ дѣвушекъ: Агашу, Марью да Аннушку, да изготовь намъ гостинчика, нянечка, пряниковъ инбирныхъ да паточныхъ, бруснички моченой, орѣшковъ да рѣпки въ меду, да клюквы... Ладно, нянечка, побалуешь насъ?

И прыткая, живая, веселая дѣвочка ласковой кошечкой прильнула къ груди старухи.

— Ладно ужъ, ладно, побалую тебя, озорница. И сластей вамъ изготовлю да сотоваго медку, инбирнаго. Будешь довольна, ласточка,—размягченная поцѣлуями своей любимицы отвѣчала старуха.

— И Алызгу велишь покликать, нянечка?

— Ну, ужъ нѣтъ! Алызгу не пущу къ тебѣ. Она, негодница, господское дите не уберегла давеча въ рощѣ, допустила разбойника стрѣлять въ тебя. Видѣть ее, мерзкую, не могу, «бесерменку» [1] эту!—неожиданно захорохорилась Анфиса Егоровна.

— Да вѣдь она не виновата, нянечка. Разбойникъ такъ подкрался, что и не замѣтила она.

— Ладно ужъ, не защищай свою любимицу. Съ той поры какъ поселилась у насъ эта нечисть, прости, Господи, «бесерменская», ты опричь нее и видѣть, и знать никого не хочешь... Вѣрно околдовала тебя полонянка эта. Тьфу!

И старуха Егоровна энергично сплюнула при одномъ упоминаніи о треклятой «бесерменкѣ», которую не выносила съ первыхъ же дней ея поселенія въ Строгановскомъ городкѣ. Отчасти набожную няньку Анфису отталкивала Алызга, какъ вѣрная своимъ богамъ язычница, отчасти—ревнивая старуха завидывала той дружбѣ

[1] Басурманку.

и любви, которую питала къ «бесерменкѣ» ея ненаглядная Танечка. И отвѣтное отношеніе, самая холодность Алызги къ Танѣ раздражала Егоровну.

— Ишь кочевряжется кочевое отродье... Ей бы ножки цѣловать у нашего андела, а она, идолша поганая, волкъ-волкомъ только и глядитъ! — не разъ говаривала о своемъ врагѣ-остячкѣ Анфиса.

Но на этотъ разъ хорошенькой Танѣ удалось таки уговорить няньку, и вскорѣ веселая толпа дѣвушекъ и коренастая, сильная, хоть и маленькая, фигурка Алызги появились у ней въ свѣтличкѣ.

Молодежь размѣстилась по лавкамъ, грызя орѣхи и подсолнухи, да жуя сладкіе пряники и лепешки. Говорили всѣ разомъ, говорили все объ одномъ утреннемъ происшествіи, о разбойникѣ, осмѣлившемся стрѣлять въ молоденькую хозяйку. Одна Алызга молчала. Она сидѣла, угрюмо уткнувшись, по своему обыкновенію, въ стѣну, и глаза ея безучастнымъ, тусклымъ взоромъ смотрѣли прямо передъ собой. Наговорившись вдоволь, дѣвушки затянули пѣсню. Миловидная черноволосая Агаша, главная запѣвала Строгановскихъ хоромъ, лихо подбоченилась, руки въ бока, и первая затянула своимъ звонкимъ голоскомъ:

Летала, летала птичка-невеличка,
Ростомъ-то съ пальчикъ, перьшки красны,
По саду порхала, по кустамъ, дорожкамъ;
Пѣсенку пѣла птичка-невеличка,
Услыхала птичку изъ своей свѣтлички
Дѣвица, молода дѣвица, пригожа,
Роду большого, именитаго роду,
Звать-то Татьяной, свѣтомъ Григорьевной.
Выглянула изъ окна...

— Стой, никакъ пѣсню-то сама сладила, Агаша?— съ хохотомъ бросаясь къ ней и цѣлуя веселую дѣвушку кричала Таня.

— А то нешто не сама?—лихо тряхнула своей черненькой головкой ея бойкая сверстница и, помолчавъ немного, подхватила снова: —на радостяхъ и поется-то, и

пляшется, боярышня, что вызволилъ тебя Господь изъ бѣды! Хорошо нешто сладила пѣсенку, дѣвицы?—весело обратилась она къ окружающему ее сонму подругъ.

— Што и говорить, ты у насъ мастерица!—откликнулась сѣроглазая Домаша, съ благоговѣніемъ глядя на хорошенькую запѣвалу.

— Небось, другой такой, весь свѣтъ исходи, не найдешь, — вторила ей Аннушка, тихая, ласковая дѣвушка съ длинной косой.

— Такая затѣйница, што и сказать нельзя! Небось, саму Алызгу развеселишь, — засмѣялась хохотушка Машенька, лукаво скосивъ глаза на притаившуюся въ своемъ уголку Алызгу.

Та при упоминаніи своего имени медленно подняла голову.

— Што надо?—нехотя спросила она на ломаномъ русскомъ языкѣ.

— А то надо, што больно ты угрюма, бесерменская княжна. Ходишь ровно идолъ мохнатый въ своей оленинѣ. Пугало ни дать, ни взять. То ли бы дѣло, бабочка, въ лѣтникъ тебя да убрусъ нарядить. Поди, подойдетъ тебѣ лѣтникъ-то куды гораздо болѣе, нежели пугальная твоя одежа! — со смѣхомъ, хватая за руки Алызгу и вытаскивая ее на середину комнаты, кричала Агаша.

— И то бы, обрядить ее... То-то смѣху будетъ! — подхватила Машенька.

— Не надо, не троньте ее,—вступилась Таня,—пущай сама обрядится. Хошь, подарю тебѣ свой лѣтникъ изъ червчатаго атласа да убрусъ покойной матушки, Алызга?—предложила она ласково дикаркѣ.

— Не надо Алызгѣ, ничего не надо!—сурово отвѣчала та.

— Нѣтъ, ты обрядись! Чего кочевряжишься? — появляясь на порогѣ, произнесла сердито няня Анфиса Его-

ровна. — А вы вотъ што, дѣвушки, больно ей воли-то не давайте! Руки ей скрутите, да и обрядите бесерменку. Что съ ней долго канителиться. Потѣшьте золотую нашу хозяюшку, — съ недобрымъ взглядомъ въ сторону Алызги заключила она.

— Нѣтъ, нянечка, не надо,—взмолилась Таня,—коли не хочетъ Алызга, зачѣмъ же силкомъ?

— Дура она, што не хочетъ!—окончательно вышла изъ себя нянька.—Небось, хочетъ, только сказать боится. Кому неохота лѣтникъ червчатый да кику нарядную надѣть? Ладно ужъ, раскошелюсь на радостяхъ. Ты, гляди-ка, выросла изъ алаго лѣтника-то, кралечка, а ей, карлицѣ-малявкѣ, какъ есть въ пору буде. Да мою кику дамъ, што въ молодости по праздникамъ надѣвала,—высказала свою мысль Егоровна.

— Да вѣдь старое все это, нянечка. Я бы свой червчатый лѣтникъ да матушкинъ убрусъ ей подарила,— нерѣшительно произнесла Танюшка.

— Да никакъ ты рехнулась, дитятко! Этакой-то дряни, прости, Господи, да шелка носить, да покойницы-хозяюшки кику еще давать! Што ты! Што ты! Окстись, Танюшка,—такъ и замахала обѣими руками нянька.— А нутка-сь, Агаша,—обратилась она тутъ же къ востроглазой чернушкѣ-пѣвуньѣ, — добѣги до моей клѣтушки да вынь изъ укладки [1] кику мою... Тамъ же, въ ларѣ, и старые лѣтники найдешь боярышнины, вотъ тебѣ и ключикъ. Отомкнешь замокъ...

— Ладно, нянечка! Я духомъ слетаю. Одна нога здѣся, а другая тамъ.

И, какъ бы въ подтвержденіе, Агаша пулей вылетѣла изъ горницы.

Дѣвушки, между тѣмъ, веселой толпой окружили Алызгу.

---

[1] Сундукъ.

— Постой! Постой! Обрядимъ тебя, какъ царевну, княжна бесерменская!—шутили онѣ.

Та только дико поглядывала на нихъ, какъ затравленный звѣрекъ.

Вскорѣ вернулась въ свѣтлицу и Агаша. Въ одной рукѣ ея была кика, въ другой лѣтникъ.

— Ну, дѣвоньки, обряжай остячку! — скомандовала няня.—Неча ей въ своей шубѣ ходить, ужо, послѣ крестинъ, все едино скинетъ.

— Поворачивайся, што-ль, красавица!—усмѣхнулась веселая Машенька и изловчившись занесла руку и сорвала остроконечную шапку съ большой, неуклюжей головы Алызги.

Точно подъ ударомъ кнута выпрямилась дикарка. Страстной ненавистью вспыхнули ея небольшіе глазки. Она испустила какой-то гортанный крикъ и, изогнувшись какъ кошка, кинулась на Машеньку.

— Ай-ай! Да ты кусаться, бесерменка негодная! Ей добра хотятъ, а она ровно звѣрь лютый... Вотъ погоди, я-жъ тебя! — гнѣвно закричала няня Анфиса и въ свою очередь бросилась къ Алызгѣ.

Неожиданный шумъ, раздавшійся въ сѣняхъ, привлекъ вниманіе дѣвушекъ.

Алызга воспользовалась этимъ и, растолкавъ окружавшую ее толпу, бросилась за дверь, почти столкнувшись на порогѣ съ входившимъ сюда Максимомъ. Старшій изъ молодыхъ хозяевъ былъ, повидимому, чѣмъ-то взволнованъ. На его пригожемъ лицѣ, какъ двѣ капли похожемъ на лицо сестры, явно замѣчалась тревога. Нервно пощипывая свою русую бородку, онъ едва отвѣтилъ на почтительный поклонъ дѣвушекъ и, быстро отыскавъ въ ихъ толпѣ сестру, подошелъ къ ней:

— Танюшка, не пужайся, милая... Упредить тебя пришелъ. Сейчасъ пальбу изъ пушекъ да пищалей услыхаешь, не совсѣмъ твердымъ голосомъ произнесъ Максимъ.

— Што? Какая бѣда? Зачѣмъ палить станутъ? — такъ и всколыхнулась молодая Строганова.

— Не бойся, милая, — на сколько могъ спокойно произнесъ Максимъ.—Опять орды кочевниковъ со степи движутся, къ поселкамъ путь проложить ладятъ... Надоть намъ, съ Никитой-братомъ, вызволять поселенцевъ идти... Палить станемъ... До пушекъ они, сама знаешь, не больно-то горазды. Разбѣгутся живо...

— А велика-ль орда, братецъ?—помимо воли охваченная страхомъ произнесла дѣвушка.

— Нешто ихъ приходитъ когда по малости? Больно трусливы псы степные, — попробовалъ отшутиться Максимъ. Но по его тону и лицу видно было, что неспокойно на душѣ у молодого Строганова. Неспокойна стала и присутствующая молодежь. Не за себя боялись подружки Тани Строгановой и сама молоденькая хозяйка. Здѣсь, за толстыми стѣнами и крѣпкими запорами, онѣ были безопасны вполнѣ. Иное смущало и голубоглазую Танюшу, и няню Анфису, и всѣхъ этихъ рѣзвыхъ дѣвушекъ, за минуту до того веселившихся отъ души: участь поселенцевъ Сольвычегодскихъ, разбросавшихся со своими селеніями по Чусовой, волновала ихъ. Навѣрное кочевники обрушатся прежде всего на мало сравнительно защищенные поселки, сожгутъ нивы, угонятъ скотъ, а то и людей.

— Какъ же, братецъ,—несмѣло освѣдомилась дѣвушка,—ты сейчасъ и пойдешь на охрану нашихъ поселковъ?

— Сейчасъ и пойду съ охотничками. Да ты не сумлѣвайся, Таня... Дядя тутъ съ вами останется да и воротниковъ съ десятка два, про всякій случай,—стараясь казаться спокойнѣе заключилъ Максимъ.

— Да я не боюсь. Только ты себя побереги малость. Зря-то въ пекло не суйся.

И быстрымъ движеніемъ дѣвушка закинула обѣ руки за шею брата.

— Ишь ты, тоже учитъ, ровно взрослая,—усмѣхнулся Максимъ и, снявъ шапку, трижды поцѣловался съ сестрою.

Потомъ, наскоро поклонившись присутствующимъ, онъ стремительно вышелъ изъ дѣвичьей свѣтлицы сестры.

Танюша и дѣвушки кинулись къ окнамъ. Спѣшно посреди двора строились ратники, заряжали пищали, подвѣшивали оружіе, готовясь въ недальній путь. Верстъ десять всего было до того поселка, куда, повидимому, мѣтили набѣжать движущіеся по степи кочевники.

Вскорѣ небольшой отрядъ, во главѣ съ Максимомъ и Никитой Строгановыми, вышелъ изъ острога. Только небольшое количество людей осталось для охраны богатыхъ Строгановскихъ хоромъ, стеречь самый городокъ и его хозяевъ.

ГЛАВА X.

Бѣда. — Безпокойная ночь. — Незванные гости. — На выручку.

ЩЕ не ложился Семенъ Аникіевичъ Строгановъ. Ночныя сумерки давно спустились и степь понемногу теряла свои очертанія. Въ просторной горницѣ, служившей ему опочивальней, на широкой лавкѣ, крытой кызыльбацкаго штофа полавошникомъ, сидѣлъ именитый купецъ. На столѣ передъ нимъ лежалъ старинный, въ бархатномъ переплетѣ, псалтирь, который въ минуты душевнаго волненія любилъ читать владѣлецъ Сольвычегодска.

При свѣтѣ восковой свѣчи да при блѣдномъ мерцаніи лампады, зажженой передъ огромнымъ кіотомъ, горница Семена Аникіевича, блестѣвшая днемъ слишкомъ богатымъ убранствомъ, теперь имѣла болѣе уютный и скромный видъ. Широкая рѣзная кровать на массивныхъ ножкахъ, съ цѣлою грудою лебяжьихъ перинъ, подушекъ, со стеганымъ бархатнымъ одѣяломъ,

обшитымъ по борту золотою гривкой, такъ и манила къ отдыху и покою. Но старшій Строгановъ медлилъ. Что-то тяжелое камнемъ лежало у него сегодня на душѣ. Не впервые приходилось ему отпускать обоихъ племянниковъ отражать набѣги кочевниковъ, но никогда не болѣло по нихъ такъ сердце, какъ сегодня. Богъ вѣсть почему, страхъ, помимо воли, прокрадывается въ душу, щиплетъ за сердце и заставляетъ думать о чемъ-то нехорошемъ, тяжеломъ и мрачномъ, какъ никогда. Семенъ Аникіевичъ равно любитъ всѣхъ своихъ племянниковъ-сиротъ. Съ малыхъ лѣтъ, замѣняя имъ отца, холостой и бездѣтный, онъ только и жилъ для этихъ дѣтей. Какъ родныя дѣти они дороги ему. Не дай, Господи, случится что,—мѣста онъ себѣ не найдетъ.

— Да что случиться-то можетъ? Штой-то ровно младенецъ я сталъ! Чего боюся. Не впервой, право! — ободряетъ самъ себя именитый купецъ, — не впервой, я чаю, съ кочевниками сталкиваться. Господи, помилуй! Помолиться развѣ?—неожиданно рѣшаетъ онъ и съ благоговѣніемъ подходитъ къ божницѣ, поправляетъ лампаду и, опустившись на колѣни, Семенъ Аникіевичъ сталъ горячо молиться о благополучномъ возвращеніи племянниковъ съ ихъ отрядомъ.

Молитва успокоила старика. Бодрый и спокойный поднялся онъ съ колѣнъ.

— Все какъ рукой сняло,—произнесъ онъ, умиротворенный новымъ, тихимъ чувствомъ.

Потомъ подошелъ къ оконцу, глянулъ въ него и... невольный крикъ вырвался изъ груди Сольвычегодскаго владѣльца: темная лавина катилась съ невѣроятной быстротою по пути къ острогу, въ степи.

— Обошли!.. обошли песьи бесермены!—вскричалъ онъ въ страшномъ волненіи. — Я къ поселкамъ ребятъ послалъ, а они, видно, на самый Сольвычегодскій острогъ мѣтятъ... Молодцовъ-то мало, не отстоять имъ острога...

Эхъ, простофиля ты, простофиля, братъ Семенъ... Што таперича дѣлать? Какъ вызволить изъ бѣды Таню, бабъ?.. Небось, не замѣшкаютъ незванные гости, — безпорядочно ронялъ не на шутку испуганный старикъ.

Его страхи не замедлили оправдаться.

— Семенъ Аникіевичъ! Бѣда! Ой, бѣда лихая, хозяинъ! Югра [1] поганая степью валитъ на насъ! — дрожащимъ голосомъ возвѣстилъ вбѣжавшій холопъ.

Почти за нимъ слѣдомъ влетѣлъ въ горницу воротникъ.

— Батюшка, Семенъ Аникіевичъ! Югра валитъ, почитай, въ трехъ переходахъ отъ насъ всего, — докладывалъ онъ, не помня себя отъ страха.

Поднялась суматоха и въ Строгановскихъ хоромахъ, и во всемъ городкѣ-острогѣ. Замелькали огни, забѣгали люди. Стражники-пушкари налаживали пушки.

Спавшіе до сихъ поръ мирно защитники покидали горницы и бѣжали къ стѣнамъ. Изъ второго яруса хозяйскихъ хоромъ видно было далеко за стѣну острога. Тамъ находились хозяйскія опочивальни и жилыя горницы, въ то время какъ внизу ютилась челядь.

Танюша Строганова скоро проснулась отъ суетни и шуму.

— Никакъ пожаръ! — вихремъ пронеслось въ головѣ дѣвочки.

Старая нянька съ плачемъ ринулась къ ней.

— Ласточка ты моя, сиротинка болѣзная, ягодка моя, куды я тебя укрою? Ой, лихо, лихо стряслось! Пропали наши головушки! Югра идетъ! Такъ валомъ и валитъ по степи! — заключила она, съ рыданьемъ обнимая и крестя дѣвочку.

— Югра идетъ? Вотъ оно напасть какая! — прошептала Танюша и, вся похолодѣвъ разомъ, почти крикнула въ голосъ: — А дядя-то, дядя гдѣ?..

---

[1] Югорцы, дикіе кочевники Югорской земли, часто нападавшіе на Строгановскія владѣнія.

— На стѣны пошелъ хозяинъ Семенъ Аникичъ!

— А братцы еще не вернулись?—взволнованно роняла Таня.

— То-то и бѣда, не вернулись наши соколы!—всхлипнула нянька.—Ой лихо, ой лихо, касаточка моя!

Но дѣвочка уже не слушала причитаній няньки. «Если братья съ ихъ отрядомъ не подоспѣютъ, югра кинется на острогъ и, чего добраго, возьметъ его!»—въ невольномъ трепетѣ соображала юная Сольвычегодская хозяйка. — Тогда... тогда... я къ дядѣ пойду! — неожиданно рѣшила она и дрожащими руками стала застегивать запоны на-спѣхъ наброшеннаго на плечи лѣтника.

— Ой, не пущу тебя, ягодка. Здѣся, въ горницахъ, куды спокойнѣе,—такъ и вцѣпилась Егоровна въ свою питомицу.

Съ несвойственною ей рѣзкостью дѣвушка оттолкнула старуху и стремглавъ кинулась въ открытую дверь.

Сбѣжать въ первый ярусъ жилья, оттуда, черезъ просторныя сѣни, въ садъ, домчаться до воротъ—было дѣломъ нѣсколькихъ минутъ для быстрой и подвижной дѣвочки. Она духомъ миновала садъ и небольшую площадь за нимъ, гдѣ находились риги, амбары, сольницы и прочія домовыя пристройки острожнаго городка, и побѣжала къ воротамъ, выходившимъ въ поле. По ея мнѣнію дядя съ челядью и стражей находился здѣсь.

Но полная тишина господствовала въ этой части острога. Прилегавшія къ садовой части ворота скрывались въ тѣни орѣшника, густо разросшагося въ углу.

Глухимъ и страшнымъ показалось сейчасъ это мѣсто небоязливой отъ природы Танѣ. Гулкій топотъ доносился сюда, въ темнотѣ, со стороны степей. Будто нѣсколько тысячъ человѣческихъ ногъ утаптывали почву. Изъ-за стѣны не видно было того, что дѣлалось въ степи.

— Съ нами крестная сила! Идутъ вороги! — дрогнувъ отъ ужаса прошептала Таня.—Къ дядѣ, къ дядѣ скорѣича! — вихремъ подсказывала ей встревоженная мысль.—У главныхъ воротъ дядя... За пристройками не видать огней,—рѣшила дѣвушка и стрѣлою метнулась было назадъ отъ воротъ.

Зловѣщій крикъ ночной птицы неожиданнымъ звукомъ прорѣзалъ тишину ночи. Такой же, словно отвѣтный, крикъ раздался надъ самымъ ухомъ Тани, и изъ орѣховыхъ кустовъ показалась маленькая, коренастая фигура, бѣжавшая къ воротамъ.

Ошеломленная неожиданностью Таня такъ и остановилась, какъ вкопанная, на мѣстѣ.

— Алызга!—невольно вскрикнула она.

Тихій, злобный крикъ былъ ей отвѣтомъ.

Алызга замерла на минуту, готовая кинуться на свою молоденькую госпожу. Но, словно раздумавъ, въ два прыжка очутилась у воротъ и, съ силой рванувъ желѣзную скобку засова, испустила тотъ же пронзительный крикъ дикой птицы, который слышала передъ этимъ Таня.

Почти слѣдомъ за этимъ громкое: «держи, держи разбойницу!» прогремѣло въ кустахъ и двое челядинцевъ, какъ изъ-подъ земли, выросло передъ остячкой.

Что-то яркое блеснуло во мракѣ. Она взмахнула рукою и первый челядинецъ со стономъ рухнулъ на траву. Темная струя крови хлынула у него изъ груди.

— Зарѣзала! Алызга зарѣзала человѣка! Ратуйте, православные, ратуйте!—не своимъ голосомъ закричала Таня.

Алызга въ этотъ мигъ не на жизнь, на смерть боролась со вторымъ холопомъ. Она то извивалась змѣею, то визжала и царапалась, какъ кошка, стараясь нанести противнику смертельный ударъ своимъ короткимъ ножомъ.

— Алызга! Окстись! Што ты! — обезумѣвъ отъ ужаса вскричала Таня.—Алызга! Подружка моя!

При этомъ крикѣ остячка быстро обернулась. Ея глаза горѣли страшнымъ огнемъ.

— Проклятые! Проклятые! Ступайте всѣ въ халатурмъ!—изступленно взвизгнула она, подскочивъ къ своей молоденькой хозяйкѣ, и со страшной силой взмахнула блеснувшимъ снова во мракѣ ножомъ.

Инстинктивнымъ движеніемъ Таня отпрянула въ сторону. Сильныя руки схватили Алызгу и, бросивъ ее на землю, придавили къ травѣ. Въ слѣдующій мигъ руки дикарки были плотно скручены за спиной.

Къ «степнымъ» воротамъ бѣжалъ самъ Семенъ Аникіевичъ со стражниками. Глубоко потрясенная всѣмъ происшествіемъ Таня повисла на груди дяди и, рыдая и всхлипывая, разсказала ему все въ короткихъ словахъ.

— Такъ вотъ ты какая, змѣя подколодная!—грозно произнесъ, склоняясь надъ связанной Алызгой, старый хозяинъ,—прикинулась ручною, волчица, а на самомъ дѣлѣ дикимъ звѣремъ осталася... Небось, и намедни въ рощѣ югровъ ты-жъ проклятыхъ укрывала... Взять ее, ребята, да въ подвалѣ запереть... Ишь вѣдь, подлая, ворота отомкнула, улизнуть ладила... На мою голубку бѣлую съ ножомъ! Холопа ранила. У-у, змѣя, волчица!..

— Што улизнуть, Семенъ Аникичъ!.. Улизнуть-то еще было-бы съ полъ-бѣды... Гляди-кась, што замыслила бесерменка поганая: своихъ югровъ нечестивыхъ хотѣла въ острогъ впустить!—спѣшно прошепталъ на-ухо Строганову одинъ изъ холоповъ, указывая рукою въ даль, гдѣ, въ чуть растаявшемъ сумракѣ, двигалась темная толпа.

Семенъ Аникіевичъ взглянулъ и тихо ахнулъ: пока шли съ главной стороны острога приготовленія къ оборонѣ, югорцы обошли крѣпость и появились съ того края владѣній, гдѣ ихъ ожидали менѣе всего.

— Перетащить пушки!.. Воротниковъ сюды скликать!.. Запереть острогъ поладнѣе! — срывающимся голосомъ приказалъ Строгановъ.—Да увести эту подлячку!—кивнулъ онъ въ сторону Алызги, все еще безпомощно лежащей на землѣ.

Двое холоповъ грубо подняли остячку и повели въ сторону жилыхъ строеній, двое другихъ подняли раненаго и понесли его, по приказанію хозяина, въ домъ.

— Ступай и ты въ горницу, Танюша! Не слѣдъ тебѣ тута оставаться!—наскоро поцѣловавъ племянницу, произнесъ Семенъ Аникіевичъ.

— И ты... и ты ступай, дядя... Не приведи Господь, еще убьютъ тебя нехристи... Стрѣлы каленыя вѣдь у нихъ! — вся блѣдная, какъ смерть, шептала дѣвушка, прижимаясь къ крестному и съ мольбою заглядывая ему въ лицо.

— Никто какъ Богъ!.. Да ты не пужайся больно! Стѣны-то у насъ гораздъ крѣпки, а какъ выпалимъ вразъ изъ пушекъ и пищалей, такъ твоя югра, что горохъ, посыпется вспять,—попробовалъ пошутить Семенъ Аникіевичъ.

Но шутка не вышла. Боязнь за любимую крестницу, за всѣхъ своихъ вѣрныхъ слугъ, за это насиженное гнѣздо острымъ жаломъ впилась въ сердце старика.

«Охъ, не слѣдъ было отпускать охотниковъ съ Максимомъ да Никитой! Вишь, обходомъ пошли югорцы... Кто могъ знать?»—думалъ онъ и болѣзненно сжималось его сердце.

И онъ сталъ напряженно вглядываться въ степь.

Мракъ еще не разошелся вполнѣ, но по топоту ногъ, по характерному позвякиванію и по смутному гулу чувствовалось, что югра подходила все ближе и ближе къ городку. Скоро, спѣшно дѣлали приготовленія воротники въ этой части острога.

Строгановъ оглядѣлся кругомъ. Въ тѣни кустовъ

попрежнему стояла Таня. Около нея находилась нянька Анфиса, Агаша и другія дѣвушки, прибѣжавшія разыскивать свою юную хозяйку.

— Ступайте въ горницы, всѣ ступайте! — махнувъ рукою крикнулъ имъ Строгановъ.

Вся небольшая толпа женщинъ, не смѣя ослушаться хозяйскаго приказа, поспѣшила къ хоромамъ, уводя за собою громко рыдающую Таню.

— Дядя! Дядя!—вся трепеща отъ слезъ, въ горѣ и отчаяніи, шептала дѣвушка.—Пущай и онъ сюды идетъ! Пущай идетъ съ нами... Не то убьютъ его нехристи! Убьютъ! Убьютъ!..

— Полно, ласточка! Не доберутся нехристи до солнышка нашего, до Семена Аникіевича!—утѣшала свою питомицу няня.—Небось, стѣны наши крѣпкія. Не прорваться скрозь нихъ николи силѣ бесерменской...

— Да дядя-то на стѣны полѣзетъ... Стрѣлою по емъ можно достать...—рыдая неутѣшно, говорила Таня.

— Молиться надо! Молиться, дѣвонька! Всѣ молитесь, всѣ! — какимъ-то вдохновеннымъ голосомъ произнесла нянька и первая рухнула на колѣни передъ кіотомъ.

Вся толпа дѣвушекъ покорно опустилась за ней.

Полная тишина воцарилась въ горницѣ. Тихимъ, ласкающимъ свѣтомъ обливала лампада уютную дѣвичью свѣтличку и всѣ молитвенно поднятыя на образъ лица. Впереди всѣхъ, почти распластавшись на полу, лежала Таня.

— Господи! — шептала она, вся дрожа, въ томительной мукѣ. — Спаси дядю!.. Господи! Сохрани моего крестненькаго... родимаго... Господи! Владычица Небесная, Богородица, къ Тебѣ прибѣгаю! Сохрани дядю!.. Обѣтъ даю Тебѣ, пелену вышью, покровы, воздухи въ Твою, Владычица, Велико-Пермскую обитель, Царица Небесная! — заключила она, ударяя рукою въ грудь, и

вдругъ замерла въ ужасѣ. Неожиданный грохотъ, потрясшій до основанія Строгановскія хоромы, прервалъ молитву дѣвочки.

— Палятъ! Наши палятъ! — не помня себя вскричала Таня и, какъ безумная, вскочила съ колѣнъ. Вскочили за нею и всѣ остальныя.

Слѣдомъ за пушечнымъ выстрѣломъ раздался гулкій не то ревъ, не то вой. Казалось, цѣлая лавина обрушилась на острогъ. Земля задрожала отъ топота нѣсколькихъ сотъ ногъ. Дрогнули, казалось, сами стѣны острога.

— Никакъ ужъ близко?! — поблѣднѣвшими губами произнесла Анфиса Егоровна.

Блѣдныя, встревоженныя лица дѣвушекъ выражали ту же боязнь.

— Къ дядѣ, къ дядѣ! Къ крестненькому пустите! Пустите меня! — какъ безумная кричала и металась по своей свѣтлицѣ Таня.

Дѣвушки съ Анфисой Егоровной, какъ могли, удерживали ее.

За первымъ пушечнымъ ударомъ прогрохоталъ второй, за нимъ третій, четвертый.

Отъ каждаго изъ нихъ дрожали крѣпкія тесовыя хоромы и не менѣе ихъ могучія стѣны и ворота острога. Минуты тянулись убійственно долго. Казалось, ночь обернулась назадъ, не двигаясь къ разсвѣту.

Таня то металась попрежнему въ горницѣ, умоляя отпустить ее къ крестному, то снова притихала, и упавъ на колѣни, слала горячія молитвы Царицѣ Небесной.

Наконецъ, первые лучи разсвѣта долгой сѣверной ночи пробили ея негустой, но таинственный мракъ.

Затихла и пальба изъ пушекъ и пищалей, но не надолго.

Опять прогремѣлъ могучій залпъ и какъ разъ въ ту

минуту, когда находившіяся въ свѣтлицѣ дѣвушки менѣе всего ожидали этого. Новый дикій вой пронесся надъ степью, гораздо болѣе рѣзкій и страшный, нежели всѣ прежніе крики. Ужасъ сковалъ сердце бывшихъ въ свѣтличкѣ. Старая Егоровна снова тяжело рухнула на полъ передъ иконой.

— Знать, намъ смерть пришла! — прошептала трусливая, тихая Домаша.

— Глянь-ка, боярышня! Зарево инъ тамо! — послышался крикъ Агаши, не отходившей отъ окна. — Никакъ посады наши жгутъ, треклятые...

— Гдѣ? Гдѣ?—такъ и метнулась къ оконцу Таня.

И тотчасъ же, вся блѣдная, отскочила назадъ.

— И впрямь жгутъ... Скоро и до насъ доберутся...— чуть слышно прошептали ея трепещущія губы. — Татьяна Григорьевна... боярышня... глянь-кось! Отъ рѣки-то въ обходъ берутъ... Изъ сосѣдней горницы изъ окошечка видать все, какъ на ладони. Охъ, Господи! Никакъ оцѣпили острогъ...

И испуганная на-смерть Машенька появилась на порогѣ смежныхъ свѣтлицъ.

Точно по командѣ, дѣвушки кинулись въ сосѣднюю комнату, выходившую угломъ на другую сторону острога, и жадно прильнули къ оконцу.

Въ замѣтно растаявшемъ сумракѣ іюньской ночи, со стороны рѣки быстро подвигалась по направленію къ острогу огромная толпа.

— Въ обходъ и то взяли!.. Господи, помилуй! Чѣмъ прогнѣвили Тебя?—въ ужасѣ прозвенѣлъ чей-то испуганный голосъ.

— Ништо... Здѣся заметы да валъ не подпустятъ! — увѣренно прозвучалъ болѣе спокойный голосъ Агаши.

Таня съ надеждой и мольбой взглянула на божницу.

— Дай-то, Господи!—шепнула она.

А между тѣмъ толпа все подвигалась и подвига-

лась. Вотъ уже близко она... Вотъ совсѣмъ приблизилась къ первому замету... Ровно и степенно движется... Будто и не югры-дикари это, будто свои...

— Боярышня! Глянь-ка!.. Да вѣдь это наши! — крикнула во весь голосъ Агаша, приткнувшись къ оконцу.

Въ одинъ прыжокъ Таня была подлѣ нея.

— И впрямь! Евстигнеюшка съ челядью, што крестный на Каму посылалъ! Угодники Божіи! Спасены мы! Небось, народищу-то, народищу сколько съ собой ведутъ! Сотенъ съ пять будетъ... На югровъ ударятъ сейчасъ.

И вся трепеща дѣвочка прильнула къ расписной слюдѣ оконца.

Мракъ порѣдѣлъ. Свѣтлое утро вставало уже надъ Строгановскимъ городкомъ. Теперь ясно можно было различить изъ теремныхъ оконъ огромную пятисотенную толпу, правильными рядами шедшую къ острогу. Впереди всѣхъ выступалъ дворецкій Строгановыхъ, Евстигней Дмитричъ. О-бокъ съ нимъ шелъ чернобородый богатырь съ гордой осанкой, въ расшитой парчей свѣтлой чугѣ [1], съ длинной заморской саблей, привѣшенной къ поясу. Отъ всей его фигуры такъ и вѣяло мощью и удалью. Чуть отступя за нимъ шагалъ сѣдоватый молодецъ въ болѣе скромной одеждѣ.

Очевидно вновь появившіеся были поражены гуломъ и шумомъ, доносившимися изъ степи. Строгановскій городокъ съ поселками и варницами загораживалъ отъ нихъ хозяйничавшихъ съ той, задней, стороны югровъ. Но новая пушечная пальба и смятеніе на стѣнахъ острога заставили разомъ остановиться отрядъ.

Изъ теремного окошечка было хорошо видно дѣвушкамъ, какъ передовой богатырь сдѣлалъ знакъ рукою дружинѣ и, выхвативъ саблю, первый ринулся впередъ,

[1] Короткій кафтанъ.

вдоль стѣны острога. За нимъ ринулись и остальные. Только старикъ Евстигнеичъ съ холопами прошелъ по мосту, висѣвшему надъ заметами, къ воротамъ городка.

Присутствующія въ Танюшиныхъ горницахъ женщины притихли въ ожиданіи. Ихъ сердца то бились, то замирали. Напряженное ухо ловило малѣйшій звукъ.

Ждать пришлось недолго. Дикій ревъ югорцевъ и торжествующіе крики набросившейся на нихъ дружины огласили окрестности Сольвычегодской крѣпости. Половина орды бросилась назадъ, въ степь, половина осталась на мѣстѣ, изъявляя покорность.

Радостными криками отвѣчали засѣвшіе въ стѣнахъ, въ башенкахъ острога воротники и Семенъ Аникіевичъ.

— Самъ Господь послалъ тебя во-время, удалой козаче!—выходя съ образомъ и хлѣбомъ съ солью изъ воротъ острога навстрѣчу побѣдителю, произнесъ Строгановъ и истово троекратно поцѣловался съ вожакомъ отряда.—Кабы опоздалъ малость, нагрянули-бы дьяволы и на самый острогъ... Недаромъ запалила посады окаянная нечисть!—заключилъ онъ печально, глядя на алое зарево, поднимавшееся къ небу отъ поселка.

— Ладно, потушимъ! Туши, братцы, пожаръ! — обратился Ермакъ Тимофеичъ къ своимъ молодцамъ, — хозяинъ—купецъ именитый, спасибо скажетъ!

И большая часть его дружины кинулась къ поселку, уже сильно занявшемуся огнемъ.

— Милости просимъ, гостюшка дорогой!

И съ низкимъ поклономъ Семенъ Аникіевичъ ввелъ давно желаннаго пришлеца въ ворота острога.

— А васъ, молодцы, прошу на ближайшее село прослѣдовать... Тамъ вамъ и избы, и снѣдь—все готово въ ближнемъ селеніи. Который день ждемъ васъ, дорогихъ гостей!—окинувъ взоромъ оставшуюся толпу казаковъ, попросилъ онъ съ новымъ поклономъ.

— Веди, Ивановичъ, робятъ въ село, а апосля

вертай въ хоромы къ господину купцу, — обратился Ермакъ къ есаулу и снова съ поклономъ, исполненнымъ почти царственнаго достоинства, сказалъ Строганову:— ужъ не погнѣвись, батюшка Семенъ Аникичъ, это рука моя правая. Съ имъ, съ есауломъ моимъ, мы не разлучаемся никогда. Ужъ коли меня чествовать мыслишь, то съ нимъ заодно почествуй, именитый купецъ.

— Будь благонадеженъ, Василій Тимофеичъ, — не обижу ни есаула, ни другихъ помощниковъ твоихъ... Не побрезгуй на гостепріимствѣ нашемъ, Иванъ Иванович!—такъ-же низко кланяясь, обратился Строгановъ къ Кольцу.

Не изъ страха передъ удалыми волжскими разбойниками, не изъ желанія подслужиться имъ съ такимъ почтеніемъ отнесся Сольвычегодскій владѣлецъ къ удалой разбойничьей дружинѣ: искренно, радостно обнимался съ гостями старикъ Строгановъ. Однимъ своимъ появленіемъ они обратили въ бѣгство орды кочевниковъ и впредь будутъ ограждать отъ набѣговъ ввѣрившихся подъ его, Строгановское, крылышко поселенцевъ.

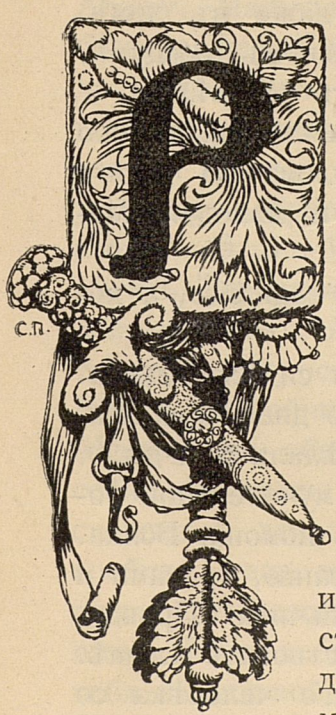
И это несказанно радовало именитаго купца.

Ночь между тѣмъ растаяла совсѣмъ. Огненный дискъ восходящаго солнца окрасилъ пурпуромъ степь. Зарево пожара поблѣднѣло. Удалые Ермаковскіе молодцы затушили огонь и теперь, при блескѣ возродившагося дня, устраивались въ своихъ новыхъ жилищахъ. Какъ разъ къ этому времени подоспѣлъ и вернувшійся отрядъ охотниковъ съ Максимомъ и Никитой во главѣ.

Отлегло отъ сердца Строганова. Теперь онъ былъ внѣ опасности со всѣми своими поселенцами и съ дорогой семьею, подъ мощной защитой славныхъ волжскихъ казаковъ.

ГЛАВА XI.

Новые знакомые. — Прятки. — Роковое открытіе.



ПАЗДОЛЬНОЕ, веселое пированіе шло въ стольной палатѣ просторныхъ Строгановскихъ хоромъ. Вдоль столовъ, покрытыхъ камчатными скатертями, съ золотыми гривками по краямъ, на длинныхъ, широкихъ скамьяхъ, обитыхъ богато расшитыми полавошниками, сидѣли гости. Столы гнулись отъ обилія наставленныхъ на нихъ блюдъ, подъ тяжестью ковшей съ брагою и медомъ.

Чего-чего только не было тутъ! И рыбныя блюда, нѣжная, розоватая омуль [1], и язь, приправленная перцемъ и пряностями, и всякая дичина, начиная съ фазановъ и кончая мелкими рябчиками да лѣсными пѣтухами, пироги съ саго и мясомъ и курники, начиненные шпигомъ, аладушки, лапша, жареная баранина съ кашей, гуси, свинина.

[1] Сибирская рыба.

Челядь только и знала, что убирала смѣну за смѣной, подавая безъ конца кушанья и яства.

Не меньшимъ количествомъ сортовъ отличались и вина. Тутъ были меда сыченые, малиновые, инбирные и другіе, брага и олуй [1], и фряжское, заморское питье, романея, мальвазія и рейнскія вина, такъ и искрившіяся въ серебряныхъ стопкахъ и ковшахъ. Этими заморскими питьями были до верху полны Строгановскіе погреба.

Гости отдавали должную дань и винамъ, и снѣди.

Пировали въ четырехъ горницахъ. Василій Тимофеичъ со всей своей дружиной былъ приглашенъ отпраздновать свой приходъ въ Строгановскія владѣнія. Не всѣ приглашенные размѣстились даже въ домѣ. Пришлось понаставить столы на вольномъ воздухѣ, что-бы умѣстить всѣхъ пятьсотъ сорокъ человѣкъ.

Въ стольной палатѣ самого хозяина сидѣли только самые почетные гости: атаманъ съ есауломъ да Яковъ Михалычъ или Волкъ, Никита Панъ и молодой Мещерякъ.

Самъ хозяинъ съ племянниками не садились, а ходили вокругъ столовъ, угощая гостей.

Подлѣ своего новаго друга Матвѣя сидѣлъ Алеша. Долгое рѣчное путешествіе и нѣсколько дней пребыванія на вольномъ Пермскомъ воздухѣ сдѣлали свое дѣло: юный князекъ выздоровѣлъ отъ своей мучительной болѣзни. Не обошлось здѣсь дѣло и безъ помощи Волка. Старый разбойникъ, знахарь по призванію, травами и наговорами окончательно излечилъ мальчика. Правда, нѣкоторая слабость давала еще себя чувствовать Алешѣ. Къ тому-же близкое сосѣдство страшнаго человѣка со шрамомъ на щекѣ, убійцы любимаго дядьки, наводило на тяжелыя, мрачныя мысли юнаго княжича. Всякій разъ, что Никита Панъ, раскраснѣвшійся отъ фряжскаго вина,

[1] Пиво.

взглядывалъ на него, дрожь ненависти и злобы охватывала все юное существо Алеши.

Были тутъ и двое другихъ людей, которые рождали совершенно противоположныя чувства въ душѣ юнаго князька. То былъ Мещерякъ, къ которому успѣлъ привязаться за короткое время мальчикъ, и тотъ, другой, могучій орелъ Поволжья, сказочный богатырь, о которомъ онъ слышалъ не разъ, еще въ Москвѣ и который, съ добрый десятокъ разъ, по крайней мѣрѣ, ускользалъ отъ висѣлицы царской. Этотъ ославленный всѣми душегубъ-разбойникъ, этотъ приговоренный къ плахѣ Ермакъ, страннымъ, непонятнымъ образомъ, словно зачаровывалъ Алешу. Мальчикъ дивился его силѣ, его удали, его безстрашію и почти отеческому отношенію къ своей дружинѣ. Самъ того не замѣчая, юный князекъ восхищался Ермакомъ. Онъ невольно подолгу ловилъ искрометный взглядъ атамана, и дорого-бы далъ Алеша, чтобы услышать обращенное къ нему хоть одно атаманское слово. «Этотъ-бы не убилъ дядьку! Не велѣлъ-бы повѣсить Терентьича моего!» не разъ приходило въ голову мальчику. А тутъ еще Мещерякъ со своими рѣчами толкуетъ ему постоянно: «Нешто нашъ батька—душегубъ? Нешто разбойникъ отецъ-атаманъ? Да онъ ни одного бѣдняка не обидѣлъ за всю жизнь свою; еще отъ себя, изъ казны своей не разъ отдавалъ бѣглымъ Московскимъ людишкамъ... А што бояръ да гостей онъ грабилъ, такъ вѣдь не ихнее добро, а съ бѣдныхъ людишекъ побранное, трудомъ холопей-вотчинниковъ. Вотъ што... Вѣдь кабы случился онъ о ту пору, какъ поймали тебя съ дядькой молодцы, нешто-бы онъ...»—и не договаривая до конца при видѣ затуманившагося личика князя, махалъ только рукою Мещерякъ.

И невольно тянуло все больше и больше къ лихому вождю-атаману князька Алешу. Къ тому-же не разъ примѣчалъ мальчикъ, какъ часто кручиной подергива-

лось красивое лицо Ермака, какъ дымкой печали затуманивались его ястребиныя очи.

— Видно и у него горе-злосчастье на душѣ есть, видно и его гнететъ што-то!—рѣшалъ мальчикъ, участливымъ взглядомъ лаская Ермака.

Сегодня, однако, на Строгановскомъ пиру веселъ атаманъ. Сбросилъ алый кафтанъ съ могучихъ плечъ и, оставшись въ одной, шитой шемаханскими шелками съ жемчужными запонами, бѣлоснѣжной сорочкѣ, прихлебывая изъ серебряной чарки вино, слушаетъ, что говоритъ ему хозяинъ.

— Ты мнѣ перво-на-перво отъ насъ мурзу Бегбелія отвадь... Онъ со своими вогуличами да остяками покоя не даетъ моимъ поселкамъ... А опосля на татарскіе улусы [1] не худо бы пойти, новымъ ясакомъ обложить нечисть!—говоритъ раскраснѣвшійся отъ усерднаго потчиванія гостей Семенъ Аникіевичъ.

— Ладно, хозяинъ, и улусы къ ясаку приведемъ, да и самого Бегбелія на арканѣ тебѣ притащимъ... Небось, хитрости тутъ нѣтъ никакой. Видалъ, небось, какъ отъ насъ югра лататы задавала... И съ Бегбелкой ихнимъ тожъ справимся!—засмѣялся Ермакъ.

— И то, правда твоя, Василь Тимофеичъ,—согласился Строгановъ. — Молодцы вы што и говорить. По гробъ жизни буду тебя благодарить съ твоей ратью... Небось, и на самого Кучумку не побоятся пойти они...

— И на Кучумку пойдутъ, дай срокъ, пущай тольки покажется къ намъ сюда ханъ Казацкій (кайсацкій), царевичъ Махметъ-Кулъ, штоли, — мы его разуважимъ. Вѣрно-ль говорю я? — блеснувъ взорами произнесъ Ермакъ.

— Вѣрно! Вѣрно! Правда твоя, атаманъ-батька! — отозвались голоса сидѣвшихъ за столомъ есауловъ.

---

[1] Деревни.

— Вѣрно!—помимо воли вырвалось звонкимъ теноромъ и изъ груди Алеши.

Этотъ звонкій дѣтскій голосъ заставилъ обернуться Ермака въ сторону мальчика.

Быстрымъ ястребинымъ взоромъ окинулъ атаманъ Алешу.

Въ своемъ голубомъ, шитомъ золотомъ кафтанѣ, подаркѣ Мещеряка, юный князекъ былъ чудо хорошъ собой. Его синіе глаза такъ и искрились, восхищеннымъ взоромъ впиваясь въ лицо атамана. Острый взглядъ послѣдняго въ свою очередь такъ и вонзился въ него. Казалось, этотъ взглядъ проникъ въ самую душу Алеши. А онъ, словно зачарованный, не сводилъ глазъ съ Ермака.

Пытливые глаза казачьяго батьки-атамана вдругъ неожиданно смягчились, засіяли лаской.

— Подростаетъ соколенокъ... Крылья никакъ чуетъ... Слышь, Мещеря, отдай мнѣ парнишку твоего... Я его лихимъ казакомъ сдѣлаю. Хошь ко мнѣ, князенька, а?—ласково кинулъ Алешѣ Ермакъ.

Что-то, словно птица, затрепетало въ груди мальчика. Какая-то жгучая радость послѣ столькихъ печалей и мукъ вошла ему въ сердце. Еще неудержимѣе потянуло его къ этому мощному человѣку, распоряжавшемуся столькими жизнями людей.

— Хочу! — хотѣлось безъ удержу крикнуть въ голосъ Алешѣ. Онъ уже открылъ было ротъ и... неожиданно встрѣтилъ на себѣ затуманенныя очи Мещеряка.

— А какъ-же я, князенька? Аль меня кинешь?— тихо шепнули губы Матвѣя.

— Не кину! Въ жизнь не кину тебя! Ты мнѣ ровно братецъ любимый!—тихо, но горячо и пылко вырвалось изъ груди мальчика. — А только... только вотъ што, Матюша,—зашепталъ онъ, тутъ-же ближе придвигаясь къ

своему другу.—Что, ежели попросить намъ атамана къ себѣ обоихъ насъ взять?—весь вспыхнувъ, какъ маковъ цвѣтъ, заключилъ княжичъ Алеша.

— Ладно, князекъ! Возьму къ себѣ обоихъ! Оба у меня въ родѣ какъ-бы оружничьими будете... Согласны? Што-ль?—ласково обдавая своимъ искрометнымъ взоромъ Мещеряка и Алешу, спросилъ Ермакъ.

— Согласны! Вѣстимо, согласны!—отвѣчалъ за обоихъ Матвѣй, въ то время, какъ юный князекъ только сверкнулъ радостно заблестѣвшими глазенками.

— Слушай, паря, — уже серьезно проговорилъ Ермакъ, снова обратившись къ Алешѣ,—тебѣ на пиру съ нами молодцами бражничать какъ быдто не пристало. Младъ ты годами для того, и отъ медовъ сыченыхъ, не токмо што отъ фряжскихъ винъ, голова у тебя кругомъ пойдетъ. Видалъ я въ оконце, какъ на лужайкѣ дѣвки красныя молодую хозяйку веселятъ. Може дозволитъ тебѣ Семенъ Аникичъ въ горѣлки съ ими побѣгать да хороводы поводить? А? Дозволишь што-ль, хозяинъ-свѣтушка? — обратившись къ Строганову, попросилъ Ермакъ.

— Пущай идетъ. Ему, дитяти, куды веселѣе побѣгать, нежели съ нами въ душной горницѣ пировать, — ласково произнесъ тотъ, погладивъ кудрявую голову Алеши.—Ступай, паренекъ, ступай, синеокій! — отпустилъ онъ мальчика,—ступай порѣзвиться въ садъ!

Тотъ степенно поднялся изъ-за стола и быстрыми шагами вышелъ изъ горницы.

— Славный паренекъ!.. Очи што звѣзды! Взоръ чистый, правдивый... Дорого-бы я далъ, штобъ рану его сердешную залечить... Дорого-бы далъ, штобы не случилось того, отчего осиротѣлъ въ конецъ мальчонокъ этотъ,—задумчиво произнесъ Ермакъ, глядя въ слѣдъ Алешѣ, пока статная, красивая фигурка мальчика не скрылась за дверью.—Не терплю я боярскаго отродья,

ни высокихъ баръ, а этотъ князекъ-сиротинка, помимо воли, такъ въ душу и лѣзетъ со своимъ яснымъ лицомъ пригожимъ да съ очами синими, смѣлыми, — добавилъ онъ тихо и тотчасъ-же, обратившись ко всѣмъ пирующимъ, весело крикнулъ: — А ну-ка, ребятушки, споемъ молодецкую! Потѣшимъ хозяевъ тароватыхъ за угощеніе обильное! Нашу любимую споемъ, молодцы. Мещеря у насъ запѣвалой по обычности будетъ... Зачинай соловьемъ, друже, а мы подхватимъ тебѣ.

Услыша послѣднія слова атамана выпрямился Матвѣй, тряхнулъ кудрями, молодецки расправилъ грудь и, обведя кругъ пирующихъ загорѣвшимся взоромъ, началъ низкимъ и сильнымъ баритономъ всѣмъ пирующимъ хорошо знакомую пѣсню:

Атаманъ говорилъ донскимъ казакамъ,
По имени Ермакъ Тимофеевичъ:
А вы, гой еси, братцы, атаманы казачіе,
Не корыстна у насъ шутка зашучена
И какъ намъ за то будетъ отвѣтствовать?
Въ Астрахани—жить нельзя,
На Волгѣ жить—ворами слыть,
На Яикъ идти—переходъ великъ,
Въ Казань идти—Грозенъ царь стоитъ,
Грозный царь, государь Иванъ Васильевичъ;
Въ Москву идти—перехватаннымъ быть,
По разнымъ городамъ разосланнымъ,
По темнымъ тюрьмамъ разсаженнымъ,
Пойдемте мы въ жилья къ Строгановымъ,
Къ тому Семену свѣту Аникіевичу...

Хорошо запѣвалъ Мещеря, хорошо пѣли казаки, подхватившіе изъ сосѣднихъ горницъ знакомый припѣвъ.

Въ тактъ пѣсни звенѣли серебряныя чарки и кубки, наполненные искрометнымъ виномъ.

Строгановы, дядя и племянники, низко кланялись, благодаря за пѣсню. Пиръ съ каждой минутой дѣлался все шумнѣй и шумнѣй...

. . . . . .

— Ишь, распѣлись!.. Гляди, до утра протянется пирное столованье! Я ужъ дважды туда сбѣгала. Изъ оконца хорошо видать-то и всѣхъ разбойниковъ, и

атамана ихняго...—такъ говорила веселая Агаша, попрыгунья и затѣйница, разсказывая сгруппировавшимся вокругъ качелей дѣвушкамъ какъ хорошо разглядѣла она пировавшую вольницу.

— А у самого-то, у атамана, значитъ, — захлебываясь и воодушевляясь говорила шалунья,—глаза, што твои уголья, такъ пламя и мечутъ, такъ и мечутъ...

— Ой, страшно, дѣвоньки! Небось, не единажды руку въ человѣческой крови омылъ!—трусливо сжимаясь прошептала Домаша.

— Тссс! Нишкни, глупая! — прикрикнула на нее Танюша, — нешто можно о томъ говорить! Коли услышитъ дядя—бѣда! Глядитка, съ честью какою крестненькій его принимаетъ!... Ровно боярина-князя, ни дать, ни взять царскаго посла.

— А все-жъ крови на емъ много! — замѣтила Машенька, и глаза ея пугливо покосились въ сторону хоромъ, откуда неслись пѣсни и крики.

— Крови? А на комъ ее нѣтъ? — запальчиво подхватила Таня.—Вона на Москвѣ, баютъ, рѣкой льется она... И не отъ руки разбойничьей, а отъ царевой, прости, Господи, руки. Баютъ люди, все болѣ да болѣ невинной тамъ крови льется! А онъ, атаманъ этотъ, зря не зарѣзалъ еще никого... Баютъ люди, на богачей, бояръ да воеводъ налетятъ они, бывало, всей ватагой и откупа спросятъ: коли откупятся данью, значитъ проѣзжай далѣ, а нѣтъ, — не погнѣвись. Мнѣ дядя сказывалъ!—оживленно заключила свою рѣчь дѣвушка.

— А все же разбойникъ онъ!—не согласилась Машенька.

— Экъ, заладила сорока одно: разбойникъ да разбойникъ... Небось, кабы не разбойникъ этотъ, быть бы намъ въ полону у нехристей! — блестя глазами горячо воскликнула юная хозяйка.

— Вѣрно твое слово, боярышня! Быть бы всѣмъ

вамъ въ югорскомъ плѣну!—послышался чей-то звонкій голосъ изъ-за куста орѣшника, и стройная фигура Алеши Оболенскаго выскочила на садовую лужайку, посреди которой пріютилась огромная качель.

— Ай! чужой!—не своимъ голосомъ взвизгнули дѣвушки и стаей испуганныхъ птицъ кинулись вразсыпную.

Только двѣ изъ нихъ остались стоять на мѣстѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. То были голубоглазая хозяйка Сольвычегодска и черненькая Агаша, ея ближняя сѣнная дѣвушка.

— Стойте, куды вы, глупыя! Паренька инъ за волка приняли! — насмѣшливо послала послѣдняя имъ вдогонку.—Ишь, страшилище нашли!—хохотала она,—неча сказать! Ужъ волкъ-то больно пригожій да ладный вышелъ,—острила дѣвушка.

Дѣйствительно, въ нарядномъ красивомъ мальчикѣ не было ничего страшнаго. Напротивъ, позлащенный прощальными лучами заходящаго солнца, въ своемъ голубомъ, затканномъ дорогимъ шитьемъ кафтанѣ, онъ красиво выдѣлялся на общемъ фонѣ зелени садовыхъ чащъ. Быстрыми шагами приблизился онъ къ Танѣ и, взявъ ее за руку, произнесъ ласково и тепло:

— Спасибо тебѣ, боярышня, на добромъ словѣ да на заступѣ твоей.

— Не боярышня я, а дочь купецкая, — смущенно проговорила дѣвушка. — Татьяной меня звать, а то и Таней... А ты тотъ молодчикъ-князекъ, коего вольница у себя въ стану пріютила?—уже бойко спрашивала его Танюша.

— Онъ самый и есть. Алексѣемъ меня зовутъ. А за атамана въ другорядъ тебѣ спасибо. Не душегубъ онъ, не разбойникъ, а богатырь, казакъ вольный, вотъ онъ кто,—горячо произнесъ Алеша.

— Не разбойникъ? Анъ, тебя же ограбилъ, съ подъесаулами своими дядьку твоего порѣшили, вонъ

челядь што про его сказывала, про атамана твоего! — необдуманно и рѣзко сорвалось съ устъ Агаши.

Въ слѣдующую же минуту дѣвушка раскаялась въ своихъ словахъ. Бѣлѣе снѣга стало лицо княжича. Глаза потемнѣли, губы дрогнули.

— Не атаманъ то, а Никита Панъ разбойникъ,— глухо проронилъ Алеша.—А атамана да Мещеряка Матюшу ты не тронь, слышь, не тронь!—произнесъ онъ, сдвинувъ свои черныя брови.

— Ишь, подумаешь, Бовы какіе королевичи, што и тронуть ихъ не моги! — разсмѣялась Агаша и вдругъ притихла, взглянувъ случайно въ лицо своего собесѣдника. Такъ печально, такъ грустно было это пригожее лицо, что жалость невольно защипнула за сердце бойкую дѣвушку.

— Прости, княжичъ, на словѣ вольномъ. Самъ вѣдаешь, слово не воробей—вылетитъ, не поймаешь. Прости, што о мертвомъ помянула, и не серчай, — робко произнесла она.

— А вы, дѣвоньки, чего притихли разомъ и ты, Татьяна Григорьевна, тожъ!—разомъ оживляясь и входя въ свой обычно веселый тонъ звонко подхватила Агаша.— Давайте, што-ль, гостеньку дорогого веселить. Въ прятки поиграемъ, што-ли? Ишь, садъ-то у насъ какъ разросся. Благодать! Хорониться есть гдѣ! Мѣста много!

— Вотъ што ладно, то ладно! — обрадовалась Танюша, — потѣшимъ князиньку. Онъ запечалился што то, — съ ласковымъ сочувствіемъ произнесла она, не спуская съ лица Алеши своего голубого взора.

Милый голосокъ, прелестное, свѣжее личико и ясные, голубые глазки дѣвушки разомъ расположили въ свою пользу сироту-князька.

«Какая добрая она! Все одно што Матюша!» — вихремъ пронеслось въ его мысляхъ и, поборовъ налетѣвшую на него снова смертельную тоску по дядькѣ,

онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и почти спокойно произнесъ:

— Въ прятки — такъ въ прятки! Во што хотите играть стану.

— А я искать буду!—тотчасъ-же вызвалась бойкая Агаша.—Ну, дѣвоньки, вразсыпную! Разъ! Два! Три!

Не успѣла закончить своей фразы дѣвушка, какъ вся толпа, съ визгомъ и хохотомъ, кинулась прятаться за деревья и кусты.

Кинулся прятаться за другими и Алеша. Быстрый и ловкій мальчикъ оказался проворнѣе всѣхъ. Пока дѣвушки успѣли схорониться въ кустахъ, онъ добѣжалъ до небольшого зданія, притаившагося въ глуши сада, тѣсно оцѣпленнаго боярышникомъ и цѣпкимъ колючимъ шиповникомъ. Оно находилось совсѣмъ въ сторонѣ отъ прочихъ жилыхъ строеній и отъ садовой площадки, гдѣ играла молодежь, и примыкало къ стѣнѣ острога одной своей стороной. Тутъ же, подлѣ зданія, была прорублена крошечная калитка, почти не замѣтная для глаза. Изъ нея прямо шелъ входъ въ рощицу, отдѣлявшую съ этой стороны острогъ отъ прилегавшей къ нему степи. Здѣсь было тихо и уютно. Заходящее солнце ударяло въ маленькія окна домика и всевозможными цвѣтами радуги пестрило оконную слюду. Какая-то красногрудая пташка, усѣвшись на вѣткѣ, тихо чирикала, склонивъ на-бокъ головку, и съ довѣріемъ поглядывала на забѣжавшаго въ ея царство мальчика.

Это царство, какъ нельзя болѣе, пришлось по душѣ Алешѣ. Дикій, запущенный уголокъ почему-то напомнилъ ему крохотный дворикъ въ Московскомъ домишкѣ, гдѣ около восьми лѣтъ къ ряду укрывалъ его отъ опричины покойный Терентьичъ. Такъ же было и тамъ зелено и глухо, такъ же чирикали пташки, такъ же заходящее солнце румянило деревья и кусты. Только на душѣ Алеши было далеко не такъ. Хоть и осиротѣвшій

тогда послѣ смерти дѣда, мальчикъ чувствовалъ подлѣ себя заботливо любящаго дядьку-пѣстуна. А теперь?!..

Покойный Терентьичъ, какъ живой, всталъ передъ глазами Алеши. Мучительной тоскою сжалось сердце несчастнаго, одинокаго полуюноши, полуребенка.

— Князенька, гдѣ ты? — откуда-то издалека глухо донеслось до его ушей.

Онъ не отвѣтилъ. Его уже не тянуло къ игрѣ и развлеченью. Даже голубоглазая дѣвушка, показавшаяся ему въ первую же минуту такой милой и родной, не привлекала къ себѣ.

— Князенька, гдѣ ты? — опять раздался тоненькій голосокъ.

Онъ не откликнулся ни единымъ звукомъ.

Молодые, звонкіе дѣвичьи голоса постепенно затихали въ отдаленіи. Наконецъ, наступила полная тишина. Только издалека, со стороны главныхъ хоромъ, доносились обрывки смѣха и пѣсенъ пирующихъ. Замѣтно потемнѣло въ саду. Сумерки надвинулись, кусты стали принимать понемногу прихотливо-фантастическія очертанія. Надъ головой Алеши выплылъ мѣсяцъ. Голубоватымъ, причудливымъ свѣтомъ залилъ онъ траву и кусты и самый домикъ въ углу, получившій какой-то волшебный, таинственный видъ. Еще печальнѣе стало на душѣ Алеши. Если днемъ онъ забывался немного отъ своего горя, то ночью ему становилось вдвое тяжелѣй. Какъ живой стоялъ въ такіе часы въ его воображеніи Терентьичъ съ петлей на шеѣ, изсиня блѣдный, со скорбнымъ старческимъ лицомъ.

Вотъ онъ и сейчасъ стоитъ передъ нимъ снова... Глаза полны жуткаго ужаса, лицо полно тоски... Дрожащія, слабыя руки протянуты къ нему, Алешѣ...

Мальчикъ не выдержалъ больше и съ тихимъ стономъ упалъ на траву.

Неожиданный отвѣтный стонъ послышался гдѣ-то

близко, близко, почти рядомъ съ нимъ. Онъ вздрогнулъ, прислушался, насторожился. Тихо, тихо кругомъ. Только глухо звучатъ голоса со стороны хорѣмъ. Ничего нѣтъ. Не слышно ничего, кромѣ нихъ. Вдругъ новый стонъ еще внятнѣе и опредѣленнѣе прозвучалъ надъ его ухомъ.

Въ одну секунду Алеша былъ на ногахъ. Теперь онъ слышалъ ясно. Стонъ выходилъ изъ крошечнаго оконца домика. Мальчикъ кинулся къ окну и, стараясь разсмотрѣть внутренность избушки, прильнулъ было къ холодной слюдѣ и разомъ отпрянулъ назадъ, вскрикнувъ отъ неожиданности.

Съ внутренней стороны домика появилось чье-то широкое лицо, все облитое серебрянымъ свѣтомъ мѣсяца, тускло бѣлѣвшее черезъ слюду. Что-то неживое и странное было въ этомъ скуластомъ и плоскомъ лицѣ. Темные глаза крошечными точками мерцали сквозь слюду оконца.

— Господи! Да што-жъ это? Аль попритчилось мнѣ?—произнесъ мальчикъ, невольно поддаваясь охватившему его впечатлѣнію суевѣрнаго ужаса.

Но, очевидно, за слюдовымъ оконцемъ, въ которое едва могла пролѣзть дѣтская голова, находился живой человѣкъ, нуждающійся въ помощи его, Алеши.

Сердобольный и отзывчивый по природѣ, онъ готовъ былъ помочь каждому страдающему существу. Руководимый этимъ побужденіемъ юный князекъ снова приблизился къ оконцу.

— Кто ты? Что съ тобою? Почему ты стонешь?—громко спросилъ онъ странное, широколицее существо.

Изъ-за тусклой слюды послышался глухой, на ломанномъ русскомъ языкѣ, отвѣтъ:

— Самъ свѣтлый Тохтенъ-Тонгъ [1] посылаетъ тебя

[1] Крылатый богъ или богатырь, отличающійся мудростью.

мнѣ на момощь... Кто ты, юноша, не знаю я, но видно пришелъ усладить мои послѣднія мгновенія...

— Ты развѣ умираешь?... Кто ты?.. Открой оконце, чтобы я могъ видѣть тебя,—не безъ волненія произнесъ Алеша.

— Я не могу сдѣлать этого... Мои руки закованы... ноги тоже... Если хочешь видѣть меня,—отомкни запоръ... дверь не на замкѣ... и войди ко мнѣ!—снова глухо прозвучалъ таинственный голосъ.

Алеша стрѣлой метнулся къ крошечному рундуку [1], приходившемуся почти въ уровень съ землею, и, отодвинувъ не безъ усилія тяжелый запоръ съ низенькой двери, наклонивъ голову, вошелъ въ избу. При млечномъ сіяніи мѣсяца онъ хорошо увидѣлъ небольшую, коренастую фигурку въ одеждѣ изъ оленьей шкуры съ бисерными и металлическими украшеніями, ярко поблескивавшими при свѣтѣ луны.

Фигурка сдѣлала движеніе навстрѣчу Алешѣ, при чемъ цѣпи на ногахъ ея жалобно зазвенѣли.

— Кто ты и отколи? Пошто ты заперта здѣсь? Кто заковалъ тебя?—произнесъ мальчикъ.

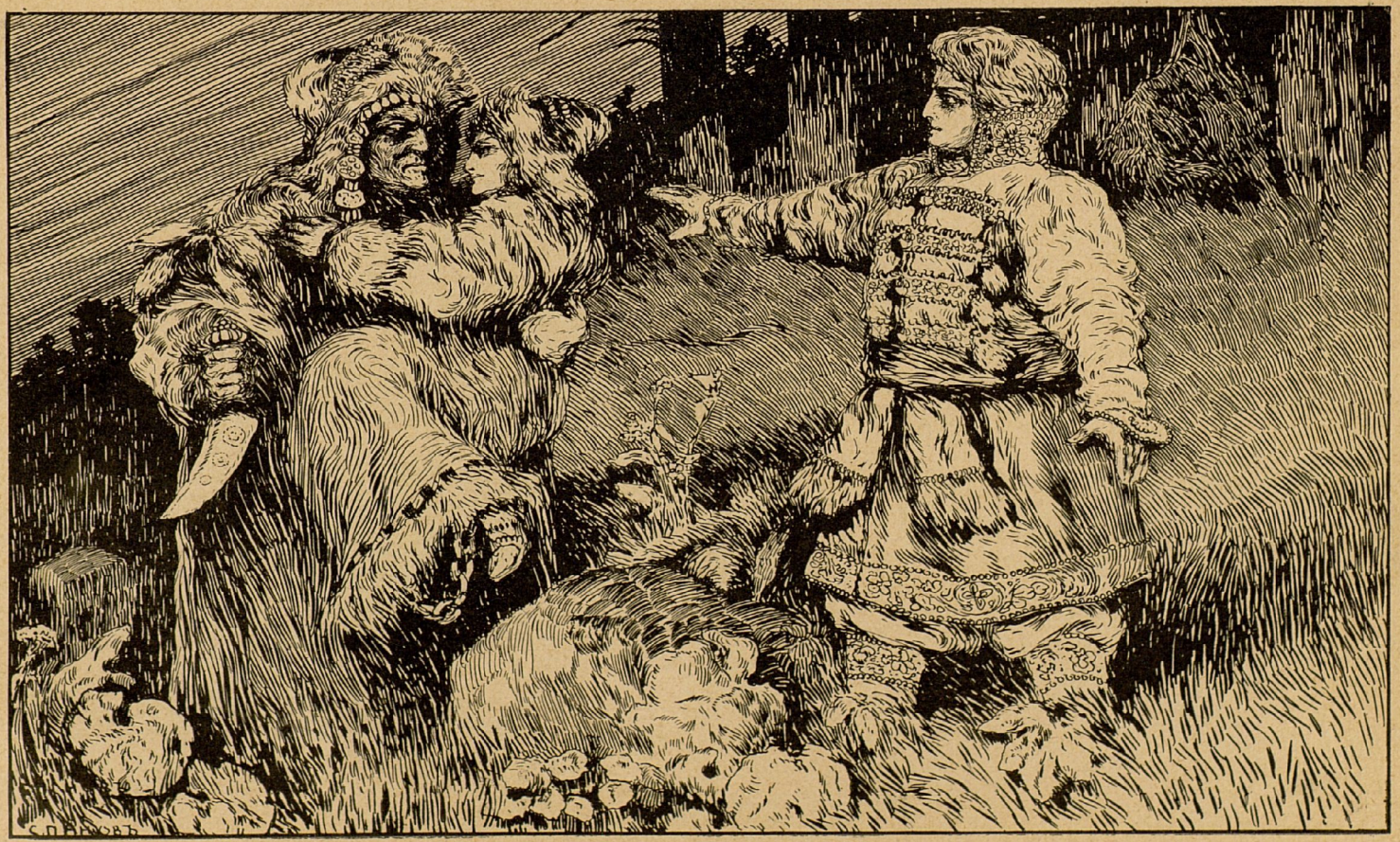
— О, я наказана по своей винѣ, юноша!—произнесло странное существо. — Я рабыня, полонянка здѣшняго господина моего... Я не угодила ему и меня заковали... Ненадолго, правда... Завтра взойдетъ солнце и съ меня снимутъ оковы... Но я нынче такъ страдаю, такъ, что не дожить мнѣ, Алызгѣ, до утра, до восхода солнца,—упавшимъ голосомъ заключила она.

— Алызга? Тебя зовутъ Алызга? Да? — спросилъ Алеша.—Кто-же ты такая и почему тебя здѣсь запрятали?

На этотъ вопросъ Алызга отвѣчала только стономъ.

---

[1] Крыльцо.



Имзега выхватилъ изъ-за пояса ножъ...

— Ты больна?—участливо спросилъ Алеша.

— Я помираю, молодой господинъ.

Голосъ Алызги звучалъ искренно. Она не лгала, она дѣйствительно почти что умирала отъ охватившей ее душевной муки. Завтра съ нея должны были снять цѣпи, но съ тѣмъ, чтобы еще крѣпче приковать ее здѣсь другимъ способомъ. Завтра ее выведутъ отсюда и заставятъ поклясться вторично надъ лапой убитаго медвѣдя, чтобы она и не думала о бѣгствѣ. А потомъ окрестятъ ее и отошлютъ въ даръ Московской царицѣ вмѣстѣ съ разными мѣхами и штуками парчи. И тогда прости на-вѣки, родная страна, отецъ, братъ и царевна Ханджаръ, ея любимая ханша.

— Я должна умереть, молодой господинъ! — еще глуше простонала дикарка.

— Да нешто не смогу я пособить тебѣ чѣмъ? — жалостно, горячо произнесъ Алеша, охваченный еще бо́льшимъ состраданіемъ къ необычайному существу, какого ему еще никогда не доводилось видѣть въ его жизни.

Алызга такъ и впилась въ его лицо глазами. Участливый тонъ, доброе, юное лицо навели ее на быструю, счастливую мысль. Она вспыхнула даже и залилась румянцемъ, котораго не видно было при свѣтѣ луны. Быстро овладѣвъ собою она проговорила:

— Ты не сможешь спасти меня, красавецъ... Нѣтъ... Но успокоить мою душу передъ тѣмъ, какъ сойдетъ она въ далекій хала-турмъ, ты сможешь, юноша... И великіе духи помогутъ тебѣ... Нашъ кочевой народъ привыкъ молиться вольно, на свободѣ, въ священныхъ рощахъ [1], наполненныхъ свѣтлыми духами лѣсовъ—менгами. И если-бы Алызгѣ удалось помолиться сейчасъ, молодой господинъ, то... Алызга умерла-бы съ радостью,

[1] Остяки обоготворяютъ природу; у нихъ есть священныя рощи и дубравы, гдѣ, по ихъ вѣрованію, присутствуютъ божества. Тамъ они молятся.

благословляя имя добраго юноши,—тихо, чуть слышно, пролепетала она.

— Ты хочешь, чтобы я ослобонилъ тебя? — неувѣренно спросилъ Алеша.

— Какая свобода! Алызга не думаетъ о ней! — горько усмѣхнулась молодая остячка.—Алызга все-равно умретъ на зарѣ... Ей не надо больше свободы. Алызга въ цѣпяхъ. Развѣ можно быть свободной съ цѣпями на ногахъ и на рукахъ, молодой господинъ?

— Твоя правда, — произнесъ задумчиво Алеша, которому становилось все болѣе и болѣе жаль несчастную плѣнницу.

Онъ не могъ узнать за свое короткое пребываніе здѣсь о добротѣ и отношеніи къ холопамъ Сольвычегодскихъ владѣльцевъ и въ душѣ негодовалъ на Семена Аникіевича, рѣшившагося заковать въ цѣпи эту, казалось, ни въ чемъ неповинную дикарку. Подумавъ немного, онъ положилъ руку на плечо Алызгѣ и тихо спросилъ:

— Коли ты посулишь мнѣ не убѣжать отседа, я сведу тебя помолиться... А только путей здѣшнихъ не вѣдаю я...

— Путь укажу тебѣ я, господинъ мой, — съ плохо скрываемой радостью проговорила та.

— Въ такомъ разѣ ступай за мною, — твердо прозвучалъ въ тишинѣ его звонкій, молодой голосъ.

Слабо передвигая закованныя ноги Алызга медленно двинулась, позвякивая своими цѣпями. Эти цѣпи Семенъ Аникіевичъ приказалъ надѣть на нее изъ опасенія возможности побѣга дикарки. Для именитыхъ владѣльцевъ Сольвычегодска побѣгъ Алызги представлялся опаснымъ. Убѣжавъ Алызга привела-бы сюда несмѣтныя орды своихъ одноплеменниковъ, селившихся по Бѣлой рѣкѣ, въ глуби Сибири. Она указала-бы завѣдомо извѣстныя ей слабо защищенныя мѣста поселенцевъ и тогда, кто

знаетъ, они-бы могли принести не мало зла поселкамъ и городкамъ. Вотъ почему Строгановъ и рѣшилъ отправить свою плѣнницу въ Москву, въ даръ царицѣ вмѣстѣ съ другими цѣнными подарками: мѣхами куницъ и соболей, о чемъ Алызга и успѣла уже провѣдать.

Мѣсяцъ освѣщалъ путь Алызгѣ и Алешѣ. Закованная дикарка подвигалась очень медленно впередъ. Кандалы попрежнему тихо, монотонно позвякивали при каждомъ шагѣ остячки. Луна заглядывала ей въ широкое, блѣдное лицо.

Добравшись до калитки къ стѣнѣ она знакомъ указала своему спутнику открыть ее. Переступивъ порогъ ея она очутилась въ небольшой рощѣ. Съ трудомъ пройдя шаговъ сто, тяжело переводя духъ, Алызга остановилась. Все было тихо и таинственно кругомъ. Невысокіе кедры и кусты разрослись здѣсь на славу,—настоящая чаща, какъ въ лѣсу. Гдѣ-то близко, близко шумѣла рѣка.

— Тяжело... невмоготу болѣ... Кандалы не пускаютъ,—произнесла, внезапно останавливаясь, какъ-бы въ безсиліи, Алызга, прислоняясь къ стволу развѣсистаго дубка.—Здѣсь дозволь мнѣ остаться... помолиться дозволь... а ты отойди, господинъ, малость въ сторону... Свѣтлыя тѣни не приблизятся, когда ты будешь здѣсь. Могучій Уртъ-Игэ не услышитъ меня, разъ ты рядомъ будешь стоять...

— Ладно, отойду въ сторонку,—согласился Алеша и, зайдя за дерево, сталъ ждать.

Лишь только его стройная, рослая фигура скрылась за стволомъ, Алызга безпокойно оглянулась и почти одновременно дикій, пронзительный крикъ ночной птицы пронизалъ чащу. Откуда-то поблизости отвѣтили такимъ же крикомъ. Затрещали сучья, зашуршала трава и, сильными руками раздвигая кусты, молодой остякъ очутился въ два прыжка подлѣ женщины.

— Имзега,—съ бѣшенымъ крикомъ восторга вскричала она,—я знала, что ты здѣсь!

— Я ждалъ тебя здѣсь три ночи, — отвѣчалъ остякъ.—Великій Унъ-Тонгъ открылъ мнѣ, что ты придешь... Спѣшимъ отсюда, Алызга... Съ той минуты, какъ тебя схватили у воротъ острога, я не зналъ покоя и сна... Я былъ такъ близко отъ тебя и ничѣмъ не могъ помочь сестрѣ моей... Съ той страшной ночи наши батыри стояли на стражѣ въ этой рощѣ и я съ ними... Ты почуять должна была нашу близость, сестра... Самъ великій Сорнэ-Туромъ благословилъ твой приходъ, Алзыга... Мой конь ждетъ на-готовѣ въ рощѣ... Мои батыри тоже... На первомъ же привалѣ я сшибу съ тебя твои кандалы, а теперь спѣшимъ...

Но она не могла идти. Цѣпи мѣшали ей сдѣлать это.

— О, грозный Уртъ-Игэ! Покарай ея враговъ! — вскричалъ молодой дикарь и, быстро наклонившись надъ сестрою, поднялъ легко, какъ перышко, ея коренастую фигуру и понесъ.

Легкій крикъ раздался за ихъ плечами. Имзега быстро обернулся. Передъ нимъ стоялъ красивый мальчикъ-юноша, весь облитый луннымъ сіяніемъ.

— Куда!? Стойте!.. Ты обманула меня!.. Назадъ вертайся!.. Зачѣмъ обманула меня! — весь дрожа отъ негодованія ронялъ онъ поблѣднѣвшими губами, вцѣпляясь руками въ мѣховую юбку Алызги.

Ни страха, ни боязни не было въ немъ, хотя Имзега, весь зашитый въ кожаную добаву [1], казался настоящимъ великаномъ по сравненіи съ нимъ, четырнадцатилѣтнимъ отрокомъ, почти ребенкомъ. Замѣтивъ юношу, Имзега гнѣвно топнулъ ногою и одной рукой придерживая Алызгу, другою выхватилъ изъ-за пояса ножъ, зловѣще блеснувшій при свѣтѣ мѣсяца.

---

[1] Остяцкая одежда.

— Не тронь его!—крикнула съ мольбою Алызга.—Не тронь его, братъ!.. Онъ подарилъ мнѣ свободу! Кабы не онъ, не юноша этотъ, не видать тебѣ Алызги никогда, никогда!

Съ глухимъ ропотомъ молодой остякъ опустилъ ножъ и съ силою оттолкнулъ отъ себя Алешу.

Ударъ былъ хорошо разсчитанъ. Мальчикъ зашатался и, тяжело ударившись головою о стволъ дуба, растянулся замертво въ высокой травѣ.

Имзега съ тѣмъ же рѣзкимъ крикомъ ночной птицы рванулся впередъ, въ чащу, держа сестру на рукахъ. Конское ржаніе было ему отвѣтомъ.

Минутъ черезъ пять онъ и Алызга уже стояли, окруженные десяткомъ остяцкихъ воиновъ, вѣрнѣе такихъ же зашитыхъ въ оленьи шкуры дикарей, вооруженныхъ луками, стрѣлами и ножами. Они громко привѣтствовали брата и сестру. Въ одинъ мигъ Имзега вскочилъ на коня, посадилъ Алызгу въ сѣдло передъ собою и, приказавъ своимъ людямъ спѣшить за нимъ насколько возможно, взмахнулъ нагайкой.

Быстроногій киргизскій скакунъ метнулся съ мѣста и понесся сразу во весь опоръ. Сердце Алызги замерло отъ восторга. Какихъ-нибудь два новолунія только, а можетъ и меньше даже, и она увидитъ далекій Искеръ и царевну Ханджаръ, свою любимую госпожу и подругу.

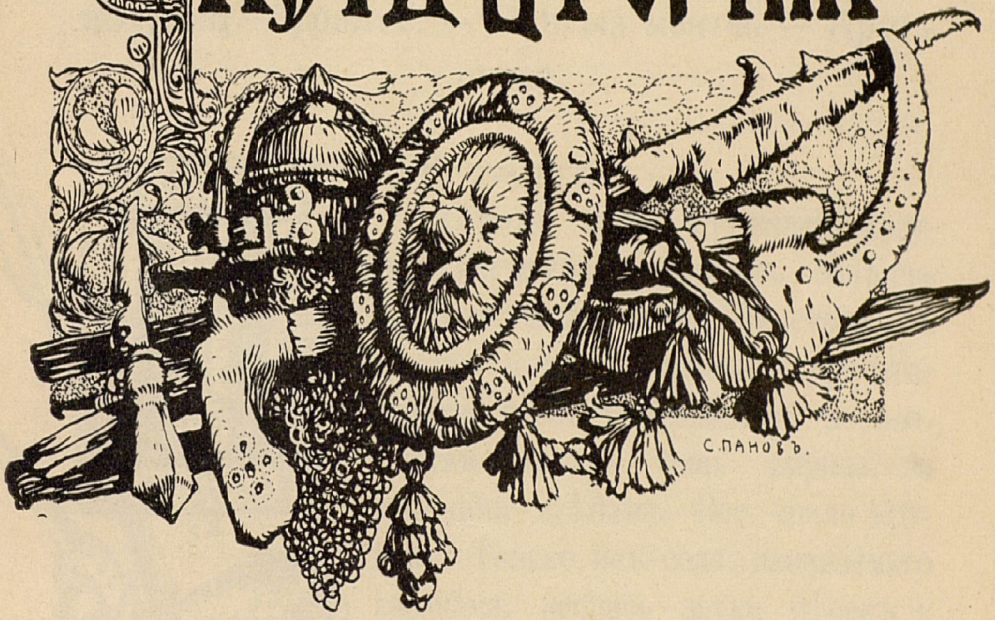
— Я умчу тебя въ Назымъ, къ отцу, Алызга!—произнесъ задохнувшійся отъ быстрой скачки молодой остякъ.

Она отрицательно покачала головою.

— Нѣтъ! Нѣтъ, не въ Назымъ!—произнесла она глубоко и серьезно,—нашъ отецъ, вѣрный данникъ и слуга хана Кучума, подарилъ меня ханшѣ пятнадцать лѣтъ назадъ и сказалъ: «служи вѣрой и правдой маленькой царевнѣ, Алызга, и тѣмъ прославишь сѣдины отца». Тамъ

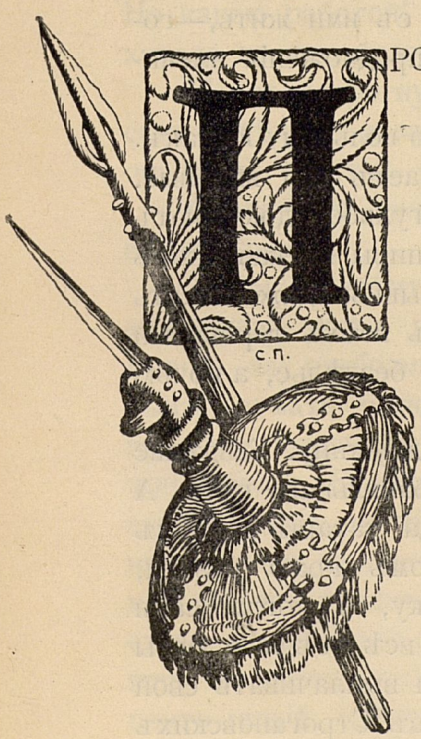
стало быть теперь мое мѣсто, Имзега... Умчи же меня скорѣе въ Великій Юртъ, къ могучему хану Кучуму, къ моей смѣлой и гордой царевнѣ Ханджаръ...

Часть вторая



ГЛАВА I.

Вольница бурлитъ. — Смѣлыя мечты. — Кругъ снова.



ПРОШЛО два года.

Стояла ночь. Студеный августовскій ночной холодокъ обвѣялъ природу. Было темно въ степи, въ лѣсахъ и въ поселкахъ, прилегающихъ къ Строгановскому жилью. Святая сонная тишь царила за высокими стѣнами. Все спало кругомъ. Только изъ села, занимаемаго казаками, неслись звуки пѣсенъ и балалаекъ, хохотъ и крики, звонъ чарокъ и нетрезвые громкіе голоса. Во всѣхъ почти избахъ поселка шла веселая гульба.

Это пировала въ досужее время грозная Ермаковская дружина, поселившаяся въ Строгановскихъ поселкахъ два года тому назадъ. Почти во всѣхъ избахъ поселка горѣли огни. Изо всѣхъ оконъ неслись пьяные голоса пировавшихъ. Только

въ крайней избѣ, ближе всѣхъ стоявшей къ острогу, тускло горѣла одинокая лучина. Тамъ было тихо и спокойно. Въ небольшой горенкѣ, за столомъ, покрытымъ бѣлой скатертью, на невысокомъ стольцѣ [1] сидѣлъ человѣкъ. Его взглядъ, разсѣянный и печальный, скользилъ по скромной обстановкѣ избы.

Этотъ человѣкъ былъ Ермакъ.

Печальный и хмурый сидѣлъ онъ въ своей горницѣ. Наперекоръ всѣмъ приглашеніямъ Семена Аникіевича устроиться по-царски въ его роскошныхъ хоромахъ Ермакъ отказался наотрѣзъ.

— Не бояринъ я, али князь какой, а казакъ—военный. Не пристало мнѣ на перинахъ лебяжьихъ нѣжиться. Да и съ ребятами моими неразлученъ я. Въ избахъ живутъ мои казаки, стало и атаману съ ими жить,—говорилъ онъ одно и то же на всѣ предложенія именитаго купца.

Пуще свѣта и солнца любилъ свою вольницу Ермакъ. И вотъ теперь эта вольница допекаетъ его впервые. Пьянствомъ, праздною жизнью да гульбой докучаютъ ему казаки. Который мѣсяцъ идутъ пиры въ казацкомъ станѣ. Днями спятъ мертвецки, не помышляя даже пахать землю, которою щедро надѣлилъ ихъ всѣхъ тароватый Семенъ Аникіевичъ. Днемъ спячка да бездѣлье, а ночью бражничанье отъ зари до зари.

Но Ермакъ не обвиняетъ свою дружину. Бездѣлье хоть кого истомитъ, свихнетъ съ правильнаго пути. А дѣлать-то што? Вогуличи, остяки да татары съ тѣхъ поръ, какъ поселились въ Пермскомъ краю казаки, носъ не кажутъ къ Сольвычегодску, а когда сами казаки ихъ улусы воевать ходили, всѣ осѣдлые югры разомъ покорились и аккуратно стали выплачивать свой ясакъ. Тишина и покой воцарились въ Строгановскихъ

[1] Табуретъ.

владѣніяхъ. Далеко по окрестностямъ ходила удалая дружина, приводя къ покорности дикарей. Осѣдлые покорялись, кочевые уходили въ степь подальше. Правда, съ мѣсяцъ тому назадъ снова нечаянно напалъ на поселки мурза Бегбелій съ 680-ю вогуличами, но былъ въ пухъ и прахъ разбитъ Ермаковской дружиною. Неосторожный князекъ-дикарь и самъ поплатился за это своей свободой: въ цѣпяхъ, закованный накрѣпко, онъ былъ отосланъ въ Москву. И снова спокойствіе, снова затишье; только безсмѣнные пиры да бражничанье нарушаютъ ихъ. Пиры, пѣсни, ночныя столованія, крики.

— Избаловались они, — прислушиваясь къ этимъ крикамъ мыслилъ Ермакъ. — Кто не избалуется? Не Волга здѣсь, не Донъ, гдѣ дѣло не стояло за работой... Но какою работой! Какою!..—тутъ же полыменъ вспыхивала въ его мозгу быстрая мысль.

И онъ вздрогнулъ невольно всѣмъ своимъ богатырскимъ тѣломъ и зажмурилъ ястребиныя очи, какъ бы опасаясь увидѣть то, что лѣзло ему теперь на мысли.

Странно и сильно перемѣнился за это послѣднее время Ермакъ.

Тихая, бездѣятельная жизнь «на покоѣ» доставляла ему долгіе часы для думъ и размышленій. Тамъ, на Волгѣ, за разбоями да подъ страхомъ быть схваченнымъ, думать было недосугъ. Зато теперь все его прошлое выплывало передъ нимъ, какъ на ладони. И жуть брала Ермака отъ этого прошлаго. Да и мѣста эти Пермскія, глухія, подсказывали ему въ тишинѣ темныхъ ночей нерадостныя думы и воспоминанія. Когда-то, мальчикомъ Ермакъ жилъ въ Перми. Онъ былъ простого. не знатнаго рода. Его дѣдъ, Афанасій Григорьевичъ Аленинъ, посадскій Суздальскій человѣкъ, бѣднякъ, почти нищій, принужденъ былъ искать пропитаніе извозничаніемъ и съ этой цѣлью ушелъ во Владиміръ. Муромскіе разбойники, хозяйничавшіе въ окрестностяхъ,

свели знакомство съ Аленинымъ и прельстили его своимъ кажущимся довольствомъ. Онъ возилъ, укрывалъ ихъ отъ правительства и вскорѣ вмѣстѣ съ ними попалъ въ тюрьму. Оттуда ему удалось убѣжать вмѣстѣ съ женою и двумя сыновьями, Родіономъ и Тимофеемъ, въ Юрьевскій Павольскій уѣздъ, гдѣ онъ вскорѣ и умеръ, оставивъ въ полной нищетѣ семью. Дѣти его переѣхали «отъ скудости», какъ говорили тогда, на рѣку Чусовую, въ Строгановскія вотчины. У одного изъ братьевъ, Тимофея, здѣсь родилось трое сыновей. Младшій, Василій, оказался особенно умнымъ, бойкимъ, смѣлымъ мальчикомъ. Онъ выросъ, окрѣпъ и поступилъ въ бурлаки — тянуть барки по Волгѣ и Камѣ. Бурлацкая артель выбрала его кашеваромъ и тогда же прозвали его товарищи Ермакомъ [1]. Это прозвище такъ и осталось за нимъ на всю жизнь. Кровь дѣдушки, любителя вольной жизни, перелилась и въ жилы Василія. Его потянуло къ полной превратныхъ случайностей, безшабашной казачьей удали, и онъ ушелъ на Донъ, къ вольнымъ казакамъ, гдѣ и былъ выбранъ ими старшиною Кагалинской станицы. Однако, недолго охранялъ порученный ему рубежъ отъ Астрахани до Дона молодой Ермакъ. Иного дѣла жаждала его бродячая, неспокойная натура. И, кликнувъ кличъ, онъ набралъ собственную удалую дружину и съ нею началъ хозяйничать на широкой Волгѣ-рѣкѣ...

Вотъ вся эта сравнительно недолгая, но богатая событіями, прошлая жизнь и встала теперь передъ глазами атамана вольныхъ дружинъ. Близость къ роднымъ мѣстамъ, гдѣ онъ бѣгалъ и игралъ невиннымъ ребенкомъ, невольно навела на чистыя, свѣтлыя мысли Ермака. А за ними, за этими чистыми мыслями-воспоминаніями, слѣдомъ явилось и раскаяніе, и муки совѣсти. Чѣмъ онъ

[1] Ермакъ означаетъ артельный таганъ, на которомъ варится каша.

былъ доселѣ?.. Разбойникъ, душегубъ, убійца, умывавшій свои руки по локоть въ крови... Правда, не невинныхъ бѣдняковъ онъ убивалъ, а людей, которые, по его мнѣнію, заслуживали этой кары. Да развѣ онъ смѣлъ быть ихъ судьею и вершителемъ ихъ жизни, онъ, такой же грѣшный, какъ и они, и можетъ быть даже хуже во сто кратъ ихъ всѣхъ? Онъ убивалъ и рѣзалъ, и жегъ безъ сожалѣнія. И что же теперь? Есть у него почести, слава?.. Да, но слава разбойника, казака-вора, приговореннаго къ висѣлицѣ, грабителя, душегуба. Онъ даже не смѣетъ вернуться на родную Волгу изъ боязни попасться въ руки царскихъ воеводъ. Его поймаютъ, закуютъ и привезутъ въ Москву для лютой казни. Но не казни онъ боится и не пытки, предшествующей казни позорной, а славушки плохой своей не хочетъ Ермакъ. Не хочетъ онъ, чтобы лихомъ помянулъ его тотъ народъ, котораго онъ любитъ, изъ котораго вышелъ самъ онъ, могучій атаманъ Поволжья. Его казнятъ,—онъ сгинетъ, а въ народѣ долго будетъ жить память о его грабежахъ и разбояхъ. Нѣтъ, не хочетъ онъ этого, не хочетъ. Яркимъ, могучимъ подвигомъ хотѣлось бы покрыть ему свое позорное прошлое. О томъ подвигѣ онъ мечтаетъ давно. Не разъ приходила ему въ голову отчаянная мысль, удалая затѣя, за которую низко поклонится ему, завѣдомому душегубу, и царь, и народъ. Эта мысль жжетъ голову, мозгъ атаману, бросаетъ полымя въ его красивое лицо, заставляетъ сердце его то сжиматься въ тискахъ, то биться сильно, сильно... А ночь идетъ... Идетъ, какъ смуглая женщина подъ чернымъ покрываломъ...

Лучина нагорѣла и потухла съ трескомъ. Въ окна забрезжилъ разсвѣтъ. И вотъ ушла тихой поступью, скрылась незримо смуглая красавица, прикамская ночь. Заалѣло небо. Крики пирующихъ казаковъ затихли въ станицѣ.

— Умаялись... И то сказать, больно работы много,— съ какою-то несвойственною ему презрительною злобою произнесъ Ермакъ,—ну, да ладно, поднесу я вамъ подарочекъ нонѣ, ребятушки,—шепнулъ онъ, и загадочно блеснули его ястребиныя очи.

Въ этотъ мигъ солнце прорѣзало алую даль, брызнуло, затрепетало, освѣтило и станицу, и степь, и виднѣющіяся вдалекѣ, точно дымкой сизаго тумана одѣтыя, Уральскія горы. Къ нимъ приковались острые взоры Ермака. Онъ вытянулся во весь ростъ своей могучей, богатырской фигуры и произнесъ, простирая руку къ окну, страннымъ пророческимъ голосомъ жреца:

— Твоимъ будетъ все это, народъ православный!.. Отъ моря до моря, всю югру принесу тебѣ въ даръ, святая родина, тебѣ и царю! Завоюю югорскія юрты, сорву вѣнецъ съ Кучума и сложу его у ногъ могучаго русскаго царя!—заключилъ онъ, загораясь своимъ дерзкимъ желаньемъ.—А теперь, теперь туда, къ Строганову въ хоромы. Безъ помощи его, батюшки, не видать намъ Югорской земли.

И, словно безумный, захвативъ шапку опрометью кинулся изъ избы.

. . . . . .

О чемъ говорили, запершись, въ это раннее августовское утро Семенъ Аникіевичъ съ атаманомъ Ермакомъ, осталось тайной для домашнихъ,—только выйдя изъ горницы оба они такъ и сіяли, точно въ Свѣтлый праздникъ.

— Вѣкъ тебѣ не забуду порады такой, — взволнованно говорилъ Строгановъ, провожая до крыльца гостя, — за такія рѣчи, Василій Тимофеевичъ, много грѣховъ тебѣ отпуститъ Господь! — дрогнувшимъ голосомъ заключилъ свою рѣчь именитый купецъ и на глазахъ всей дворни горячо обнялъ и трижды облобызалъ Ермака.

— А ты нешто попъ-батька, што грѣхи отпущать ладишь? — отшутился Ермакъ, съ трудомъ удерживая счастливую улыбку. — Только помни, сударь Семенъ Аникіевичъ, уговоръ нашъ предоставить намъ всего въ аккуратѣ: и зелья, и харчей, и пушекъ да самопаловъ, всего штобы вдоволь. Не то не видать намъ югры, какъ своихъ ушей!

— Всего, всего вдоволь будетъ: и струговъ дамъ, и людей, и зелья, и свинцу, одежы да снѣди, да еще человѣкъ съ триста наберу изъ плѣнныхъ ливонцевъ да нѣмцевъ, што живутъ по посадамъ, а съ ими и татарву мирную изъ нашихъ ясачниковъ снаряжу. Глядишь, съ такимъ-то войскомъ и не зазорно идти на Кучума.

— Мнѣ своей вольницы буде. Съ такими молодцами и подмоги не надоть-бы,—не безъ гордости произнесъ, усмѣхнувшись, Ермакъ.

— Ладно! Бесерменовъ все-жъ прихвати... Ими и поселять завоеванные улусы станешь,—тѣмъ-же радостнымъ голосомъ возразилъ Строгановъ и вдругъ осѣкся.

— Ты што?—неожиданно вскинулъ онъ на Ермака глазами.

Но тотъ не отвѣчая ему быстро сошелъ съ крыльца, не отводя глазъ съ дороги, по которой спѣшилъ изъ станицы, чуть не бѣгомъ, есаулъ Кольцо.

— Што тебѣ, Иванычъ? Аль за мною? — не безъ тревоги въ голосѣ спросилъ атаманъ.

Сѣдоусый есаулъ запыхавшись очутился въ десяти шагахъ отъ своего начальника.

— До тебя, Василій Тимофеичъ. Съ ребятами сладу нѣтъ—больно разбаловались. Всю ноченьку напролетъ бражничали. Мыслилъ къ утру уймутся, анъ еще пуще того озорничать стали. Пѣсни спервоначалу орали, а сейчасъ палить стали изъ самопаловъ, поселенцевъ пужать. Я съ подъесаулами, было, къ нимъ вышелъ, уго-

варивать ихъ сталъ. Такъ куды-жъ тебѣ! И не чухаютъ... А бабы поселенскія да дѣти ревмя ревутъ—боятся пищалей-то... Мужья ругаться, а наши за бердыши было... За тобой поспѣшилъ. Уйми этихъ дьяволовъ, Христа ради, атаманъ-батька!

— Съ чего-бы это? Тебя они всегда слушались, Иванычъ, — недоумѣвающе пожалъ плечами атаманъ. — Што-же говорятъ они? Што? Выкладывай, друже.

— Говорятъ, што на Волгу, вишь, вертать ладятъ. Не житье, баютъ, имъ здѣся, ровно бабамъ на печи. Набражничались мы, говорятъ, безъ дѣла. На тебя ропщутъ за бездѣлье, атаманъ.

— Дурни! — засмѣялся беззлобно Ермакъ. — Ну, друже, приготовилъ я подарочекъ имъ не малый. Собери-ка кругъ скорѣича, Иванычъ. Вѣсточку я таковскую имъ принесъ, што вся ихъ брань, ровно птица, изъ башки вылетитъ. Знатнымъ гостинчикомъ распотѣшу васъ всѣхъ.

— Сказать не изволишь, атаманъ? — освѣдомился Кольцо.

Ермакъ прищурился, усмѣхнулся и, вперивъ глаза въ далекія Уральскія горы, произнесъ весело и спокойно:

— Сибирское царство воевать пойдемъ, вотъ што, Иванычъ!

Глаза у Кольца расширились отъ изумленія. Онъ даже въ лицѣ измѣнился отъ неожиданности, этотъ бывалый, пожилой есаулъ, вскормленный, вспоенный разбойничьими дѣлами.

— На Сибирь мыслишь?... Съ горсточкой-то нашей на Кучумку самого?—послѣ долгаго молчанья произнесъ онъ, словно проснувшись.

— А то нѣтъ?.. Што-же, мои молодцы хана югорскаго не одолѣютъ, што-ли!..—задорно и смѣло блеснулъ глазами Ермакъ.—А за то, Иванычъ, — послѣ минутной паузы закончилъ онъ вдохновенно, — русскій народъ да

государь-батюшка намъ вины наши отпустятъ. Да и совѣсть, небось, глодать перестанетъ за тѣ черныя дѣла, что вершили ненарокомъ... А татарвы бояться не слѣдъ. Блудливы, што кошки, трусливы, што зайцы, Кучумкины народцы... Правду-ль я говорю?

— Правду-то правду, а только што-бы худа не было изъ того, атаманъ... Насъ то пять сотенъ безъ лишняго будетъ, а ихъ тьма тьмущая, ровно мошкарей надъ рѣкою въ жаркій вечеръ...

— Хуже того, што ноне, не будетъ, Иванычъ, — разомъ упавшимъ голосомъ произнесъ Ермакъ. — Небось, и у разбойниковъ есть совѣсть. Небось, не отъ радости бражничаютъ молодцы. Нешто имъ сладко жить такъ-то: съ кровью на рукахъ, съ висѣлицами надъ головами да съ совѣстью нечистой иной разъ?.. Нѣтъ, Иванычъ, собирай-ка кругъ, соколъ ты мой сѣдой! Скажи стану, што атаманъ-де говорить съ имъ будетъ! — уже повелительнымъ тономъ заключилъ свою рѣчь Ермакъ.

Кольцо, не смѣя ослушаться, направился къ станицѣ. На площади села царило смятеніе. Около сотни казаковъ пѣли пѣсни, стрѣляли изъ пищалей на воздухъ и всячески пугали мирныхъ жителей поселка.

Женщины плакали, дѣти кричали. Мужчины тщетно пытались уговорить озорниковъ. Ночное бражничаніе давало себя чувствовать. Буйныя головы, отягощенныя винными парами, плохо соображали свои поступки.

Но вотъ, подобно громовому раскату, пронесся зычный голосъ Кольца, прибѣжавшаго на площадь:

— Кругъ! Атаманъ кругъ велитъ собрать, робята!

Одновременно съ этимъ зазвенѣли гулкіе удары била, пріютившагося на серединѣ площади поселка.

Пальба и шумъ прекратились точно по мановенію волшебнаго жезла. Пьяные казаки словно разомъ протрезвились. Кругъ, по казацкимъ обычаямъ, сзывался въ исключительно важныхъ случаяхъ. Изо всѣхъ избъ бѣ-

жали, наскоро застегивая зипуны и кафтаны, казаки. Заспанныя, еще не протрезвившіяся, лица выражали полное недоумѣніе.

— Што?.. Зачѣмъ кругъ?.. Гдѣ атаманъ?.. Зачѣмъ подняли спозаранку?..—слышались недовольные голоса.

— Пожди малость, придетъ батька-атаманъ — все извѣдаешь,—уклончиво отвѣчалъ Кольцо любопытнымъ.

Ермакъ не заставилъ себя ждать.

Къ полному удивленію всей собравшейся на кругъ станицы онъ пришелъ какъ на пиръ, какъ на праздникъ. Его бархатный кафтанъ сверкалъ золотомъ и каменьями самоцвѣтными. Золотомъ же шитая, съ алымъ верхомъ мурмолка дивно шла къ его смуглому, красивому лицу. На золотой же опояскѣ, усыпанной яхонтами, алмазами и рубинами, висѣлъ тесакъ въ дорогихъ ножнахъ и длинная острая казацкая сабля. Вся фигура дышала особеннымъ величавымъ спокойствіемъ и торжествомъ.

— Штой-то съ атаманомъ нашимъ?.. Ишь вырядился, словно тебѣ въ Свѣтлый праздникъ! — съ недоумѣніемъ переговаривались между собою казаки.

Но вотъ прогремѣлъ сильный и могучій голосъ Ермака:

— Братцы-казаки! — произнесъ онъ сильно, появляясь въ центрѣ круга, — съ радостною вѣстью пришелъ я нонѣ къ вамъ. Дозволь рѣчь смѣлую передъ тобой держать, могучая казацкая вольница!

— Говори, атаманъ! Слушаемъ тебя завсегда охотно!—отозвалось вокругъ Ермака дружнымъ гуломъ.

— Спасибо, молодцы! Не долга рѣчь моя будетъ. Слушайте! Видать больно мы обжились на готовыхъ хлѣбахъ. Притупились шашки наши, подмокло зелье [1], заржавѣли пищали. И лежимъ мы на печкѣ да спимъ сладко, либо бражничаемъ да пируемъ. Да и то сказать:

---

[1] Порохъ.

вина не наша въ томъ. Югорцы притихли, сюды нейдутъ. Дѣлать намъ нечего. Вотъ отъ бездѣлья и облѣнились мы. Только брагу тянемъ да хлѣбъ жуемъ, аль на палатяхъ нѣжимся, ровно дѣти да бабы. Аль забыли молодцы откеда мы соколами налетѣли? Аль запамятовали про гульбу нашу удалую? Аль не тянетъ болѣе къ пищали да саблѣ? Такъ-то поди може и вольготнѣе жить, поживать, чужой хлѣбъ жевать да озорничать подъ хмѣлемъ.

Голосъ Ермака зазвенѣлъ и оборвался. Ястребиныя очи такъ и перебѣгали съ одного лица на другое, такъ и сѣяли пламя насмѣшливыхъ искръ.

Смущенные стояли казаки, почесывая затылки, поникнувъ головами вокругъ своего вождя. Истинная правда сквозила въ каждомъ его словѣ, и они не могли отрицать этого. Невольное раскаяніе закралось во всѣ эти буйныя головы и сердца.

Ермакъ, видя произведенное имъ впечатлѣніе на дружину, обвелъ еще разъ глазами весь кругъ и подхватилъ со страстной мощью въ голосѣ:

— Братцы, смѣлые удальцы поволжскіе! Буде намъ нѣжиться на палатяхъ да угощаться на славу. Пора и честь знать. Пойдемъ, разомнемъ косточки молодецкія. Не на разбой, не на стыдное дѣло зову васъ, ребята. Довольно тѣхъ дѣловъ было подѣлано, хватитъ про насъ. Небось, не одного изъ васъ покаянная совѣсть гложетъ. Не къ одному, поди, чай, невинная кровь вопіетъ. Загубили мы, хошь иныхъ и ненарокомъ, братцы, а все-жъ не мало и душенекъ невинныхъ, христіанскихъ. Буде теперь! На иное зову я васъ, други. Вишь, за Югорскимъ поясомъ, словно царица пышная, разлеглась Югорская земля. Чего-чего въ ей нѣтъ! И звѣри пушные въ тайгахъ да урманахъ дремучихъ, и рыбы всякія въ хрустальныхъ рѣкахъ, а въ черной груди земли-кормилицы да въ горахъ высокихъ руды всякой пропасть. А воло-

дѣетъ тѣми сокровищами, сами вѣдаете, Кучумка-салтанъ. И больно народцы его нашихъ поселенцевъ тревожили еще при насъ. Не давали, нехристи, строиться на землѣ Югорской, руду добывать, землю вспахивать. Такъ надумалъ я, братцы, однимъ ударомъ двухъ зайцевъ убить: повоевать ту землю Югорскую, Кучумкину и тѣмъ прибавить Руси родимой землицы, да угодій и богачествъ всякихъ, штобы нашъ народъ православный спасибо сказалъ, да отпустилъ намъ вины наши передъ нимъ вольныя и невольныя... А еще, братцы, и царю-батюшкѣ сослужить службу: ударить челомъ ему Кучумовымъ царствомъ. И замѣсто топора да плахи великое прощенье намъ будетъ за это отъ него.

Сказалъ и замолкъ на мгновенье Ермакъ. Только искры такъ и блещутъ, такъ и прожигаютъ насквозь столпившихся вокругъ него казаковъ.

Кажутся часами тягучими недолгія мгновенія ожиданья.

Загудѣлъ кругъ. Точно ропотъ отдаленнаго прибоя прокатился по станицѣ. Зашумѣла вольница, какъ бурное, волнующееся море. Напрасно старался уловить рѣчи и возгласы казаковъ атаманъ. Одинъ гулъ только гудѣлъ и переливался съ добрыя четверть часа. И вотъ все стихло,—на минуту только, чтобы въ слѣдующее мгновеніе разразиться подобно громовому раскату, прокатившемуся и замершему далеко въ степи:

— На Сибирь!.. На Кучума!.. Идемъ!.. Согласны!..

— Заслужимъ царю-батюшкѣ!.. Сослужимъ русскому народу!..

— Всѣ до единаго охочи идти за тобою, батька-атаманъ!..

Ермакъ вспыхнулъ отъ счастья. Лицо его загорѣлось, взоры сверкнули горделивымъ огнемъ. Онъ поднялъ ихъ къ небу, снялъ шапку, съ благоговѣніемъ трижды осѣнилъ себя крестомъ.

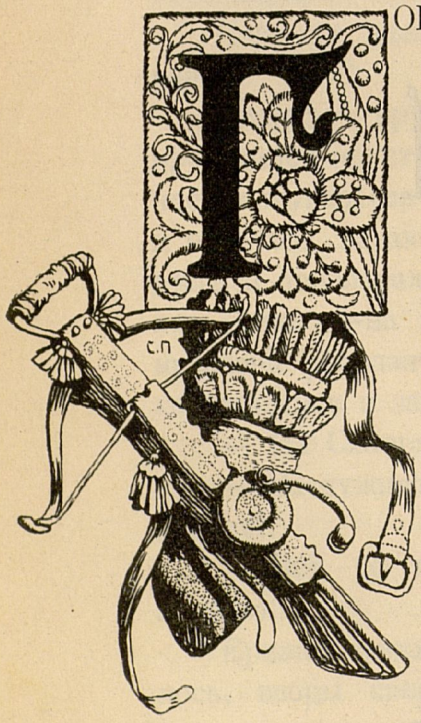
— Спасибо, братцы!.. Потѣшили вашего батьку-атамана!..—произнесъ онъ, и быстрые глаза его, съ неизъяснимымъ въ нихъ выраженіемъ безконечнаго счастья, обвели кругъ.

— Тебѣ спасибо, что надоумилъ такое, что съ народомъ православнымъ да съ царемъ-батюшкой примирить насъ ладишь, атаманъ! — послышались умиленные голоса недавнихъ разбойниковъ, теперь идущихъ на великій подвигъ людей.

И чуть ли не впервые тихо, безшумно, безъ обычныхъ криковъ и пѣсенъ казаки покинули кругъ.

ГЛАВА II.

Непредвидѣнная просьба.—Новый казакъ.



ГОРДЫЙ, счастливый, довольный и радостный возвращался Василій Тимофеевичъ въ свою атаманову избу.

Разбившись на кучки казаки еще говорили и совѣтывались во всѣхъ углахъ станицы. Надежда близкаго похода оживила всѣхъ. Ермакъ не ошибся въ своихъ «ребятахъ», въ своей удалой, смѣлой вольницѣ. Ни одинъ казакъ изъ круга не заикнулся даже о томъ, какъ можно ничтожной, пятисотенной горсти людей идти въ чуждую имъ, дикую землю, кишмя кишащую вражьими воинственными племенами. Ни одинъ даже не подумалъ о томъ.

— Эхъ-ма! — съ силою произнесъ самъ себѣ Ермакъ, — нешто намъ, удалыя головушки безшабашныя, отваги да храбрости занимать стать?..

И гордо поднималась красивая голова казацкаго атамана, и съ любовью обращались глаза назадъ къ площади, гдѣ тихо и мирно бесѣдуя расходились казаки.

— Благодарю тя, Господи, што далъ мнѣ радость въ ребятахъ моихъ!—произнесъ Ермакъ, обращая умиленные взоры кверху.

И самое небо, синее и ясное, казалось, привѣтствовало его въ этотъ день. Оно сіяло съ безконечной лаской, грѣя природу послѣднимъ августовскимъ тепломъ.

— Добрый знакъ... Ишь, ровно радуется заодно съ нами солнышко,—произнесъ мысленно Ермакъ.

— Василь Тимофеичъ, пожди малость, — услышалъ онъ вдругъ пріятный, юношескій голосъ за своими плечами.

— Што тебѣ, Алешенька?—ласково кинулъ Ермакъ, окидывая любующимся взоромъ спѣшившаго за нимъ юношу.

И было чѣмъ полюбоваться въ существѣ молодого князя.

За эти два года Алеша Серебряный-Оболенскій выровнялся и выросъ, и похорошѣлъ на-диво. Сильный и стройный, какъ молодой дубокъ, онъ, своей прекрасной, юношеской фигурой, быстрой, ловкой и подвижной, своимъ смѣлымъ, исполненнымъ отваги лицомъ, казался старше своихъ лѣтъ, можетъ быть вслѣдствіе пережитыхъ въ дѣтствѣ страданій. Чудесно сверкали его глубокіе, синіе, немного печальные глаза. Юною мощью и затаенной силой дышала каждая черта юнаго князя. Легкій пушокъ пробивался на щекахъ и подбородкѣ, а надъ смѣло очерченнымъ ртомъ чуть темнѣли молодые усики.

— Съ каждымъ днемъ ты у насъ пригожее да пригожее становишься, — произнесъ Ермакъ съ отеческою нѣжностью, глядя на красавчика-юношу, — и какъ помыслю только, гдѣ такому-то молодцу мы невѣсту сы-

щемъ... Во всей Перми тебѣ, поди, красой не найти подъ пару, — пошутилъ онъ, слегка ударивъ по плечу Алешу.

Но тотъ даже не улыбнулся на шутку. Его красивое лицо было блѣдно. Губы слегка дрожали. Ермакъ только сейчасъ замѣтилъ странное состояніе своего любимца.

— Ой, да што-жъ это съ тобой, Алеша-свѣтикъ? Обидѣлъ тебя кто?—встревожась участливо спросилъ онъ юношу.

— Обидѣлъ и то, — тихо, чуть слышно, отвѣчалъ князь, до боли закусывая губы.

Его глаза потемнѣли, ноздри вздрагивали и трепетали, какъ у молодого, горячаго степного конька.

— Кто смѣлъ обидѣть?—мощно загремѣлъ голосъ Ермака и черныя брови его сурово сошлись надъ переносицей.

За послѣдніе два года онъ, какъ сына родного, полюбилъ этого статнаго, пригожаго юношу и неотлучно держалъ его подлѣ себя. Одна мысль, что кто-то посмѣлъ обидѣть его, атаманова, любимца, бросала въ жаръ и въ холодъ Ермака.

— Кто дерзнулъ?—еще грознѣе и строже прогремѣлъ его окрикъ, отъ котораго дрожали самые смѣлые казаки.

Но Алеша не дрогнулъ. Онъ, поднявъ смѣло голову и вперивъ свои честныя, прямыя, синія очи въ очи Ермака, произнесъ твердо:

— Мещерякъ обидѣлъ меня, атаманъ.

— Мещеря? Твой братъ названный, первый другъ и пріятель? Да што-же это онъ?—недоумѣвающе ронялъ слово за словомъ Ермакъ.—Аль ополоумѣлъ, невзначай, Митюша? Говори, князенька, чѣмъ онъ прогнѣвилъ тебя.

— Скажу, — смѣло отвѣтилъ юноша.—Давеча ты кругъ собирать велѣлъ, со станомъ бесѣдовалъ. Я все

слыхалъ, хоть и не смѣлъ совать носъ въ казацкое дѣло. А слыхать, все слыхалъ, какъ ты на Кучумку идти рѣшилъ, Сибирь воевать во славу нашего народа, и вмѣстяхъ ликовалъ я съ вольницей твоею... Только стали расходиться съ круга, а Матвѣй мнѣ и говоритъ: «Ты, Алеша, не печалуйся больно—не дологъ нашъ походъ будетъ. Не заждешься. А я тебѣ за это што ни на есть самаго дорогого изъ Кучумкиныхъ сокровищъ приволоку, какъ вернемся»... Вотъ какъ обидѣлъ меня мой братъ богоданный, атаманъ! — заключилъ съ пылающими глазами свою рѣчь Алеша.

— И все?

— Мало развѣ?

— Такъ кака-жъ тутъ обида-то, парень? Мнѣ не вдомекъ,—все болѣе и болѣе недоумѣвалъ Ермакъ.

— Да нешто я баба, штобы мнѣ на печкѣ лежать да гостинчика дожидаться Сибирскаго,—съ силой ударивъ себя въ грудь рукою, чуть не въ голосъ крикнулъ, весь дрожа, Алеша.—Вотъ ты съ молодцами на самого Кучумку идешь, царю и родинѣ, всему россейскому народу службу сослужить, а я жди васъ тута, ровно порченый. Да лучше мнѣ было-бы штобы тогда меня Никита петлей задавилъ, али ножомъ пырнулъ заодно съ Терентьичемъ, чѣмъ такъ-то!

И голосъ Алеши задрожалъ, краска кинулась въ его блѣдное лицо.

Ермакъ простоялъ съ минуту, ничего не понимая, но потомъ, сообразивъ въ чемъ дѣло, радостно спросилъ:

— Голубчикъ! Да нешто ты съ нами хочешь?

— А то нѣтъ? А то нѣтъ?—такъ и вспыхнулъ, и задрожалъ всѣмъ своимъ стройнымъ тѣломъ Алеша. — Самъ вѣдаешь, не просился я къ вамъ, когда пришибли дядьку моего. Сами меня взяли, пріютили въ станѣ. Съ вами жилъ тутъ въ холѣ да довольствѣ. А нонѣ идете

вы, а меня здѣсь норовите оставить. Стало быть чужой я вамъ, стало ненужный... Вы подъ пулями да стрѣлами будете, а я въ холѣ да теплѣ... Слушай, атаманъ, вѣрно думаешь младъ я годами... Да нешто не силенъ я, гляди?.. Нешто не сумѣю ножомъ владѣть аль пищалью?.. Съ татарвой да прочей нечистью управиться не смогу? Вонъ Матвѣю только двадцать годовъ стукнуло, а въ мои годы онъ уже съ вольницей гулялъ по Волгѣ... Нешто я слабѣе его?..

Ермакъ съ восторгомъ глядѣлъ на взволнованнаго и негодующаго юношу и думалъ:

«Правда, силы и мощи въ немъ какъ у взрослаго, даромъ что семнадцатый пошелъ лишь годокъ. А все-же жутко брать его съ собою. Стрѣлы калены, сабли татарскія, ненастье да голодъ и моръ, Богъ вѣсть, што ждетъ удальцовъ смѣлыхъ тамъ, въ чужомъ, невѣдомомъ вражьемъ краю».

И, открывъ ротъ, онъ хотѣлъ уже было привести всѣ эти доводы юношѣ-князю, какъ тотъ, быстрѣе птицы, отскочилъ отъ него, выхватилъ изъ-за пояса небольшой чеканъ и съ силой взмахнулъ имъ надъ своей головою.

— Вотъ што будетъ, коли не возьмешь съ собой!— рѣзко вырвалось изъ груди Алексѣя.

Ермакъ вскрикнулъ отъ неожиданности и рванулся къ нему. Въ одинъ мигъ оружіе полетѣло на землю и сильныя руки атамана обняли бѣлокурую голову любимца.

— Берешь? Берешь, стало?—едва не задохнувшись вскричалъ Алеша и, прежде чѣмъ Ермакъ успѣлъ остановить его, упалъ въ ноги атаману и произнесъ съ восторгомъ:

— Вотъ спасибо!.. Вотъ спасибо!... А за это... за это жизнь мою возьми, коли надо, Ермакъ Тимофеичъ.

— Ишь, сердешный!—помимо воли умиленнымъ го-

лосомъ произнесъ Ермакъ и, помолчавъ немного, замѣтилъ, нахмурясь:

— Не гоже тебѣ, княжьему сыну, передо мной, мужикомъ-казакомъ, унижаться.

— Не мужику я кланяюсь, а славному храбрецу, казаку вольному, вождю будущей роты Сибирской, — сверкая глазами пылко вскричалъ сіявшій отъ счастья Алеша, не спуская восторженныхъ глазъ съ Ермака.

— Ну, коли такъ, паренекъ, коли любъ тебѣ станъ нашъ казачій, входи въ него съ Богомъ, будь, какъ и мы, казакомъ,—горячо произнесъ атаманъ, насильно поднимая съ земли милаго юношу.

У того глаза только вспыхнули новыми огнями.

— Берешь въ станъ!.. Господи!.. То-то радость!— роняли его губы.—Спасибо тебѣ, Василій Тимофеичъ!.. Вотъ спасибо!.. Пріютилъ ты меня, сироту, и научилъ любить волю казацкую, такъ неужто-жъ теперь, когда я вашимъ сталъ, неужто-жъ оттолкнуть мыслишь?

— Не оттолкнуть, миляга, а только,—нерѣшительно произнесъ Ермакъ,—а только обыклость [1] у насъ есть: изъ княжьяго да боярскаго роду въ станъ не принимать. Ну, да это мы уладимъ, мои ребята души не чаютъ въ тебѣ. А вотъ еще у насъ испоконъ вѣковъ обычай ведется: передъ всякимъ походомъ али дѣломъ великимъ прощать, отпускать грѣхи другъ другу, коли виновенъ кто передъ кѣмъ. А ты, паренекъ, Никиту Пана по сію пору простить не можешь, такъ какъ-же съ нами въ походъ-то на такое великое дѣло пойдешь?..—тихо усмѣхнувшись произнесъ Ермакъ.

Какъ подъ ударомъ хлыста дрогнулъ Алеша. По самому наболѣвшему мѣсту ударилъ его атаманъ.

Да, онъ правъ, этотъ могучій Ермакъ. Онъ, Алеша, ненавидитъ Никиту Пана за гибель дядьки. Ненавидитъ

[1] Обычай.

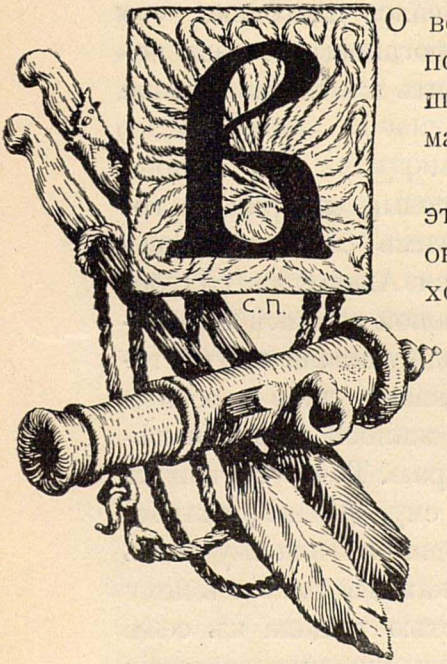
не менѣе тѣхъ, по чьей винѣ убитъ и дѣдушка-князь, бояринъ Серебряный-Оболенскій. Но развѣ время теперь ненавидѣть и мстить, когда они всѣ не сегодня-завтра пойдутъ на великій, страшный, богатырскій подвигъ? Недолго боролись разнородныя чувства въ душѣ Алексѣя. Юноша то краснѣлъ, то блѣднѣлъ, мѣняясь въ лицѣ. А Ермакъ, не отрываясь, слѣдилъ за этою игрою лица своимъ ястребинымъ взоромъ. Вотъ потупился и вспыхнулъ Алешинъ взглядъ, брови разгладились, разбѣжались съ высокаго юношескаго чела легкія морщины, и тихимъ, но твердымъ голосомъ онъ произнесъ:

— Коли Господь велѣлъ, прощу и его...

Ермакъ еще разъ крѣпко, какъ любимаго сына, обнялъ Алешу.

ГЛАВА III.

Любовь и горе.



О всей тебѣ Перми кралю не найти подъ пару, — сказалъ, усмѣхаясь, шутливо эту фразу казацкій атаманъ.

И сто разъ къ ряду повторялъ эту фразу взволнованный Алеша, пока онъ шелъ изъ казачьей станицы къ хорошо знакомому городку-острогу.

Ошибался Ермакъ. Нашло себѣ пару впечатлительное сердце Алеши. Нашло помимо исканій, помимо ожиданій.

Ужъ болѣе двухъ лѣтъ прошло съ той ночи, когда его, князя Алешу, безчувственнаго отыскали въ рощѣ Строгановскіе воротники и съ окровавленной отъ паденія головой принесли въ хоромы именитаго купца. И съ той самой ночи, когда онъ съ трудомъ открывалъ глаза и бредилъ убѣжавшей ди-

каркой и ея спасителемъ, и водилъ по горницѣ обезумѣвшимъ взоромъ, его воспаленные глаза встрѣчали сочувственный взоръ голубыхъ дѣвичьихъ глазокъ Танюши Строгановой. Она, съ няней Анфисой да съ бойкой Агашей, какъ умѣла, ухаживала за нимъ. Онъ чуть не умеръ, чуть не истекъ кровью тогда отъ толчка Имзеги. Но молодость и силы взяли свое, и Алеша оправился отъ своего недуга.

Семенъ Аникіевичъ съ племянниками не упрекнулъ его ни разу за самовольное распоряженіе плѣнной Алызгой. Дядя и племянники поняли, что не причастенъ въ этой винѣ красивый, синеглазый юноша, чуть было не поплатившійся жизнью за свою опрометчивость. И вмѣсто брани и упрековъ—ласки, заботы и любовь встрѣтили юнаго князька въ большихъ Строгановскихъ хоромахъ. И когда черезъ мѣсяцъ онъ поправился настолько, что могъ переселиться въ станицу, Строгановы не разъ повторяли свое приглашеніе приходить къ нимъ почаще въ городокъ.

Съ той поры «это» и началось.

Дѣтскія игры да забавы, веселыя жмурки да горѣлки въ обществѣ Агаши и другихъ сѣнныхъ дѣвушекъ заставили горячо привязаться Алешу къ голубоглазой, веселой и ласковой Танѣ, юной хозяйкѣ Строгановскихъ хоромъ. Вмѣстѣ они подшучивали надъ старушкой-няней, вмѣстѣ слушали ея сказки, либо разсказы стараго Евстигнея о томъ, какъ жилось еще при дѣдушкѣ Аникѣ въ Приперсидскомъ краю. Точно сестричка родная стала дорогой да близкой ему, Алешѣ, голубоглазая Танюша Строганова. И Танюша платила ему тѣмъ же. Съ восторгомъ выбѣгала она каждый разъ къ нему навстрѣчу, съ нескрываемою радостью тащила къ себѣ въ свѣтлицу или въ садъ, гдѣ ихъ ждали всегдашнія участницы ихъ забавъ и игръ и въ обществѣ Алеши считала себя самой счастливой.

Прошли мѣсяцы—и миловидная голубоглазая дѣвушка-подростокъ превратилась въ стройную дѣвушку, красивую и пригожую, какъ Божій день.

. . . . . .

— Наконецъ-то!.. А мы-то ждали, ждали... Инъ Агаша мыслила, што и не придешь,—и Танюша Строганова со всѣхъ ногъ кинулась навстрѣчу показавшемуся на садовой дорожкѣ Алексѣю.

Агаша и другія дѣвушки, находившіяся подлѣ молоденькой хозяйки, низко поклонились вновь пришедшему въ поясъ.

Ихъ свѣжія, молодыя лица, пестрые лѣтники, хитро расшитые дѣвичьи вѣнцы на головахъ, яркія ленты да бусы, на которыхъ играло августовское солнце, все это придавало какой-то праздничный видъ густо разросшемуся и тѣнистому Строгановскому саду. Но этотъ-то праздничный видъ, эта пышная зелень и солнце, и веселыя, привѣтливыя лица, улыбающіяся Алешѣ радостно и гостепріимно, почему-то больно кольнули въ сердце юноши. Онъ нахмурился.

— Батюшки, какъ грозно!.. Аль тебя муха укусила, Алексѣй свѣтъ Семеновичъ-князенька?—весело разсмѣялась Танюша при видѣ его омрачившагося лица.

Высокая, рослая, съ голубою поволокою очей, съ бѣлымъ личикомъ и розовыми щеками, не знавшими бѣлилъ и румянъ, употребляемыхъ въ то отдаленное время почти всѣми знатными женщинами и дѣвушками, Танюша Строганова была очень хороша собою. Она вполнѣ олицетворяла собою ту русскую красавицу, типъ которой воспѣвается и до нынѣ въ старинныхъ русскихъ пѣсняхъ и былинахъ. Толстая, почти что до пятъ, русая коса, заплетенная въ нѣсколько десятковъ прядей, оттягивая красивую голову, придавала ей какой-то задорный и еще болѣе милый видъ.

— Ай-ай-ай! Сычомъ какимъ глядитъ и не улыб-

нется! — снова громко расхохоталась дѣвушка, глядя въ серьезное, нахмуренное лицо Алеши.

— Есть о чемъ призадуматься, боярышня, — отвѣчалъ онъ, нехотя, мимолетно взглянувъ на нее.

— А со мной подѣлиться не хошь думками своими?— лукаво вскинула на него глазками Таня.

Юный князь смущенно поглядѣлъ на толпившихся вокругъ нихъ дѣвушекъ.

Таня сразу поняла этотъ взглядъ.

— Вотъ што, Агаша, — шепнула она своей ближайшей подругѣ, которая, послѣ побѣга неблагодарной Алызги, прочно заняла ея мѣсто въ сердцѣ Тани, — вотъ што, милая, отведи ты дѣвушекъ въ сторонку, да хороводы заведи съ ими. Видишь, Алексѣй Семенычъ словцомъ со мной перемолвиться хочетъ.

Черноокая, хорошенькая Агаша только усмѣхнулась въ отвѣтъ, повела бровями и весело крикнула во весь голосъ:

— Ну, дѣвоньки, айда, вразсыпную! Догоняй меня!

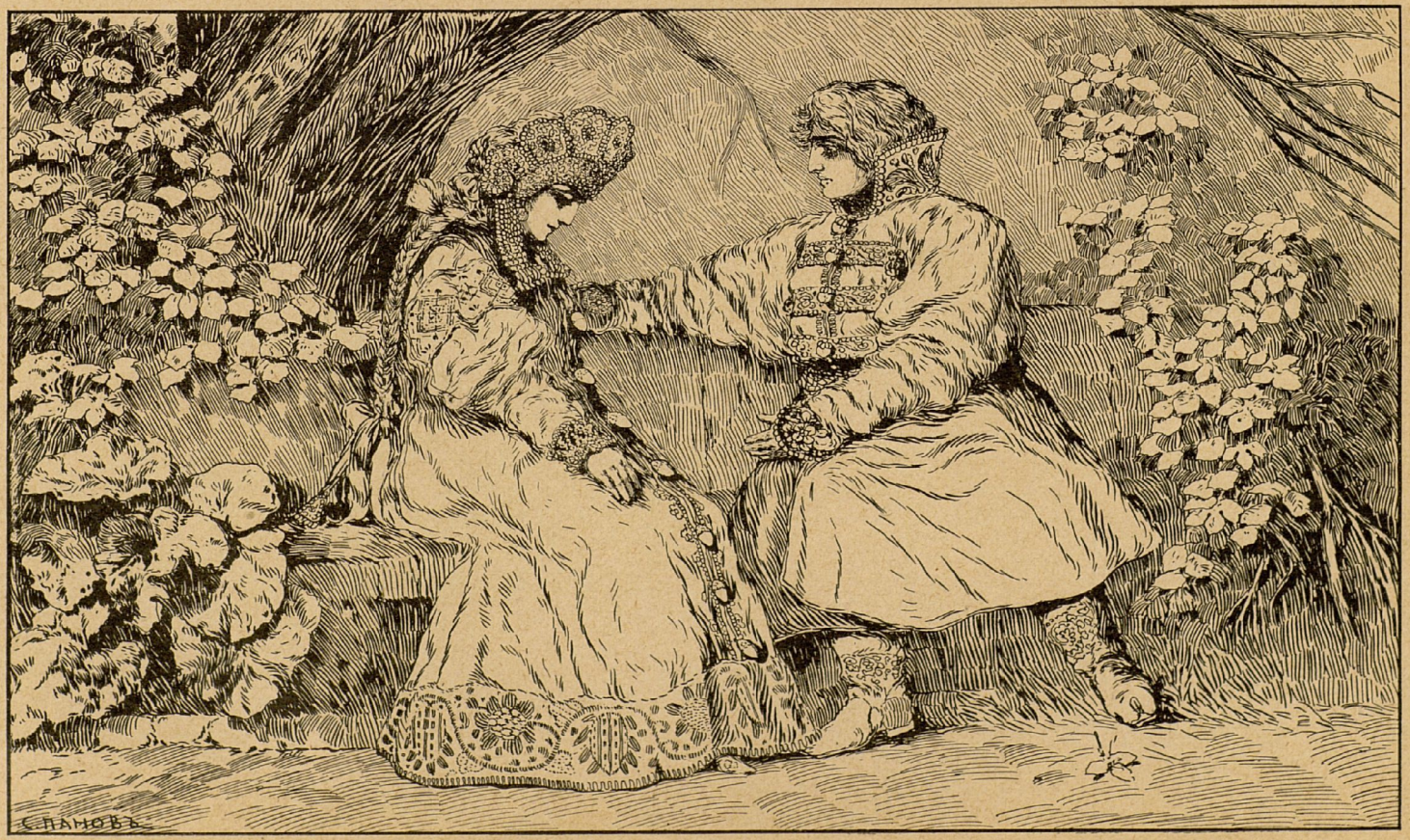
И первая кинулась бѣжать во весь духъ.

За нею понеслись и остальныя.

Алеша и Таня остались одни.

— Што ты больно не веселъ, князенька? — участливо проговорила Строганова, пытливо вглядываясь ласковыми голубыми глазами въ лицо своего друга.

Алеша криво усмѣхнулся. Онъ самъ едва-ли понималъ, что сталось съ нимъ. Онъ шелъ сюда полный радостныхъ, свѣтлыхъ надеждъ, полный страстнаго нетерпѣнія подѣлиться какъ можно скорѣе своимъ счастьемъ съ этой милой голубоглазой Танюшей. Онъ едва не прыгалъ, идучи сюда, по дорогѣ, какъ ребенокъ, какъ мальчикъ... Походъ на Сибирь и принятіе его въ вольницу, надежда послужить вмѣстѣ съ другими родинѣ—все это жаромъ, полымемъ опаляло его сердце.



— Што ты!.. Што ты, родимая? Очнись, приди въ себя...

И вотъ онъ увидѣлъ Танюшу, теперь можетъ подѣлиться съ нею... Такъ почему-же ноетъ такъ остро его грудь? Почему такъ больно сжимается сердце? Онъ самъ этого не могъ понять. Молчаливый, грустный опустился онъ подлѣ дѣвушки на скамью.

Вокругъ нихъ было хорошо и уютно. Играло солнце въ кружевѣ листвы, пѣли пташки, малиновки да пичужки, сладкими голосами. Трава пышнымъ ковромъ стлалась на полянкѣ. Веселые, звонкіе голоса дѣвушекъ наполняли садъ.

А на душѣ Алеши тоска и грусть непонятная.

И Танюша при видѣ задумчивости князя сама точно потускнѣла, померкла, съ серьезнымъ, встревоженнымъ личикомъ повернулась къ нему.

— Зачѣмъ у васъ кругъ собирали? — спрашиваетъ она, чтобы хоть чѣмъ-нибудь прервать докучное молчаніе.

Алеша поднялъ голову, встрепенулся, ожилъ.

— На Кучумку идемъ, воевать Сибирское царство,— съ замѣтной гордостью произнесъ онъ и весь загорѣлся.

Таня даже ротъ открыла отъ изумленія, такъ дика и невозможна показалась ей эта мысль.

— Да што ты! Што ты, князенька! Окстись! Что говоришь-то! Да нешто можно на Кучумку! Вашихъ-то капля, а евоные что твоя саранча, — голосомъ, упавшимъ до шопота, пролепетала дѣвушка.

— Дядя твой помощь намъ дастъ, Татьяна Григорьевна, — пушки, пищали да людишекъ какихъ. Да насъ-то съ пять ста съ лишкой будетъ. Такъ нешто не одолѣть!

И его глаза вспыхнули новыми горделивыми огоньками.

— Да что ты заладилъ «мы» да «мы»!—вдругъ неожиданно разсердилась Таня, — ты-то что это ерепѣнишься? Ну, пойдетъ вольница, а ты што...

— И я съ нею пойду, Таня, — восторженно произнесъ Алексѣй.

Испуганный крикъ вырвался изъ груди дѣвушки. Вся бѣлая, какъ бѣлые рукава ея кисейной рубахи, стояла она теперь передъ нимъ, дрожа и волнуясь, и роняла чуть слышнымъ отъ волненія голосомъ:

— Ты съ ими?.. На Кучумку... въ Сибирь... на гибель... на смерть... ты, Алеша... желанненькій... милый...

И, какъ подкошенная былинка, едва не лишаясь чувствъ, опустилась на скамью.

Испуганный, не менѣе дѣвушки, князь обхватилъ ея станъ рукою и, придерживая Таню, ласково прошепталъ:

— Желанная!.. Пташечка!.. Голубка моя милая!.. Што ты!.. Што ты, родимая? Очнись, приди въ себя...

Но она только схватилась за голову и почти простонала въ голосъ:

— Уйдешь!.. Уѣдешь!.. Не вернешься!.. Стрѣлы у нихъ каленыя... наговорныя пики у нихъ. Нехристи они... бесермены... Убьютъ они тебя, убьютъ!..

И она разразилась глухимъ, судорожнымъ рыданіемъ.

Но странно: это рыданіе, это отчаяніе не смутили, не пали камнемъ на сердце Алексѣя. Напротивъ, его недавней непонятной тоски какъ не бывало.

И чѣмъ горче рыдала Таня, тѣмъ свѣтлѣе и радостнѣе становилось у него на душѣ. Теперь онъ понялъ все. Понялъ и тоску свою, и боль, охватившую его пять минутъ назадъ въ густо разросшейся чащѣ сада.

Ему жаль было покинуть ее, эту обычно веселую, милую, ласковую дѣвушку, ангеломъ-хранителемъ явившуюся на его пути. Онъ боялся, что уѣдетъ въ далекое сибирское царство, и забудетъ его голубоглазая Таня, выкинетъ изъ памяти своей. Незамѣтно и тихо под-

кралась къ его сердцу любовь къ этой красивой дѣвушкѣ съ голубыми очами и толстой русой косой. Она плачетъ, горько плачетъ теперь. Плачетъ потому, что и она его любитъ, эта красавица Таня, и боится потерять его навсегда.

Огромная, могучая волна неземного счастья ворвалась въ его душу, захватила его. Онъ крѣпче обнялъ дѣвушку и заговорилъ, заговорилъ такъ, какъ никогда въ жизни не говорилъ еще князь Алеша Серебряный-Оболенскій:

— Желанная... слушай... люблю я тебя... Люблю пуще солнышка краснаго, пуще майскаго дня... Какъ жизнь и радость люблю... Танюша, голубка, не тоскуй, не плачь... Вѣдай одно — молодъ я, юноша годами, а горячо и сильно умѣетъ мое сердце любить тебя... Пуще сестрички родимой люблю тебя, Татьяна Григорьевна... Такъ-бы сейчасъ и кинулся къ дядѣ твоему, Семену Аникіевичу, такъ-бы и крикнулъ во весь голосъ: «отдай за меня крестницу, именитый купецъ»... Да засмѣетъ меня дядя... Што я теперь?.. Разбойницкій пріемышъ, дитя вольницы казацкой, самъ вольный казакъ. Небось, похватаютъ вольницу и меня со всѣми лютой казнью казнятъ... Такого-ль мужа тебѣ надо, красавица?.. А то-ли дѣло, милая, перейду съ казаками за Сибирскій рубежъ, буду съ ними во всѣхъ схваткахъ да бояхъ биться... Опрокинемъ мы Кучумку-нехристя, побѣдимъ бесерменовъ, принесемъ царство сибирское къ подножью трона Московскаго, заслужимъ милость народа и государя... И тогда... тогда, люба моя, съ почетомъ и радостью встрѣтитъ насъ и русскій народъ, и дядя твой съ охотой отдастъ свою крестницу за ближняго человѣка, будущаго покорителя Сибирскаго Юрта! — пылко заключилъ свою рѣчь Алеша и смѣло заглянулъ въ голубыя очи своей собесѣдницы.

Въ нихъ не было теперь слезъ, въ этихъ радостно

засіявшихъ голубыхъ очахъ. Все личико Тани точно преобразилось. Восторженнымъ взглядомъ впилась она въ лицо своего суженаго, и этотъ восторженный взоръ, казалось, говорилъ:

«Глядите, какой онъ у меня, соколъ мой, гордость моя, голубь сизокрылый!»

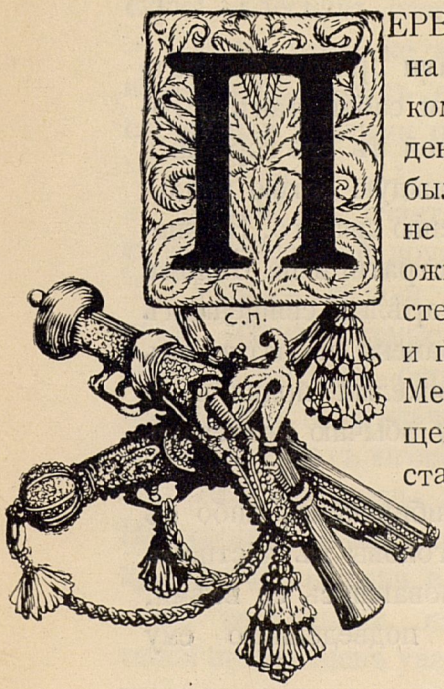
И чуть слышно шепнула, сама загораясь его воодушевленіемъ:

— Ступай, голубчикъ!.. Ступай!.. Господь съ тобою!.. Воюй съ Кучумомъ, съ югорами!.. Сослужи народу русскому... А я... я буду здѣсь дожидаться тебя да Богу молиться за тебя, голубчикъ мой, радостный, счастье мое!..

И крѣпко, крѣпко обняла склонившуюся къ ней пригожую, кудрявую голову князя...

ГЛАВА IV.

Въ походъ.



ПЕРВОЕ сентября 1551 года выдалось на Руси славнымъ солнечнымъ деньком жаркаго бабьяго лѣта. Этотъ день, празднованіе новаго года [1], трудно было узнать въ раннее, теплое, совсѣмъ не осеннее, сентябрьское утро. Суетня, оживленіе и шумъ царили вокругъ. Сама степь, окружавшая варницы, городокъ и поселки, казалось, оживилась тоже. Между острогомъ и поселкомъ, обращеннымъ съ приходомъ казаковъ въ станицу, была собрана рать, готовая къ походу, вѣрнѣе ничтожная горсть смѣльчаковъ, дерзнувшая вооружиться на покореніе Сибирскаго царства. Правда, эта горсть безшабашно удалой дружины была вооружена на-славу. Строгановы не поскупились, снабдили маленькій отрядъ пушками, пищалями,

[1] Въ то время новый годъ праздновали на Руси 1-го сентября.

самопалами, порохомъ и свинцомъ, дали и съѣстныхъ припасовъ, и одежды, и холоднаго оружія; кромѣ того они дали Ермаку 300 человѣкъ литовцевъ и ливонцевъ, изъ плѣнныхъ поселенцевъ, присланныхъ сюда изъ Москвы, да мирныхъ татаръ и югровъ, данниковъ русскаго царя. Такимъ образомъ набралось около 840 человѣкъ воиновъ у Ермака Тимофеича, въ томъ числѣ не мало толмачей (переводчиковъ) и вожжей, какъ назывались проводники въ то время. Дали Строгановы даже трехъ священниковъ для выполненія православныхъ требъ въ походѣ и въ новой землѣ сибирской, которую такъ страстно жаждалъ покорить Ермакъ.

На Чусовой же рѣкѣ, въ нѣсколькихъ переходахъ отъ поселковъ, отрядъ ждали обильные запасы, уложенные въ струги и барки, на которыхъ должны были волокомъ [1] плыть казаки.

Солнце веселыми, жаркими лучами пригрѣвало ратниковъ. Топоры, кистени, чеканы и сабли такъ и горѣли, и переливались милліонами огней въ его горячихъ лучахъ. Тихо рѣяли знамена. На каждую сотню удальцовъ было заготовлено по изображенію святого. На знамени Ермака былъ крылатый архистратигъ на бѣломъ конѣ, окруженный облаками. Престарѣлый священникъ отслужилъ молебенъ, окропилъ знамена и ратниковъ святою водою, благословилъ на тяжелый подвигъ. И вотъ низко поклонился по русскому обычаю хозяевамъ Ермакъ.

— Ждите либо съ царствомъ сибирскимъ, либо съ вѣстью о томъ, што погибли наши головы въ честномъ бою, — произнесъ онъ, трижды поцѣловавшись со всѣми, потомъ лихо вскочилъ на коня, подведеннаго ему однимъ изъ казаковъ.

— Съ Богомъ, ребята! — бодро крикнулъ онъ.

[1] Тянуть суда на бичевахъ при помощи поставленныхъ на то людей, которые идутъ по берегу или ѣдутъ на коняхъ, обмотавъ вокругъ себя веревки.

Тихо, въ благоговѣйномъ молчаніи двинулась рать. Стройными рядами выступали сотня за сотней...

На золотыхъ древкахъ и аломъ бархатѣ стяговъ играло солнце.

— Съ Богомъ, ребятушки! Послужимъ православному народу русскому да батюшкѣ-царю! — еще разъ прозвучалъ мощный голосъ Ермака, какъ только дружина, миновавъ свою станицу, вышла къ побережью, держа путь къ стругамъ, ожидавшимъ ихъ на рѣкѣ въ нѣсколькихъ десяткахъ переходовъ отъ главнаго Строгановскаго острога.

— Съ Богомъ!—отозвалась, какъ одинъ человѣкъ, вольная дружина, и всѣ глаза съ радостью и надеждой впились въ молодца-атамана.

— А теперь, ребятушки, грянемъ нашу поволжскую!—блеснувъ глазами крикнулъ Ермакъ.

И въ тотъ же мигъ волною разлилась по степи, замирая въ лѣсахъ окрестныхъ, лихая казацкая пѣснь, сложенная удалыми поволжскими молодцами.

. . . . . .

Но не въ счастливый день двинулся, очевидно, со своей небольшой дружиной Ермакъ.

Утромъ казаки вышли изъ Строгановскихъ городковъ, напутствуемые пожеланіями и привѣтствіями хозяевъ и жителей окрестныхъ поселковъ, смотрѣвшихъ на эту горсть смѣльчаковъ, какъ на своихъ спасителей, избавителей отъ югорскихъ дикарей, а въ ночь съ 1-го на 2-е сентября толпы дикарей, подъ предводительствомъ Пелымскаго князя, обрушились огромною толпою на прикамскіе поселки и городки, сожгли села съ варницами, мельницами, пашнями, со всѣми угодьями, а жителей-поселенцевъ увели въ плѣнъ. Семенъ Аникіевичъ съ племянниками отправилъ вслѣдъ за этимъ грамоту царю съ жалобой на вогуличей, разорившихъ посады, и съ просьбою прислать на помощь ратниковъ для охраны

отъ дикарей. Почти одновременно съ этой челобитной полетѣлъ и доносъ на Строгановыхъ къ Московскому царю. Чердынскій воевода, Василій Перепилицынъ, не ладившій со Строгановыми, донесъ грамотой царю, что послѣдніе послали казаковъ на Сибирь и Кучума и тѣмъ лишили казаковъ возможности охранять Чердынскій край, на который не замедлили обрушиться вогуличи, остяки и черемисы.

Грозную грамоту отправилъ тогда царь Іоаннъ Васильевичъ Строгановымъ съ воиномъ Аничковымъ.

Этому Аничкову было также поручено догнать ушедшихъ на Сибирь казаковъ, взять ихъ и привести частью въ Пермь, частью въ Камское Усолье, гдѣ и приказано имъ стоять для защиты, а зимою на нартахъ [1] съѣздить на Пелымскаго князя.

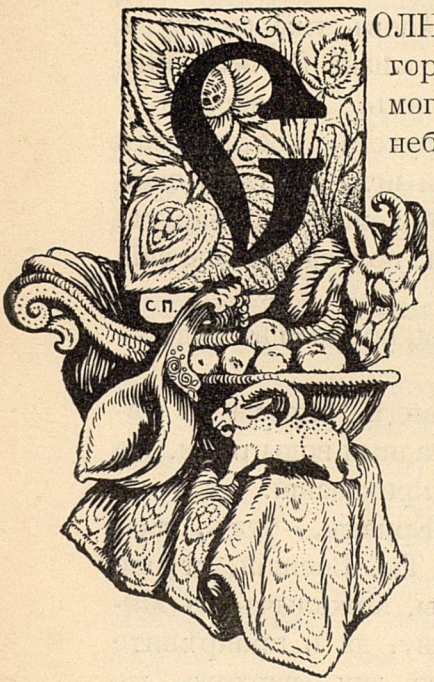
«Непремѣнно по этой нашей грамотѣ, — писалъ Іоаннъ, — отошлите на Чердынь всѣхъ казаковъ, какъ только они къ вамъ съ войны возвратятся, а у себя ихъ не держите. А не вышлете изъ остроговъ своихъ въ Пермь волжскихъ казаковъ, атамана Ермака Тимофеева съ товарищами, будете держать у себя и пермскихъ мѣстъ не будете оберегать и, если такой вашею измѣною, что впередъ случится надъ пермскими мѣстами отъ вогуличей, пелымцевъ и сибирскаго салтана, то мы за это на васъ опалу свою положимъ большую, атамановъ же и казаковъ, которые слушали васъ и вамъ служили, а нашу землю выдали, велимъ перевѣшать».

Но отправленный съ грамотой воинъ Аничковъ не могъ выполнить порученіе царя и вернуть Ермака съ его казаками. Вольная дружина была уже далеко на пути въ Сибирь...

[1] Сибирскія сани, которыя запрягаются собаками и оленями.

ГЛАВА V.

Первые дни.—Каменный гигантъ.—Тайна сердца.



СОЛНЦЕ... рѣка и небо... Вдали синѣетъ гордый Уральскій хребетъ, словно могучій старикъ, простершій руки къ небесамъ. Густые кедровые лѣса темной шапкой накрыли стараго красавца. А отъ него, конусообразной волной, бѣгутъ зеленые холмы, покатые и острые. Вплоть до самой рѣки Чусовой бѣгутъ эти холмы, точно рѣки, посыпанные розовымъ и лилово-алымъ цвѣтомъ богульника и богородицыной травки. Кусты боярышника, черемухи, ольхи густо разрослись надъ берегомъ. Прохладу и тѣнь даютъ они.

Несмотря на начало осени нестерпимо паритъ солнце, ярко освѣщая грандіозныя картины пышной, могучей природы.

Умаялись казаки. Дно Чусовой каменисто и мелко. Грести невозможно. Совсѣмъ выбились изъ силъ. А

тутъ еще паритъ, точно въ самомъ разгарѣ лѣта. Бросили весла, натянули бичевы, волокомъ тянутъ струги да лодки. И то не помогаетъ. Потъ градомъ льется съ добровольныхъ бурлаковъ. И вдругъ стопъ. Затрещали снасти, остановились струги: сѣли на мель.

— Стой, братцы! — несется знакомый каждому казацкому сердцу любимый голосъ.

— Стой! Снимай паруса! Давай запруду дѣлать.

Недоумѣвающе глянули казаки на своего батьку — диковинное что-то замыслилъ Ермакъ. Но имъ не привыкать стать подчиняться каждому слову молодца-атамана. Чтобы ни приказалъ онъ, безропотно исполняютъ они. Сами выбрали его надъ собою главаремъ за удаль, за отвагу, за мудрость и лихость безъ конца.

И старый волкъ, Яковъ Михайловъ уже смекнулъ въ чемъ дѣло. Не даромъ всю свою жизнь провелъ онъ на рѣчныхъ разбойныхъ промыслахъ. Пособралъ у молодцовъ паруса съ ближнихъ струговъ, досталъ изъ мошны толстую съ сученой ниткой иглу и сталъ сшивать полотнища холстины, употребляемыя на паруса. Вскорѣ вышла огромная холщевая полоса, гигантскій свивальникъ.

— Ну, робя, кто охочъ купаться, полѣзай въ воду, — пошутилъ Ермакъ.

И тотчасъ же, какъ по командѣ, спрыгнуло нѣсколько молодцовъ прямо въ прохладныя воды рѣки. По поясъ въ водѣ они ждали новыхъ приказаній.

— Ишь мелко...—усмѣхнулся Ермакъ, — тутъ, значитъ, моя затѣя сподручна будетъ. Ты, Василій, ступай съ Гвоздемъ къ правому берегу, ты, Михалычъ, съ Миколкой къ лѣвому, волоки холстину, да и прикрѣпите поладнѣе ее, робята, камнемъ ко дну, верхомъ къ осокѣ. Вотъ и будетъ запруда у насъ, любо-дорого...

Съ веселымъ гомономъ принялись казаки за работу, и въ какой-нибудь часъ парусная преграда легла между

двумя берегами, прорѣзавъ воды рѣки. Вода, задержанная въ своемъ теченіи, сразу остановилась, стала подниматься выше, выше. Поднялись и струги съ нею заодно.

— Ой, славно! — весело крикнули съ берега бичевники, почувствовавшіе облегченіе тащить струги.

— Да и молодчинища-же атаманъ нашъ! Гораздъ башковатый!—отозвались казаки, сидѣвшіе въ челнахъ.

Нѣмцы и литовцы, сидѣвшіе въ дальнихъ стругахъ, только одобрительно качали головой.

— Іокъ, хороша бачка, больно хороша!—на своемъ странномъ говорѣ одобряли Ермака татарскіе воины, входившіе въ составъ Ермаковой дружины.

А Ермакъ даже и не слышалъ этихъ похвалъ. Его быстрые глаза уже вперились въ даль и, не отрываясь, глядѣли на что-то, что находилось тамъ впереди.

Солнце медленно садилось. Темная шапка отдаленнаго Урала уже потемнѣла. Сѣрыя громады подернулись дымкой сумерекъ. Таинственнѣе и глуше зашептала прибрежная осока. Стало замѣтно темнѣть.

— Придохнуть-бы малость, поискать ночевки, — нерѣшительно заикнулся кто-то въ лодкѣ Ермака.

Но тотъ попрежнему ничего не слышалъ, и глаза его попрежнему зорко впивались въ сумерки.

— Штой-то съ атаманомъ?—чуть слышно обратился Мещерякъ къ Пану, сидѣвшему съ нимъ въ одной лодкѣ,—неужто татарву-нечисть почуялъ?

— Гдѣ тебѣ! Нешто они сюда сунутся! Еще не Сибирь это,—презрительно усмѣхнулся Панъ.—Трусы! Собаки! Небось, помнишь, какъ на Сылву мы лѣтось ходили, какъ они подъ Кунгуромъ стрекача задавали?.. А?..

— Да то буряты, а «казаки»[1] Кучумкины, тѣ отчаян-

[1] Киргизъ-кайсаки.

ные такіе. Вона поселенцы сказывали, съ ихнимъ Маметъ-Куломъ на рѣзню такъ и прутъ.

— Гляди, Мещеря, а атаманъ все смотритъ... Што за притча! Ужъ время къ берегу приставать, кашу варить, готовить ночевку,—снова нетерпѣливо произнесъ Никита Панъ.

— Поспрошать-бы Алешу, што попритчилось батькѣ,—нерѣшительно замѣтилъ Матвѣй.

Но заинтересованнымъ казакамъ не пришлось обращаться за разъясненіемъ къ юному князю, находившемуся въ одномъ стругѣ съ Ермакомъ. Самъ Ермакъ окликнулъ въ эту минуту задумавшагося юношу.

— Алеша, глянь-ка туды, сердешный. Глаза-то у тебя вострые, молодые, позорчѣе будутъ моихъ... Што за чудище, инъ, бѣлѣется вдали?

И онъ, протянувъ руку, указалъ вверхъ по рѣкѣ.

Алеша сталъ пристально вглядываться въ даль. Что-то сѣрое, огромное, безобразное почудилось ему въ спустившихся сентябрьскихъ сумеркахъ короткаго дня—не то острогъ, не то башня, а то и великанъ, простершій руки къ небесамъ.

— Должно, атаманъ, городокъ татарскій,—сдѣлалъ свое предположеніе Алексѣй.

Но тотъ только усмѣхнулся.

— Эхъ, молодо-зелено, князенька! Гдѣ-жъ ты городокъ увидалъ? Небось, сердце къ бою рвется, и на каждомъ шагу городки татарскіе мерещатся... Нѣтъ, братъ Алексѣй, сплоховали глазыньки твои,—дружески улыбнулся онъ сконфуженному Алешѣ. — Не городокъ это, нѣтъ, вѣрно тебѣ говорю.

Замолкъ Ермакъ, а струги все плыли, и ночь сгущалась. Все явственнѣе и явственнѣе обозначалась въ сентябрьскихъ сумеркахъ безобразная громада вдали. Вотъ подплыли къ ней струги, и въ голосъ ахнула

вольная дружина. Огромная сѣрая скала-великанъ исполинскимъ утесомъ повисла надъ рѣкою.

— При-ста-вай!—пронеслась могучимъ крикомъ команда Ермака.

Струги пристали. Дружина вышла на берегъ. Съ какимъ-то благоговѣйнымъ изумленіемъ оглядывали казаки огромную скалу. Она имѣла около 25 саженъ въ вышину и 30 въ длину.

Но этимъ еще не окончилось ихъ недоумѣніе.

— Гляньте-ка, братцы, входъ есть! — крикнулъ радостный голосъ Мещеряка, и онъ первый пролѣзъ въ небольшое отверстіе, чернѣвшее у самаго подножія гиганта. За нимъ опрометью кинулся Алеша.

— Лучину возьми, мало-ль што бываетъ, — едва успѣлъ крикнуть Ермакъ.

Кто-то изъ казаковъ, успѣвшій высѣчь огня и зажечь лучины, роздалъ ихъ товарищамъ и всѣ, одинъ за другимъ, проникли во внутренность пещеры. Вошли, оглядѣлись, и крикъ восторга вырвался изъ всѣхъ грудей: длинный рядъ самодѣльныхъ покоевъ представился взорамъ присутствующихъ. Сама природа, казалось, позаботилась устроить этотъ великолѣпный дворецъ. Пещеры и переходы смѣнялись просторными залами со сводчатыми потолками. И все это ярко поблескивало при свѣтѣ лучинъ, переливаясь огнями, дробясь сотнями, тысячами, милліардами искръ. Это была исполинская солончаковая пещера, угрюмымъ сторожемъ охранявшая верховье рѣки.

— Знатныя хоромы!.. У самого Кучумки, поди, не бывало таковскихъ! — шутилъ атаманъ.—А нут-ка, братцы, разводи костры и тащи припасы. По-царски мы здѣсь проведемъ ночку.

Загорѣлись костры, обливая яркимъ пламенемъ стѣны пещеры. Рубинами, алмазами заискрились онѣ... Разостлали потники, усѣлись вокругъ костровъ... Заки-

пѣли котлы. Подоспѣлъ ужинъ. Серебряная чарка съ «хмѣлевой» обошла дружину. Разрѣшилъ на радостяхъ пропустить «малую толику» Ермакъ, обычно не терпѣвшій въ походѣ пьянства и бражничанья. Поужинавъ, улеглись спать казаки. Усталые, сытые и довольные своимъ роскошнымъ пристанищемъ, они уснули въ эту ночь крѣпко, какъ убитые.

Богатырскимъ храпомъ наполнилась пещера... Костры потухли и только слабо тлѣли... Красноватые огоньки чуть озаряли внутренность огромныхъ каменныхъ покоевъ... На разостланныхъ потникахъ, подложивъ мѣшки съ запасной одеждой подъ головы, растянулись спящіе казаки. Уснуло все...

Не спалъ одинъ Алеша, князь Серебряный-Оболенскій. Докучныя думы не давали ему покоя. Въ мерцающемъ алыми огоньками догоравшихъ углей полумракѣ ему грезился милый, далекій образъ голубоглазой Танюши Строгановой, его послѣднее прощаніе съ нею. Передъ самымъ напутственнымъ молебствіемъ забѣжалъ Алеша къ хозяевамъ острога. Въ хорошенькой дѣвичьей свѣтелкѣ нашелъ Таню. Она была не одна. Дядя Семенъ Аникіевичъ сидѣлъ у своей любимицы. По исключительно ласковому пріему, оказанному старикомъ Алешѣ, юный князь понялъ, что именитый Строгановъ знаетъ истину. Какъ родного обнялъ старикъ юнаго князя.

— Вѣдомо мнѣ все, все вѣдомо, — произнесъ онъ умиленно, трижды цѣлуя юношу. — Все мнѣ разсказала стрекоза моя. Ну, што-жъ, Божья воля! Совѣтъ вамъ да любовь, милые. Съ радостью отдамъ за тебя мою Татьяну. За честь сочту породниться со славнымъ родомъ князей Оболенскихъ. И то сказать, подъ пару вы оба — сироты круглые, а сиротамъ Господь помогаетъ. Такъ-то, Алешенька. Съ похода вернешься, прославишься, батюшкѣ-царю челомъ ударишь, гляди, взыщетъ еще за гибель дѣда твоего со злодѣевъ-опричниковъ, а тебѣ великій почетъ воздастъ.

— Не надо мнѣ почету, Семенъ Аникіевичъ. Дѣдовой гибели мнѣ вѣкъ не забыть. А до почестей-то я не больно охочъ. Отдай за меня Татьяну Григорьевну, коли я добуду честью руки ея, поселимся мы здѣсь, въ тиши Сольвычегодской, подалѣ отъ злыхъ людей да печальныхъ мѣстъ,—уклончиво отвѣчалъ Алексѣй.

Еще крѣпче, еще нѣжнѣе обнялъ его за эти рѣчи Строгановъ. Обняла его слѣдомъ за нимъ и Танюша.

— Вертайся скорѣича, а я ждать денно и нощно буду,—шепнула она своимъ милымъ голоскомъ.

И въ тиши огромной пещеры слышится теперь этотъ милый голосокъ Алешѣ. Стоитъ, точно въ-явь, передъ нимъ стройный обликъ съ голубыми очами, съ длинной и толстой косой. И непреодолимо хочется ему увидать ее теперь, тотчасъ-же... Но невозможно, несбыточно это.

— Тяжело!—помимо воли срывается съ губъ юноши.

— Што ты, братику? Неможется, што-ли?—заботливо спрашиваетъ его проснувшійся Матвѣй.

— Ахъ, Мещеря,—печально роняютъ губы Алеши,—тоска какая... Сердце заныло, мочи нѣтъ... Татьяна Григорьевна видится въ-явь, ну, вотъ-вотъ, точно живая...

— Эхъ, ты, молодость!—добро и снисходительно разсмѣялся Мещерякъ, — зазноба сердешная не даетъ покоя... А вѣдь съ чего и кручиниться больно?.. Вернешься съ похода, повѣнчаетъ васъ попъ, станете жить-поживать да добра наживать. Ждетъ тебя твоя люба, тоскуетъ по тебѣ... Не то, что я... по мнѣ то никто, небось, не тоскуетъ... — тихо, чуть слышно заключилъ Мещерякъ.

— Ну, такъ што же?.. Вѣдь и ты ни по комъ не тоскуешь,—произнесъ, поднимаясь со своего потника и подсаживаясь къ нему, Алеша.—Вѣдь твое ретивое ни по комъ не болитъ, Мещерякъ?

— Болитъ, — несвойственнымъ ему робкимъ звукомъ проронилъ черноглазый молодой казакъ. И, какъ бы разомъ стряхнувшись, заговорилъ тихо, невнятно:

— Видалъ, чай, нерѣдко боярышни Строгановой, невѣсты твоей, ближнюю дѣвушку...

— Агашу-то?.. Еще бы!.. Какъ не видать!.. Такъ неужто-жъ ее полюбилъ ты, Матюша?

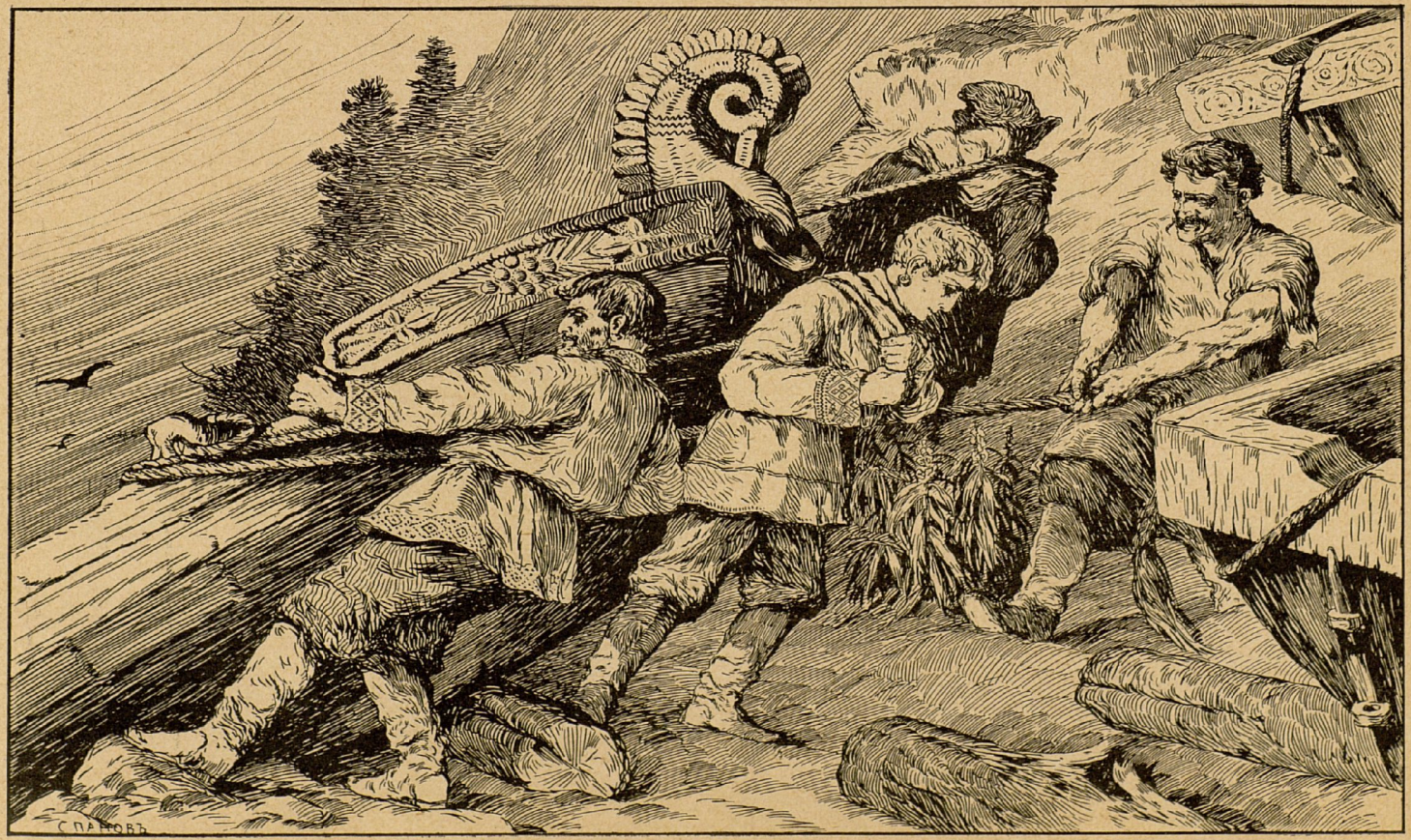
— Ее,—тихо прозвучалъ отвѣтъ.

— Ну и скрытенъ же ты, парень! А мнѣ ни слова,— упрекнулъ друга Алеша.

— Не спроста молчалъ, — взволнованно, горячо началъ Мещерякъ. — Ты вонъ хошь сейчасъ можешь въ окрутку съ твоей невѣстой. Ты именитый, славнородный князь, боярскій внукъ и кажиная дѣвушка съ тобой вѣнчаться за честь приметъ. А я... нешто могу я кралѣ моей сказать: «выходи за меня, желанная». — «А кто ты?» — спроситъ. — «Поволжскій разбойникъ, душегубъ ночной, погубитель», — вотъ што могу отвѣтить любѣ моей, — съ плохо скрытою горечью заключилъ казакъ.

— Нѣтъ, милый, не душегубъ я, — помолчавъ съ минуту подхватилъ онъ снова, — хошь и виновенъ я, што гулялъ съ вольницей на Волгѣ да Дону... Отецъ мой вмѣстяхъ со мной, малолѣткомъ, пошелъ къ казакамъ и меня, мальчонка, съ собой привелъ... Нехотя сдѣлался я станичникомъ... А все же не женой разбойника быть моей Агашѣ. Вотъ покоримъ съ атаманомъ Сибирь, съ мѣхами, соболями да куньими зашлю сватовъ къ моей кралѣ и велю сказать имъ: «храбрый казакъ-воинъ, одинъ изъ воителей сибирскихъ, проситъ тебя въ жены, дѣвица-душа»... Инъ, это особь статья будетъ. Дружинникомъ славнымъ не побрезгаетъ Агаша, — сверкая въ темнотѣ разгорѣвшимся взоромъ заключилъ Мещерякъ.

Уголья въ кострахъ вспыхнули и погасли. Полная, непросвѣтная тьма окутала пещеру. И среди этой, ми-



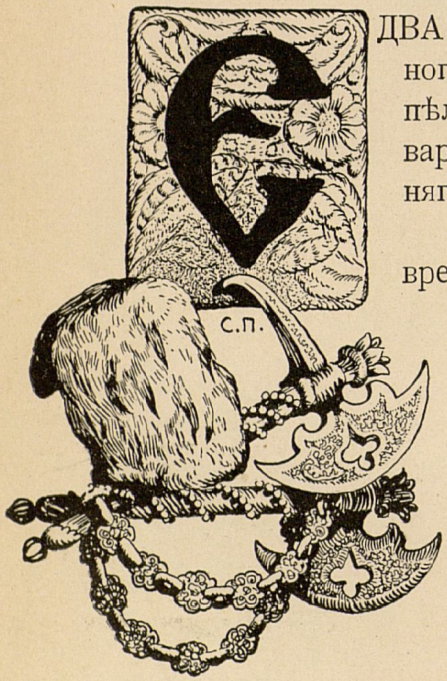
Алеша работалъ вмѣстѣ съ другими...

гомъ воцарившейся темноты, тихо прозвучалъ красивый и звонкій голосъ Алеши:

— Либо побѣдимъ, либо помремъ подъ татарскими стрѣлами да ножами, а безъ царства сибирскаго, безъ славы побѣдной не вернемся къ невѣстамъ нашимъ, слышь, Мещерякъ...

ГЛАВА VI.

Снова въ путь.—Волокомъ черезъ горы.



ДВА встало солнышко, какъ ужъ на ногахъ была вольная дружина. Закипѣла работа. Опять складывали костры, варили кашу, подкрѣплялись для дальняго пути.

Быстро прошло въ хлопотахъ время, и снова, покинувъ гостепріимный пріютъ, огромную пещеру, окрещенную казаками Ермаковымъ камнемъ, двинулись дальше вверхъ по рѣкѣ. Но это уже была не мелкая каменистая Чусовая: глубокая, прозрачная, какъ стекло, рѣка текла, словно плавленное серебро, вздымая судна на своемъ искрящемся, пѣнистомъ лонѣ.

— Серебрянка - рѣка, — замѣтилъ кто-то изъ вожаковъ-татаръ, знавшихъ мѣстность.

И сама природа здѣсь замѣтно измѣнилась. Крутые, обрывистые утесы голыми камнями, неуклюжими скалами

вздымались по обоимъ берегамъ. Чахлыя березовыя рощицы да поросшіе мохомъ, словно плѣшью подернутые, берега не манили, какъ прежде, взора богатымъ ландшафтомъ. Въ иныхъ мѣстахъ утесы, перекинувшись надъ рѣкою, сближались такъ, что лодки скользили какъ подъ сводчатымъ навѣсомъ изъ каменныхъ глыбъ. И тогда сумерки наступали среди бѣлаго дня. Только серебряная вода чудно бѣлѣлась и сверкала, придавая какую-то сказочную прелесть рѣкѣ.

Два дня плыла по Серебрянкѣ грозная Ермаковская дружина. Высадились у верховьевъ ея и заложили здѣсь земляной городокъ, прозванный Кукуемъ-городомъ. Теперь иная работа предстояла имъ. Простившись съ нѣсколькими товарищами, которымъ надлежало остаться во вновь заложенномъ городкѣ, и снабдивъ ихъ порохомъ, оружіемъ и съѣстными припасами, Ермакъ собралъ новый кругъ на берегу Серебрянки.

Въ виду громоздившагося вблизи Урала онъ потребовалъ новаго запаса мужества и энергіи отъ своихъ удальцовъ.

— Плыли мы, братцы, рѣками. Нонѣ волокомъ по горному ущелью тащить придется и челны да пушки на себѣ тащить,—сказалъ онъ, указывая рукою на громоздившійся впереди нихъ Уральскій хребетъ, покрытый темною зеленью кедровыхъ лѣсовъ.

Осень, какъ нарочно, казалось, медлила наступленіемъ и лиственница еще не мѣняла своего изумруднаго наряда. Кое-гдѣ лишь въ лѣсахъ и рощахъ золотилась листва, да на вѣтвяхъ мелькали багровыя пятна покраснѣвшихъ листьевъ.

— Пойдемъ и волокомъ, коли прикажешь, атаманъ! — дружнымъ хоромъ отвѣчали казаки.

— Трудно буде вамъ, братцы, не хочу таиться, — серьезно произнесъ Ермакъ.

— Евона!.. Што за трудно!.. Передохнемъ малость,

да и айда въ путь-дороженьку. Небось, коли руки-ноженьки замрутъ, мы ихъ на Кучумкиныхъ вояхъ живо расправимъ, — весело острили казаки. И, повытаскавъ на берегъ челны, они обмотали бичевы вокругъ поясовъ и дружно ухнувъ въ разъ, потянулись по каменистому хребту въ высь Урала.

Тяжелый то былъ путь, страшно тяжелый. Все выше и выше вздымался узкій проходъ горнаго хребта. Съ обѣихъ сторонъ его каменными громадами высился поясъ. Ноги скользили объ уступы, поросшіе мхомъ. Потъ градомъ катился съ лицъ казаковъ. Но когда притуплялась энергія и падали силы, появлялась впереди мощная фигура молодца-атамана, сверкали воодушевленіемъ и страстной вѣрой ястребиныя очи, и могучій голосъ рокотомъ прокатывался по горамъ:

— Приналягъ, ребятушки!.. Самая малость осталась.

И взявъ лямку отъ перваго попавшагося казака, Ермакъ надѣвалъ ее себѣ поперекъ стана и тащилъ челнъ наравнѣ съ другими.

— Небось, въ Кучумкиномъ улусѣ отдохнемъ. Хорошо, поди, живетъ собака, — шутилъ онъ, оглядываясь на тащившихся за нимъ слѣдомъ молодцовъ. — А ну-ка, братцы, грянемъ пѣсню поудалѣе!

И раздавалась пѣсня, могучая и широкая, какъ сама Русь, рожденная въ Поволжьѣ, вскормленная имъ, удалая и смѣлая, какъ жизнь старинныхъ русскихъ героевъ, веселая и радостная, какъ весеннее утро. И старый Уралъ слушалъ пѣсню эту. Старому Уралу, слышавшему до этихъ поръ только гиканье да дикіе крики своихъ туземцевъ-сыновъ, въ диковину была эта захватывающая мелодія русской боевой удали. Старый Уралъ слушалъ, эхо повторяло могучіе, изъ самой души выхваченные звуки сотни сильныхъ, здоровыхъ голосовъ...

Алеша Серебряный-Оболенскій работалъ и пѣлъ

вмѣстѣ съ другими. Да и не онъ одинъ: есаулъ Кольцо, не говоря уже объ атаманѣ, и Волкъ Михалычъ, и Панъ, и Мещерякъ, всѣ не отставали отъ простыхъ казаковъ-воиновъ.

Алексѣй, однако, не привыкшій къ такой работѣ, скоро выбился изъ силъ. Лямка больно натирала его плечо и грудь, голова ныла, въ ушахъ слышался звонъ. Потъ градомъ катился по лицу. Алеша далеко отсталъ со своимъ челномъ отъ другихъ и едва передвигалъ усталыя ноги.

— Ай, паря, да никакъ и ты при дѣлѣ?—услышалъ онъ громкій голосъ надъ собою. Оглянулся — Никита Панъ передъ нимъ. Суровое лицо со шрамомъ дышитъ участіемъ. Обычно жесткіе глаза ласково смотрятъ на юношу.

Еще передъ самымъ походомъ подошелъ къ Никитѣ этотъ молодой красавчикъ, что трудится сейчасъ, выбиваясь изъ силъ, вмѣстѣ съ другими, и, протянувъ ему руку, сказалъ:

— Много ты виновенъ передо мною, Никита Никитичъ... Осиротилъ ты меня въ конецъ... Держалъ я за то зло на тебя лихое... Въ походъ выступаемъ—прощаю тебя... И ты прости, въ чемъ виновенъ, Христа ради...—сказалъ и поднялъ ясный взоръ на стоявшаго передъ нимъ Никиту.

Тотъ даже всколыхнулся весь. Въ ожесточенномъ въ разбояхъ сердцѣ давно загорѣлась жалость къ синеокому юношѣ, — жалость и раскаяніе въ убійствѣ его дядьки. И только изъ гордости не шелъ первый къ «молокососу» удалый, бывшій разбойникъ, казакъ. А лишь только заикнулся о мирѣ Алеша, крѣпко пожалъ протянутую ему руку Никита.

— Меня прости, окаяннаго,—тихо шепнулъ онъ тогда.

И теперь, видя тщетныя усилія Алексѣя надъ челномъ, поспѣшилъ къ нему на помощь.

— А ну-ка, князенька, давай-кась, пособлю малость,— предложилъ онъ, подхвативъ бичеву Алешинаго челна и съ силой потянувъ послѣдній.

Молодой князь было отклонилъ подмогу.

«Какой же онъ казакъ, коли не справляется съ работой? Засмѣютъ другіе»,—вихремъ пронеслось въ его головѣ, но послѣднія силы оставили князя, и онъ, помимо воли, передалъ Никитѣ бичеву. Тащившіе передъ нимъ другой стругъ три другіе казака одобрили поступокъ Никиты.

— Спасибо подъесаулу. Выручилъ князеньку. Пусть поразомнется малость. Глядишь, и Жаровля скоро.

Дѣйствительно, вскорѣ сверкнула бѣлая полоса рѣки. Радостный вздохъ облегченья вырвался изъ груди дружины.

— Жаровля и то... Конченъ трудный путь...

На другой день, отдохнувъ хорошенько, спустили струги на рѣку и поплыли сначала по Жаровлѣ, гостепріимно принявшей усталыхъ путниковъ на свое серебристое лоно, а потомъ внизъ по Турѣ-рѣкѣ. Теперь грозный Уралъ остался далеко сзади. Его величественныя вершины глядѣли ужъ съ тыла на казаковъ. По обѣ стороны рѣки Туры до Тавды тянулась непроходимая тайга. Сосны и ели, пихта и липы разрослись широко и вольно, чередуясь съ огромными кедрами, усѣявшими склоны горъ. Около берега рѣки—кусты боярышника, таволги и шиповника, дальше сочная, высокая трава, почти въ ростъ человѣка, еще не успѣвшая пожелтѣть, несмотря на позднее время начинающейся осени. Мѣстами прерывалась пышная заросль тайги, и холмистая степь съ болотистыми озерами представлялась взорамъ казаковъ. Одно было странно: до сихъ поръ ни на Серебрянкѣ, ни на Турѣ-рѣкѣ не было людей. Правда, изрѣдка рисовался силуэтъ кочевника-татарина на его ходкомъ киргизскомъ скакунѣ, на вершинѣ холма

или на опушкѣ тайги, но онъ пропадалъ такъ же быстро, какъ и появлялся, съ такой стремительностью, что Ермаковскіе воины сомнѣвались даже живой-ли то былъ человѣкъ или марево [1], обманывающее взоры.

— Когда-жъ мы народъ-то узримъ здѣшній, спроси вожа [2], Алеша, — нетерпѣливо обратился Ермакъ къ сидѣвшему съ нимъ вмѣстѣ на лодкѣ Серебряному.

Алеша, услыша приказанье, ловко перепрыгнулъ въ сосѣдній, слѣдовавшій за нимъ, челнъ, потомъ въ другой, третій и, прыгая какъ кошка, добрался, наконецъ, до того струга, гдѣ сидѣлъ татаринъ-проводникъ.

— А вотъ пожди, бачка, — отвѣчалъ тотъ на вопросъ,—сейчасъ тебѣ улусы начнутся, народъ осѣдлый пойдетъ. Глядишь, къ вечеру на юртъ наскочимъ. Держи ухо востро...

— Къ вечеру говоришь?—весь зажигаясь радостью переспросилъ Алексѣй.

— Такъ. Непремѣнно на закатѣ биться будемъ. Вѣрно тебѣ говорю,—подтвердилъ татаринъ-вожакъ.

Послѣднее слово пронеслось уже вдогонку за Алешей. Обрадованный доброю вѣстью онъ уже снова кошкой запрыгалъ изъ челна въ челнокъ, спѣша передать слова вожа любимому атаману.

[1] Отраженіе въ воздухѣ разныхъ предметовъ и людей, бывающее въ степяхъ и какъ будто удаляющееся отъ путника впередъ. — [2] Проводникъ.

ГЛАВА VII.

Первые выстрѣлы.—Первый успѣхъ.—Алешинъ подвигъ.—Важный плѣнникъ.

ЛЯДИ, Иванычъ, никакъ не совралъ татаринъ, улусъ чернѣетъ, — живо, оборачиваясь въ сторону Кольца, проговорилъ Ермакъ.

Сѣдоусый есаулъ поднялъ голову и, защищаясь рукой отъ багрово-алаго шара солнца, заходящаго за лѣсомъ, сталъ внимательно вглядываться вдаль.

— И то улусъ,—произнесъ онъ радостно.—Ишь, дымъ изъ юртъ идетъ. Ну, проздравляю тебя, Ермакъ Тимофеичъ, добрались мы до Сибирскаго царства... Улусы да городки теперича на кажиномъ шагу встрѣчаться будутъ.

Атаманъ быстро поднялся въ челнѣ и весело крикнулъ:

— Будетъ работа, ребята!.. Приставай къ бережку!. Приста....

И не договорилъ Ермакъ. Что-то просвистѣло въ воздухѣ, и цѣлая туча стрѣлъ съ зловѣщимъ шипѣніемъ обрушилась на челны. Почти одновременно огромная

ватага конныхъ татаръ въ остроконечныхъ шапкахъ, въ халатахъ изъ козьей шкуры, съ длинными пиками, выскочила изъ тайги и бросилась къ берегу.

Снова прицѣлились изъ луковъ. Зазвенѣли тетивы, и новыя тучи стрѣлъ упали частью въ воду, частью въ струги, въ толпу казаковъ. Легкій стонъ послышался изъ ближней лодки, и рослый казакъ схватился за грудь. Острая татарская стрѣла впилась въ него. Хлынула горячая алая струя.

— Ранены трое...—послышался оттуда суровый голосъ.

Ермакъ поднялъ поблѣднѣвшее лицо.

— Ребята, цѣлься въ ручницы! — прозвучалъ его дрогнувшій затаеннымъ гнѣвомъ голосъ.

По этой командѣ находившіеся въ челнахъ казаки вскинули ружья къ плечамъ и, впившись въ лицо атамана, ждали новой команды.

— Пли!—громкимъ голосомъ крикнулъ Ермакъ.

Грянулъ залпъ изъ нѣсколькихъ сотенъ ручницъ и самопаловъ. Густой дымъ застлалъ берегъ, тайгу и самые струги на рѣкѣ.

— Алла!.. Алла!.. — стономъ простонало на берегу не то мольбою, не то рыданьемъ, исторгнутымъ многими десятками, сотнями грудей.

Дымъ разсѣялся... Груды труповъ покрыли берегъ... Испуганныя лошади метались, волоча за собою мертвыя татарскія тѣла. Побросавъ луки и стрѣлы оставшіеся въ живыхъ кинулись вразсыпную, дикимъ, отчаяннымъ воемъ оглашая окрестность.

Зауральскіе народцы Сибири никогда не слышали ружейныхъ залповъ, не видѣли пороха до этихъ поръ. Дымъ и огонь, выходившій изъ огнестрѣльнаго оружія, заставлялъ однихъ каменѣть отъ страха, другихъ съ воплями бросаться на-утекъ. Это вскорѣ понялъ Ермакъ, продолжая свое движеніе въ глубь Сибири.

Первая удача окрылила дружину. Съ новой, удвоенной силой бросились грести казаки. Съ новой стремительностью полетѣли ихъ челны по зеркальной глади Туры. Солнце еще не сѣло, какъ, миновавъ нѣсколько прибрежныхъ утесовъ, они увидѣли степную луговину, окруженную тайгой съ одной стороны, а другою примыкавшею къ берегу. Посреди степной прогалины, окруженныя валомъ, прилегая плотно одна къ другой, ютились юрты, сложенныя плотно изъ мха, прутьевъ, вереска и крытыя сверху шкурами оленей и козъ. Заходящее солнце багровымъ полымемъ обливало улусъ, и онъ казался пламенно-кровавымъ при этомъ странномъ вечернемъ освѣщеніи.

— Это городокъ мурзы Епанчи,—коротко объявилъ проводникъ-татаринъ. Слѣдомъ за этимъ послышалась громкая команда Ермака:

— Причаливай, ребята!.. Заряжай самопалы!.. Будь на-готовѣ!.. Гляди во всю!..

Это оказалось далеко не лишнимъ. Едва только высадилась на берегъ дружина, какъ изъ улуса выскочилъ отрядъ вооруженныхъ стрѣлами татаръ.

— Палить, што-ли?—нетерпѣливо послышались голоса окружавшихъ Ермака есауловъ.

— Пождите малость, — скорѣе угадали, нежели услышали они приказаніе Ермака, который сдѣлалъ знакъ пушкарю.

Бравый пушкарь, посланный Строгановымъ въ походъ съ дружиной, быстро подбѣжалъ къ атаману.

— Наведи-ка жерло пушки-матушки, Петруша. Угостимъ свинцовымъ гостинчикомъ хозяевъ негостепріимныхъ,—вполголоса приказалъ ему атаманъ.—Да ты палить-то постой. Подпусти ихъ поближе, — добавилъ онъ, впиваясь загорѣвшимся взоромъ въ скакавшій отрядъ.

И самъ замеръ какъ статуя. Татары приближались

Вотъ спѣшились въ какой-нибудь сотнѣ шаговъ, припали на колѣни и, выхвативъ изъ колчановъ стрѣлы, спѣшно натянули тетивы.

— Пли! — мгновенно прогремѣлъ боевой окликъ атамана.

Грянула пушка... Непросвѣтно отъ дыма стало кругомъ... Только крики да вопли раненыхъ хищниковъ огласили степное пространство. Кое-гдѣ въ дыму, безъ прицѣла, упали стрѣлы, пущенныя на-угадъ.

— Еще угости, Петруша!.. Ишь, славно!.. Да и другую заодно заряди пушеньку,—съ явною радостью въ голосѣ приказывалъ атаманъ.

И еще грянула пушка... Дикій вопль усилился... Топотъ нѣсколькихъ сотенъ ногъ всколыхнулъ побережье.

— Никакъ удрали нехристи?—сдѣлалъ предположеніе Кольцо.

— Удрали и есть. Ну, коли такъ и впредь будетъ, не больно-то много помѣхи взять Сибирское царство,—шутилъ атаманъ.

Дымъ разсѣялся снова. Толпы скакавшихъ въ разныя стороны по степи всадниковъ, побросавшихъ стрѣлы и луки, привели въ полный восторгъ дружину.

— Ишь, трусы!.. Небось, чуть што—на-утекъ,—подбирая стрѣлы смѣялись казаки.

Но медлить было нельзя. Впереди находился вражескій улусъ богатаго мурзы и Богъ вѣсть какими путями рѣшился отстаивать свои владѣнія Епанча.

Надо было вызвать на бой всѣхъ находившихся за валомъ городка обитателей-татаръ прежде, чѣмъ войти въ селеніе. И вотъ снова загрохотали пушки, одна, другая, третья. Ядра безжалостно врывались въ валъ, окружавшій селеніе, вздымая груды земли и камней вмѣстѣ съ юртами, расщепленными на части. Съ тѣмъ-же характернымъ гортаннымъ крикомъ татары повыскакали

изъ юртъ, на-спѣхъ захватывая что поцѣннѣе, и уносились въ степи на своихъ быстроногихъ, малорослыхъ конькахъ. Когда, безъ малѣйшаго для себя ущерба, дружина заняла улусъ, ни одного жителя не было въ Епанчинскомъ городкѣ: всѣ разбѣжались, на-смерть напуганные выстрѣлами.

Ликуя и радуясь дружина заняла улусъ. Въ сильно попорченыхъ снарядами юртахъ все-же можно было отлично выспаться до зари. Къ тому-же тамъ ждало казаковъ и обильное угощенье, второпяхъ забытое хозяевами. Медъ и пшено составляли важный ужинъ для притомившихся за долгій путь казаковъ.

Сладко спалось въ эту ночь казакамъ. На-утро встали они бодрые и веселые, отслужили молебенъ, поздравили другъ друга съ побѣдой и, зажегши разоренный до тла Епанчинскій юртъ [1], снова сѣли въ челны и поплыли вверхъ по Турѣ, погружаясь дальше и дальше въ глубь Сибири . . . . . .

. . . . . .

Тотъ же высокій, покрытый то непроходимою тайгою, то степью берегъ, та же природа кругомъ, тѣ же степныя озерца и болота поблескиваютъ въ солнечныхъ лучахъ. Но рѣка не та. То была Тура, теперь вошли въ Тавду. Быстрая, неглубокая, съ каменистымъ русломъ рѣчонка. Берега сдвинулись, словно насупились угрюмо на незванныхъ гостей. Кусты боярышника и таволги почти купаются въ водѣ. Изрѣдка зашумятъ, зашелестятъ они зловѣще, и тогда, знаютъ казаки, туча стрѣлъ вылетитъ изъ чащи. Первые выстрѣлы дружины, такъ напугавшіе татаръ, теперь уже потеряли для нихъ часть своей силы. Теперь хищникамъ они не кажутся болѣе огнемъ, падающимъ съ неба, и хотя ужасаетъ ихъ ружейный и пушечный залпъ, а все-же, какъ будто,

[1] Гдѣ нынѣшній Туринскъ.

осмѣлѣли они, и все чаще и чаще безпокоятъ нападеніями безстрашныхъ путниковъ-удальцовъ.

Послѣ теплаго, почти-что жаркаго дня, притомились казаки и рады-радешеньки были, когда послышалась желанная команда:

— На стоянку!.. При-ча-ливай!..

Живо вытащили на берегъ челны, разложили костры, стали варить ужинъ, размѣстившись вокругъ огней.

— Вотъ когда бы мясца похваталъ, ребятки,—барашка жаренаго аль козули... Небось, дичиной всякой тайга кишмя кишитъ, — послышался чей-то смакующій голосъ.

— Попросись на охоту у атамана, авось отпуститъ,—произнесъ другой.

— И то, пожалуй, отпуститъ, братцы,—вскричало нѣсколько голосовъ разомъ.—Не больно то охочь и самъ кашу жевать да сухари грызть аржаные. Небось, настрѣляемъ дичи, подѣлимъ на всю артель... Идемъ што-ль проситься?.. Ты бы, князенька, съ нами пошелъ, больно къ тебѣ атаманъ жалостливъ. Чего хошь проси, отказу тебѣ не будетъ,—обратился молодой казакъ къ Алешѣ.

Юноша въ секунду былъ на ногахъ. Предложеніе казака какъ нельзя болѣе пришлось ему по душѣ. Ужъ очень заманчивой показалась охота въ тайгѣ.

— Идемъ къ атаману!—весело вскричалъ онъ и первый кинулся выкладывать казацкую просьбу Ермаку.

Тотъ ласково выслушалъ юношу.

— Ладно, ступайте. Къ вечеру штобы только быть въ стану. Да вожа прихватите, Ахметку што-ли. Не ровенъ часъ, еще заплутаетесь въ лѣсу.

— Ладно, возьмемъ Ахметку,—весело согласился Алеша.

Черезъ четверть часа, захвативъ съ собой ручницы, во главѣ съ татариномъ-проводникомъ, они входили въ

лѣсъ. Тишь, таинственная прелесть и полумракъ отъ тѣни исполинскихъ елей и сосенъ, толстостволыхъ березъ и пихтъ разомъ очаровали охотниковъ.

— Тута озерца малыя есть. У озерецъ козули на водопоѣ бываютъ. Раздѣлиться намъ надоть, штобъ со всѣхъ сторонъ окружить звѣря,—распоряжался Ахметка, малорослый татаринъ съ быстрымъ, бѣгающимъ взглядомъ косо разставленныхъ глазъ.

— Не больно-то много насъ. Всѣмъ-то вмѣстяхъ сподручнѣе,—заикнулся было кто-то изъ казаковъ,—а то не нагрянула бы нечисть. Того и гляди явится!

— Да, немного насъ. Што десятерымъ-то подѣлать, коли ихъ съ сотню?—согласился и другой охотникъ.

— Коли трусите, я одинъ пойду,—неожиданно вспыхнувъ проговорилъ Алеша, — здѣся не больно-то много козуль. Почти што на опушкѣ тайги мы.

— Нѣтъ, ты это неладное, князенька, затѣялъ,—произнесъ казакъ постарше.

Но Алеша уже не слушалъ его и, вскинувъ ружье, чуть не бѣгомъ ринулся въ чащу.

Ему недолго пришлось шагать по скользкому мху и начинающей чуть желтѣть сочной травѣ. Вскорѣ тайга стала непроходимой. Могучія лиственницы и колючая хвоя такъ близко и тѣсно сплетались здѣсь вѣтвями, что только четвероногій обитатель этого густо разросшагося лѣса могъ проникнуть подъ вѣтви деревъ. Алеша отстранилъ нѣсколько сучковъ и вѣтокъ со своего пути, больно хлестнувшихъ его по лицу, и, видя, что проходъ далѣе въ глубь немыслимъ, съ досадой кинулся на траву подъ самодѣльный шатеръ пихты и сталъ озираться кругомъ. Зелень и тишь, тишь и зелень окружали его. Гдѣ-то близко, сквозь кружево листвы и иглистыя вѣтви хвои, сверкало, серебрясь, небольшое лѣсное озерцо...

— Сюды должна безпремѣнно придти лосина, али

и самъ бурый хозяинъ лѣса, медвѣдь,—мысленно произнесъ юноша, весь загораясь отъ мысли потягать свои силы съ далеко небезопаснымъ четвероногимъ врагомъ, и приготовился ждать.

Минуты потянулись убійственно долго. Алеша то вынималъ свою ручницу изъ кожаной берендейки [1], чтобы какъ-нибудь скоротать время, то снова вкладывалъ ее назадъ. Его мысли то вертѣлись на четвероногихъ обитателяхъ тайги, то возвращались къ недавнему былому, къ милымъ голубымъ глазкамъ Танюши Строгановой, или съ бѣшеною быстротою неслись впередъ. Горячее воображеніе рисовало ему яркія картины. Онъ видѣлъ уже завоеванной Сибирь... Видѣлъ свергнутаго въ цѣпяхъ Кучума... Видѣлъ рабынями гордыхъ женъ [2] его и дочерей, а побѣдную, вольную дружину на высотѣ ея славы...

Онъ зашелъ въ своихъ мечтахъ такъ далеко, что едва услышалъ легкій шорохъ неподалеку отъ себя.

— Должно лось, али козуля, а то и Мишенька пробирается,—вихремъ пронеслось въ головѣ юноши, и онъ проворно схватилъ въ руки ружье.

Шорохъ раздался явственнѣе, ближе... Чьи-то шаги, мягко и быстро, ступали по мху.

Алексѣй насторожился, зашелъ за стволъ дерева и притихъ, затая дыханье.

Зашелестѣли пихты, зашуршала трава...

Юноша чуть не вскрикнулъ отъ изумленія. Передъ нимъ стоялъ высокій, широкоплечій и сильный татаринъ-киргизъ, въ узкихъ штанахъ изъ мѣха, въ мѣховой-же изъ шкуры оленя курткѣ, сшитой изъ прямыхъ бурыхъ и черныхъ полосокъ вперемежку съ бѣлымъ горностаемъ. Деревянныя пуговицы обложены были золотомъ на курткѣ. Золотыя же пластинки, обильно расшитыя по краямъ

[1] Чехолъ.—[2] У киргизъ-кайсаковъ, какъ и у прочихъ магометанъ, многоженство.

одежды, поблескивали при свѣтѣ заходящаго солнца. Шапка—остроконечный войлочный колпакъ съ золотымъ украшеніемъ, изъ-подъ котораго быстро смотрѣли съ безпокойнымъ блескомъ живые черные глаза. Очень узкіе войлочные сапоги и доха изъ верблюжьей шерсти заканчивали странный нарядъ киргиза. Онъ держалъ лукъ на-готовѣ. Колчанъ со стрѣлами и ножъ болтались у пояса. На изжелта-блѣдномъ скуластомъ лицѣ и въ чуть раскосыхъ глазахъ виднѣлось напряженное вниманіе, почти тревога. На видъ ему было лѣтъ двадцать съ небольшимъ, но мощью и силой вѣяло отъ его богатырской фигуры.

Онъ не могъ видѣть притаившагося за деревомъ Алексѣя. Очевидно другой врагъ тревожилъ его.

Сердце юнаго князя забило тревогу. Татаринъ, по своему внѣшнему виду, казался не простымъ смертнымъ. По массѣ золотыхъ побрякушекъ у пояса и вокругъ шеи, по расшитому галуномъ высокому колпаку видно было, что это одинъ изъ важныхъ и знатныхъ обитателей степи.

— Вотъ бы полонить такого! Ермакъ Тимофеичъ спасибо скажетъ!—вихремъ пронеслось въ запылавшей головѣ Алеши.

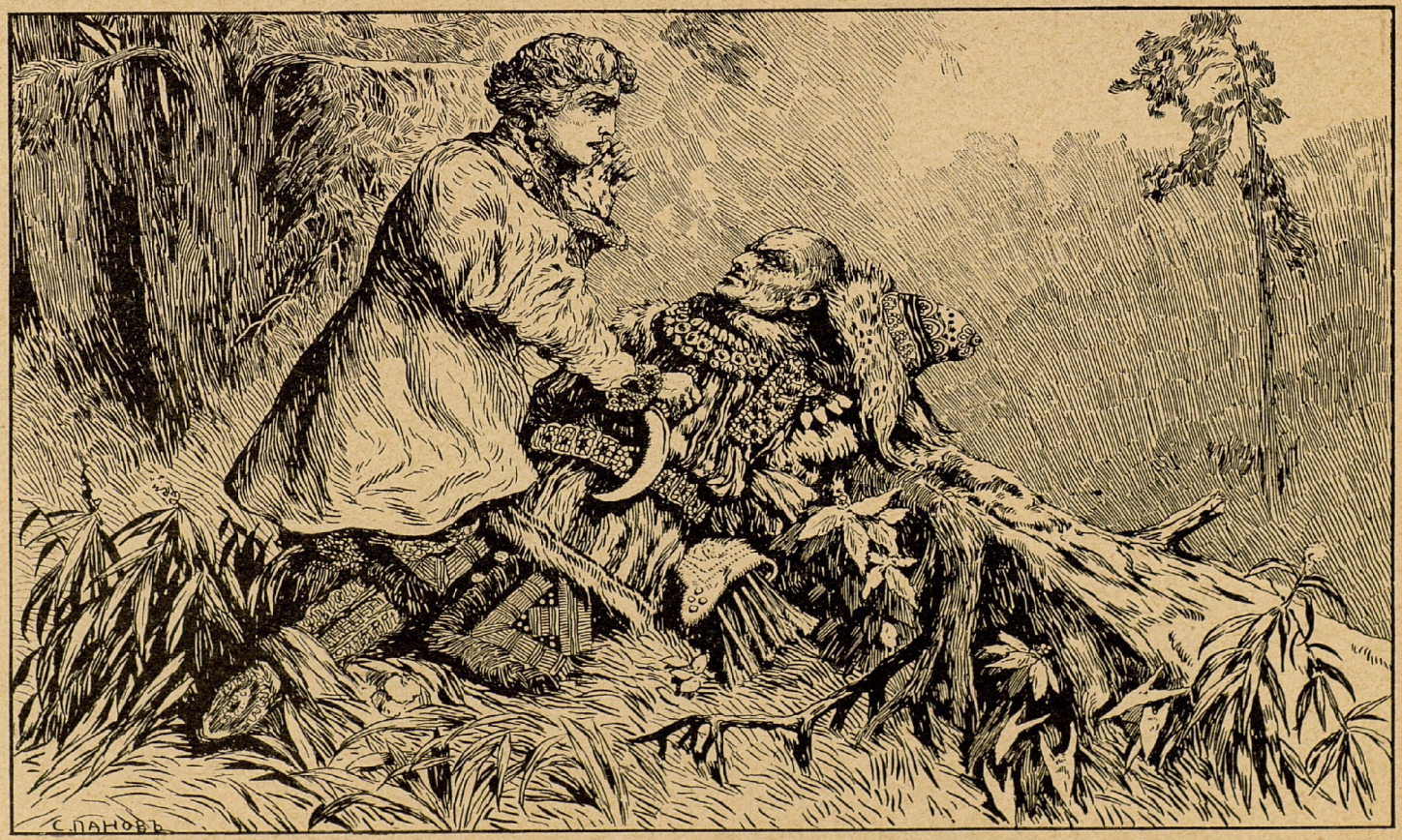
Но какъ?... Какъ полонить?.. Онъ, кажется, вдвое крупнѣе и сильнѣе его, князя Алексѣя, этотъ степной дикарь. Обернись онъ сейчасъ, и пропалъ Алеша подъ ударомъ его кривого, какъ серпъ, остраго ножа.

— А взять живьемъ надо... Полонить такого, значитъ хорошаго языка [1] добыть,—сообразилъ юноша.

Нѣтъ, во што бы то ни стало его живьемъ добыть надо!.

И, не медля болѣе, Алексѣй пригнулся къ землѣ и поползъ змѣею, скрытый высокой травою тайги. Вотъ

[1] Допросить, узнать, что дѣлается во вражескомъ станѣ.



Алеша выхватилъ ножъ изъ-за пояса дикаря...

ужъ ближе, ближе отъ него татаринъ. Его узкіе черные глаза зорко впиваются въ чащу... Очевидно, онъ слышитъ шорохъ, но иначе объясняетъ его себѣ... Въ его скуластомъ лицѣ отразилось самое живое нетерпѣніе. Дикаго лѣсного звѣря поджидаетъ татаринъ, сынъ вольныхъ киргизскихъ степей.

Алеша теперь уже былъ въ трехъ шагахъ разстоянія отъ него. Онъ чуть приподнимается и быстро разматываетъ поясъ, стягивающій кафтанъ. Сердце его стучитъ сильнѣе, стучитъ такъ, что вотъ-вотъ, мнится юношѣ, услышитъ его біеніе и киргизъ... Но послѣдній стоитъ спиной къ Алексѣю... Если онъ вздумаетъ сдѣлать хоть шагъ, то немедленно наступитъ на кудрявую голову подползшаго къ нему князя.

Еще пододвинулся къ врагу Алеша. Теперь стоитъ ему протянуть руку, и онъ дотронется до мягкихъ войлочныхъ, обшитыхъ верблюжьей шерстью, чоботъ татарина.

Затаивъ дыханіе Алеша медленно и осторожно беретъ свой поясъ въ руки и, чуть дыша, окружаетъ имъ ноги дикаря. Тотъ все еще стоитъ въ задумчивости, не подозрѣвая о грозящей ему опасности. А толстый, крѣпкій поясъ незамѣтно окружаетъ его ноги чуть выше щиколотки, поверхъ ступней... Совсѣмъ уже замерло дыханье въ груди Алеши...

— Держись!..—неистово выкрикнулъ онъ вдругъ, затягивая разомъ оба конца пояса обѣими руками.

Ошеломленный неожиданнымъ крикомъ дикарь хотѣлъ рвануться впередъ и въ тотъ же мигъ тяжело рухнулъ въ траву, связанный по ногамъ.

Не теряя минуты Алеша кошкой прыгнулъ ему на грудь и, не давъ опомниться, свободнымъ концомъ пояса скрутилъ его руки. Потомъ выхватилъ кривой ножъ изъ-за пояса дикаря. Послѣдній лежалъ на травѣ безпомощный какъ ребенокъ и, дико вращая глазами, си-

лился порвать поясъ, плотно скрутившій ему ноги и руки. Но толстая холстина была соткана прочно. Да и Алексѣй слѣдилъ зорко за каждымъ движеніемъ врага.

— Коли двинешься — убью!..—сверкнувъ на плѣнника грознымъ взоромъ вскричалъ онъ, и, такъ какъ тотъ не могъ понять его словъ, приставилъ къ груди дикаря его же ножъ.

Все это произошло не больше, какъ въ минуту.

Глаза татарина вспыхнули злыми огоньками.

Алексѣй, все еще сидя на его груди и держа ножъ у сердца врага одной рукою, другую приставилъ ко рту и громко крикнулъ:

— Сюда, ребята, на помощь!..

Гулкимъ раскатомъ пронесся его призывъ по тайгѣ. Вскорѣ изъ кустовъ орѣшника выглянула скуластая физіономія Ахметки.

— Ай, хорошъ плѣнникъ!.. Больно хорошъ!.. Поймалъ плѣнника, бачка!.. Князь Таузакъ это, самого Кучума ближній человѣкъ,—мотая головой и поблескивая глазами повторялъ онъ, разглядывая связаннаго татарина какъ диковинную, рѣдкую вещицу.

Тотъ только метнулъ на него свирѣпымъ взоромъ.

— Джанъ Кучикъ! [1]—произнесъ онъ хрипло и плюнулъ въ сторону Ахметки.

— Што онъ лопочетъ?—заинтересовался Алексѣй.

— Ругается, бачка... Ну, да поругаешься ты у насъ, постой, какъ поджаривать тебѣ пятки станемъ,—зловѣще блеснувъ глазами прошипѣлъ Ахметка.—Къ бачкѣ-атаману сволокемъ его, бачка, на помощь только кликнемъ своихъ, — суетился проводникъ.

Но и скликать не пришлось прочихъ охотниковъ. Они прорвались сквозь чащу, теперь были тутъ же и

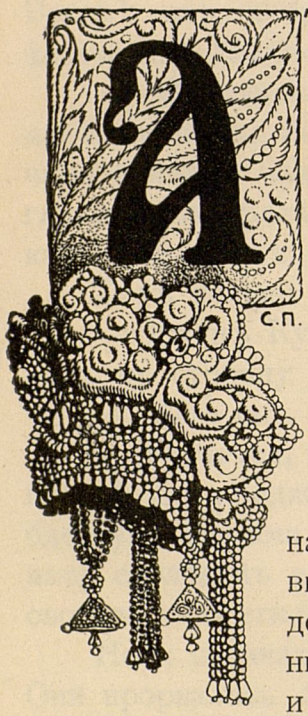
---

[1] По-киргизски значитъ—собачья душа. Приверженцы Кучума ненавидѣли перешедшихъ въ подданство русскихъ своихъ соплеменниковъ и поносили ихъ.

помогали связывать Таузака. Потомъ освободили его ноги и погнали впередъ, прямо въ станъ Ермака, хваля по дорогѣ своего юнаго товарища, сумѣвшаго раздобыть атаману такого важнаго языка.

ГЛАВА VIII.

Допросъ.—Посолъ къ Кучуму.



АТАМАНЪ, гляди, никакъ волокутъ наши особую дичину къ твоей милости,— разглядѣвъ своими зоркими глазами приближающуюся къ стану группу охотниковъ произнесъ Кольцо.

Ермакъ, задремавшій у костра на вдвое сложенномъ потникѣ, съ живостью юноши вскочилъ на ноги.

— И то, особая дичина, Иванычъ! Языка раздобыли!.. Эка, молодцы у меня ребята! — оживляясь вскричалъ онъ.

Вмигъ станъ засуетился и высыпалъ навстрѣчу охотникамъ. Ахметка первый выскочилъ впередъ и спѣшно сталъ докладывать, какъ «молодой бачка» полонилъ батыря и какъ позвалъ на помощь, и какъ связали они плѣнника, ровно барана.

— Неушто одинъ одолѣлъ, Алеша?—ласково блеснувъ на юношу своими быстрыми глазами спросилъ Ермакъ.

— Одинъ, атаманъ,—не безъ нѣкоторой гордости отвѣчалъ тотъ.

— Ай да Алеша! Ай да князенька! Исполать тебѣ, друже!—обласкалъ еще разъ Алексѣя Ермакъ, и вмигъ свѣтившееся лаской лицо его приняло суровое, грозное выраженіе. Острые глаза, какъ двѣ раскаленныя иглы, впились въ плѣннаго киргиза.

— Гей, толмача мнѣ!—крикнулъ онъ повелительно и сурово въ толпу казаковъ.

Ахметка, владѣвшій сносно по-русски, выступилъ впередъ.

— Скажи твоему нехристю, што-бы все безъ утайки намъ повѣдалъ—гдѣ живетъ Кучумъ и какъ намъ пройтить къ евоному граду, и много-ль тамъ воиновъ припасено нонѣ у ево... Все што-бъ безъ утайки повѣдалъ сейчасъ же, не то тутъ же ему карачунъ придетъ. Такъ и скажи,—сурово и грозно приказалъ атаманъ.

Едва окончилъ свою рѣчь Ермакъ, какъ Ахметка уже замахалъ руками, замоталъ головою и залопоталъ что-то быстро-быстро, обращаясь къ татарину на своемъ родномъ языкѣ.

Но чѣмъ больше горячился толмачъ, тѣмъ спокойнѣе становилось лицо плѣнника. Горделивая усмѣшка повела его губы. Онъ, словно нехотя, открылъ ротъ и произнесъ одну только фразу, холодную и острую, какъ жало змѣи:

«Не хочетъ Таузакъ говорить съ измѣнникомъ, съ джаманъ-кишляромъ» [1].

Ахметка какъ мячикъ отскочилъ отъ него. Лицо толмача позеленѣло отъ злости. Зеленые же огни забѣгали въ глазахъ.

— Пытай его, бачка-атаманъ... Убей его, собаку... Не скажетъ онъ ничего тебѣ... Не хочетъ собака

[1] Съ подлецомъ.

ничего сказать, — такъ и ринулся онъ въ ноги Ермака.

— Молчи! Знаю и безъ тебя что дѣлать надо, — сурово нахмурившись произнесъ тотъ. — Ей, Михалычъ да Панушка, потеребите молодца малость, авось, угольки горячіе развяжутъ ему языкъ, — заключилъ онъ, махнувъ рукою, отошелъ въ сторону и отвернулся.

Яковъ Михайловъ съ Никитой Паномъ кликнули казаковъ и велѣли имъ стащить съ ногъ татарина его мягкіе чоботы. Потомъ, захвативъ на чеканъ нѣсколько углей, старый разбойникъ плотно обложилъ имъ смуглыя, желтыя ножныя пятки киргиза.

«Поджариваніе» пятокъ было въ то время самой обыкновенной пыткой и не однихъ только волжскихъ разбойниковъ. Ермакъ, вполнѣ довѣряясь Пану, не хотѣлъ смотрѣть на пытку. Онъ смолоду не выносилъ никакого вида страданій. Если билъ ножомъ или пулей, то билъ наотмашь, сразу присѣкая жизнь безъ мукъ и пытки. Въ этомъ могучемъ и богатырскомъ тѣлѣ недавняго разбойника жила все-таки прямая, великодушная и добрая душа.

Достигшій до него скрежетъ зубовъ и запахъ гари заставили его живо обернуться. Татаринъ лежалъ съ обуглившимися пятками и съ искаженнымъ страданіемъ лицомъ. Но глаза его попрежнему презрительно и гордо смотрѣли на всѣхъ.

— Ну-ка-сь, попытай еще разъ спросить, Ахметка. Авось, теперь рѣчистѣе будетъ, — приказалъ Ермакъ.

Послѣдній снова наклонился надъ плѣнникомъ. На этотъ разъ лицо пытаемаго приняло странное, почти радостное выраженіе. Побѣлѣвшія отъ страданій губы раскрылись. Онъ заговорилъ сразу много и часто какими то гортанными звуками, поминутно прерывая свою рѣчь.

— Ну, што? — обратился Ермакъ къ Ахметкѣ, когда плѣнникъ, повидимому, кончилъ.

Тотъ только покачалъ своей бритой головой.

— Артачится, господинъ... Слышь, что говоритъ то... Говоритъ, что до Кучумова града идти намъ еще долго: Тавдой, Тагиломъ, Тоболомъ да Иртышомъ... На Иртышѣ и будетъ Искеръ, сама столица Кучума... И еще говоритъ, что не допустятъ насъ къ Искеру ихніе вои... Што больше ста тысячъ набралъ рати Кучумъ и велѣлъ окопаться въ засѣкѣ, подъ Чувашьей горою... И еще говоритъ, бачка, што батырь у нихъ есть, Маметъ-Кулъ царевичъ, силы неописуемой, храберъ и отваженъ, што степной орелъ... Не подпуститъ и близко къ городу твою дружину... И што самъ Кучумъ-салтанъ хошь и старъ, и слѣпъ, и дряхлъ годами, а мужества у ево не занимать стать: разгромитъ онъ твою рать... Вотъ што говоритъ собака-Таузакъ.

Смертельная блѣдность покрыла при этихъ послѣднихъ словахъ лицо атамана. Ермакъ вздрогнулъ отъ гнѣва и грозно топнулъ ногою.

— Ручницу сюда мнѣ!—послалъ онъ снова зычнымъ голосомъ въ толпу казаковъ.

— Ишь, опалился атаманъ!.. Самолично собаку-нехристя похерить желаетъ,—тихимъ, чуть слышнымъ рокотомъ пронеслось по рядамъ дружины. Между тѣмъ Ермакъ, не спѣша, снялъ съ себя желѣзную кольчугу, повѣсилъ ее на вѣтку близъ стоящаго могучаго кедра и, отойдя на нѣсколько десятковъ шаговъ, вскинулъ ружье къ плечу.

Едва успѣлъ прогремѣть выстрѣлъ, какъ, словно юноша, бѣгомъ подбѣжалъ къ пробитой на-вылетъ желѣзной бронѣ Ермакъ и, схвативъ ее, поднесъ къ самому лицу татарина.

— Гляди... Видишь, што сдѣлала пуля моя... Мѣдь, желѣзо, булатъ, что твой пергаментъ рветъ она... Такъ и скажи твоему салтану: то же будетъ и съ имъ, коли не сдастся самъ добровольно и не сдастъ Искера-сто-

лицы и всего царства сибирскаго нашему Государю... Передай ты ему все это доподлинно, толмачъ.

Ахметка немедля исполнилъ приказаніе атамана. Но блѣдный какъ смерть киргизъ и безъ его разъясненія понялъ, казалось, въ чемъ дѣло. Понялъ, что далеко было стрѣламъ Кучума до этихъ могучихъ ручницъ, извергающихъ изъ себя дымъ и пламя.

А Ермакъ, какъ ни въ чемъ не бывало, говорилъ уже спокойно, стоя въ кругу казаковъ.

— Такъ-то, ребята, нескоро очухается отъ такой то пальбы нехристь... Полечи-ка ты ему разнымъ снадобьемъ пятки, дѣдушка Волкъ, ты вѣдь у насъ мастеръ на это... А какъ оправится, дать ему стругъ, да отпустить обратно въ Искеръ къ евоному салтану. Пускай попужаетъ хорошенько старика, да поразскажетъ ворону старому какимъ оружіемъ мы, вольные казаки, побѣждать его будемъ...

И, весело усмѣхаясь, отошелъ къ костру и занялъ свое прежнее мѣсто на войлокѣ могучій орелъ Поволжья.

Въ тотъ же вечеръ былъ отпущенъ въ челнѣ обратно къ Кучуму въ Искеръ князь Таузакъ...

Первая встрѣча Ермака съ татарами.

РИСУНОКЪ Н. ДМИТРІЕВА-ОРЕНБУРГСКАГО.

ГЛАВА IX.

Звѣзда Искера.—Байга.—Страшное видѣніе.

ЯГКАЯ, теплая осенняя погода.

Въ окрестныхъ урманахъ и тайгахъ, среди зеленой пышной хвои, сиротливо жались лиственницы, какъ безобразные скелеты мертвецовъ среди кудрявыхъ и стройныхъ красавицъ. Кое-гдѣ листва еще не опала, и красная осина, багровый тополь и золотыя пихты и березы, убранныя прихотливымъ капризомъ старой осени, умирали, одѣтыя въ багрянецъ и пурпуръ, нарядныя, какъ на пиру. Зеленая степь стала желтой. Цвѣты богульника, богородицыной травки и кукушкиныхъ слезъ давно поблекли. Отцвѣли и восковые бѣлые цвѣты брусники. Красныя, какъ кровь, ягоды кое-гдѣ оживляли посѣдѣвшую, постарѣвшую степь. Тамъ, сѣвернѣе къ Ледовитому морю, въ непроходимыхъ тундрахъ было ихъ царство. Здѣсь, въ степи, онѣ являлись рѣдкими

румяными улыбками среди вымиравшей степной флоры. Рядъ холмовъ, еще зеленоватыхъ отъ пышнаго мха, убѣгалъ въ даль волнующейся грядой.

Иртышъ еще не замерзъ [1]. Въ своемъ извилистомъ руслѣ, среди цѣлой бездны теченій, замкнутый высокимъ холмистымъ правымъ и плоскимъ лѣвымъ берегами, онъ бѣжитъ, стремительно роя землю въ каменистомъ, глинистомъ днѣ. Обычно голубой и красивый Иртышъ въ своихъ верховьяхъ, онъ покрытъ тиною и плѣсенью на нижнемъ теченіи. Но въ это позднее, глухое время онъ потемнѣлъ и надулся, точно недовольный предстоящимъ близкимъ заточеніемъ въ глубокихъ, холодныхъ льдахъ.

Въ окрестныхъ холмахъ и возвышенностяхъ клубился сѣровато-сизый туманъ. Старый Уралъ покрылся, точно траурнымъ флеромъ, его синимъ покрываломъ. О чемъ грустилъ старый Уралъ въ это мглистое утро?.. О чемъ пѣлъ тихо-тихо однотонно ропчущій Иртышъ?.. Никто-бы не объяснилъ тайну каменнаго великана и потемнѣвшихъ отъ гнѣва бурливыхъ водъ...

Искеръ давно проснулся.

Нѣсколько десятковъ юртъ, сложенныхъ изъ глины и нежженаго кирпича да вереска со мхомъ, на половину тѣсно прижатыя другъ къ другу и обнесенныя высокимъ валомъ съ двухъ сторонъ—вотъ что представляла тогда недосягаемая для враговъ столица Кучума. Гигантскія горы, окружая ложбину, предохраняли ее отъ набѣговъ непріятелей, образуя естественную стѣну, болѣе непобѣдимую, чѣмъ всѣ сооруженія рукъ людей. И только скатъ къ рѣкѣ, сбѣгавшій мхомъ и верескомъ, не былъ защищенъ. Съ трехъ сторонъ столицы высился тройной валъ, окруженный глубокими рвами. Гордо поднималась къ небу сторожемъ-исполиномъ огромная Чувашья гора, окруженная засѣками и окопанная рвами. Съ этой горы

[1] Иртышъ замерзаетъ отъ 23 октября или 25 ноября по 19 апрѣля—13 мая.

были хорошо видны окрестные городки и улусы подвластныхъ Кучуму осѣдлыхъ племенъ.

Искеръ проснулся. Въ степи, за валомъ паслись стреноженные кони и овцы, подъ присмотромъ, словно зашитаго въ мѣховую куртку, молодого киргиза-пастуха, съ кожаной камчи [1] въ рукахъ. Изъ боязни какого-нибудь джюрюга [2] бдительно караулитъ коней пастухъ. Вокругъ Искера лежатъ вспаханныя подъ весеннюю пшеницу поля. На берегу разложены сѣти. Изъ юртъ струится синеватый дымокъ отъ шора [3]. Видно по всему, что давно и прочно насижено туземцами это хорошо защищенное самой природой гнѣздо.

Въ одной изъ юртъ, разгороженной на нѣсколько частей войлочными коврами и шкурами убитыхъ медвѣдей и лосей, уютнѣе чѣмъ во всѣхъ остальныхъ жилищахъ Искера. Стѣны юрты или кереченé, какъ ихъ называютъ киргизы, поверхъ темныхъ замшившихся кошмъ и шкуръ убитыхъ медвѣдей, покрыты персидскими коврами. Входной иссыкъ [4] или, вѣрнѣе, простое отверстіе въ кошмѣ завѣшано такими-же коврами. Ими покрытъ и земляной полъ юрты. Что-то ароматное варится въ котлѣ надъ шоромъ, синій дымокъ котораго частью выходитъ въ верхнее отверстіе юрты, частью стелется въ ней легкимъ туманомъ, придавая жилищу сибиряка таинственно странный и красивый видъ. На стѣнахъ юрты висятъ кувшины, чашки и турсуки кумыса—единственнаго любимаго питья киргизовъ. У входа стоятъ безобразныя маленькія изображенія домашнихъ шайтанчиковъ или идоловъ, охраняющихъ семейный очагъ. Самъ Кучумъ издавна исповѣдуетъ мусульманскую вѣру и всѣмъ своимъ подданнымъ, не говоря уже о домашнихъ, велитъ молиться Аллаху и Магомету, пророку его, но, тѣмъ не менѣе, шайтанчики украшаютъ каждую юрту сибиряка.

[1] Нагайка. — [2] Степной воръ. — [3] Огонь. — [4] Дверь.

Въ этой роскошно-убранной юртѣ ихъ болѣе, нежели слѣдуетъ. На нихъ съ вѣрой и упованіемъ обращена пара красивыхъ, тоскующихъ глазъ. На нѣсколькихъ кошмахъ, свернутыхъ вмѣстѣ и образующихъ низкое ложе, покрытое мѣхами, лежитъ смуглая дѣвушка лѣтъ шестнадцати.

Тонкая, ровная, укутанная въ какую-то фантастическую одежду, родъ чапана [1] изъ бухарскихъ пестрыхъ шелковъ, съ черными, какъ смоль, косами, перевитыми ракушками и золотыми пластинками, съ головой, покрытой остроконечной шапочкой, унизанной бисеромъ, царевна Ханджаръ, любимая дочь Кучума, кажется нарядной не менѣе своей юрты. Несмотря на чуть выдвинувшіяся скулы и небольшіе, узкіе черные глаза, юная царевна прекрасна. Ея взоръ непроницаемъ и глубокъ какъ дремучая сибирская тайга. Ея смуглое личико алѣетъ краской нѣжнаго румянца, которому позавидовали-бы самые алые цвѣты Ишимскихъ степей. Не столько, однако, красотой, яркой какъ полярная звѣзда, сколько беззавѣтной отвагой и удалью плѣняетъ царевна... Но сейчасъ она печальна и тиха. Туманомъ легла тоска на черные глаза царевны, хотя подъ этимъ туманомъ такъ и сіяютъ, такъ и горятъ они, эти черные, блестящіе, восточные глаза. Недаромъ молоденькую Ханджаръ зовутъ звѣздою Искера. Недаромъ пуще зѣницы ока бережетъ и лелѣетъ дочку старый Кучумъ. Гордостью сибирскаго юрта считаютъ Ханджаръ и самые жители Искера.

У ногъ царевны лежитъ широкое, коренастое, все зашитое въ оленьи мѣха, существо. Плоское лицо этого существа и маленькіе каріе глазки съ явнымъ восторгомъ впиваются въ лицо царевны. Это Алызга, остяцкая княжна Алызга, бѣжавшая отъ Строгановыхъ къ своей обожаемой царевнѣ. Чисто собачьей предан-

[1] Халата.

ностью дышитъ каждая черта ея некрасиваго, скуластаго, широкаго лица.

Царевна молчитъ. Богъ знаетъ, какія думы тревожатъ подъ расшитымъ бисеромъ уке [1] эту дивную черно-кудрую головку. Тѣ-же мысли отражаются и въ преданныхъ глазахъ Алызги...

Вдругъ неожиданно вскочила на ноги царевна. Жалобно зазвенѣли всѣ ожерелья изъ ракушекъ и пластинокъ на ея смуглой шеѣ.

— Слушай, бійкемъ [2], —вскричала она, вспыхнувъ вся, начиная съ высокаго чела и кончая краями смуглой точеной, тоненькой шейки. — Слушай, бійкемъ... Я не могу понять чего хочетъ отецъ... Идетъ русскій батырь со своими воями... Надо-бы встрѣтить его съ найзами [3] и стрѣлами — мало ихъ што-ль у насъ? — выслать рать великую, преградить путь батырю, биться съ нимъ, одну ночь, двѣ, три ночи, —но непремѣнно одолѣть, въ полонъ взять, привязать къ хвостамъ кобыльимъ и пустить въ степь...

Ханджаръ топнула маленькой ножкой, обутой въ мягкій козій башмакъ, и бѣшено сверкнула очами. Она едва не задохнулась отъ захватившаго ее порыва. Потомъ, помолчавъ немного, снова заговорила такъ же возбужденно со сверкающими глазами и порывистыми движеніями рукъ:

— А побѣдятъ наши, пускай дальше идутъ, за горы, на русскіе улусы нападутъ, куловъ [4] наберутъ — того синеокаго, что вызволилъ тебя изъ неволи, да дѣвчонку ту, что держала тебя шесть лѣтъ на запорѣ, Алызга моя, —съ худо скрытою злобою закончила царевна.

— Она любила меня, повелительница, — тихо произнесла остячка.

— Пускай въ Хала-турмъ провалится—ея—лю-

[1] Дѣвичій головной уборъ. — [2] Княжна. — [3] Пиками. — [4] Плѣнниковъ.

бовь! — еще съ бо̀льшимъ гнѣвомъ крикнула молоденькая ханша.—Для себя любила, какъ забаву любила мою джясырь [1]...

— Твоя джясырь съ тобою снова,—произнесла съ чувствомъ Алызга. — Видишь, къ отцу въ Назымъ не поскакала я, сюда, къ тебѣ пришла. И брата привела съ собою... О, большой человѣкъ братъ Имзега!.. Самъ грозный Уртэ-Игэ внималъ ему у Ендырскаго потока... Великій бакста—Имзега, мой братъ...

— А что говоритъ братъ твой, какъ кончится походъ невѣрнаго батыря? До коихъ поръ дойдутъ русскіе вои?—нетерпѣливо спрашивала Ханджаръ.

— Не вѣдаю, царевна. Кабы вѣдала, все пересказала тебѣ, звѣзда очей моихъ, цвѣтокъ Ишимской степи, бѣлая лилія Иртыша, — искренно сорвалось съ устъ Алызги.—Одно скажу, коли придетъ грозный батырь къ Искеру, возьму я, найду брата Имзегу, встану въ ряды нашихъ батырей и до послѣдней капли крови буду защищать тебя, царевна моя.

Карiе глазки Алызги при этихъ словахъ зажглись одушевленіемъ. Скуластое, широкое лицо озарилось теплымъ свѣтомъ. Но на Ханджаръ иначе подѣйствовали слова Алызги.

— Коли придутъ сюды невѣрныя собаки, — вся блѣднѣя отъ гнѣва и ненависти вскричала она, — я выйду съ братьями, Абдулъ-Хаиромъ и юнымъ Алеемъ, на городской валъ и только по трупамъ нашимъ проникнутъ въ Искеръ собаки!.. Недаромъ зовутъ меня Ханджаръ!..[2]—заключила она, дрожа всѣмъ тѣломъ и крѣпко сжимая въ кулаки свои смуглыя руки.

— О, царевна, сладкій кораллъ души моей, звѣзда страны сибирской, вмѣстѣ жили, вмѣстѣ и умремъ!

---

[1] Рабыня. — [2] Ханджаръ значитъ ножъ; по киргизскимъ обычаямъ даютъ новорожденнымъ имя — названіе перваго попавшагося на глаза предмета.

И Алызга, упавъ на мягкія кошмы, коснулась горячимъ лбомъ маленькой ножки ханши.

Та оцѣнила преданность своей подруги, положила смуглую ручку на голову остячки и произнесла тихо и ласково, точно воркуя, своимъ звонкимъ голоскомъ:

— У тебя, бійкемъ-Алызга, хорошая, свѣтлая душа. Твои рѣчи звучатъ, какъ серебряный сыбызсой [1]. Такъ можетъ говорить не купленная рабыня, а акъ-сюянь [2], благородное, преданное сердце. Спасибо, Алызга... А теперь прикажи Искендеру сѣдлать айгара [3]. На байгѣ [4] хочетъ сегодня, какъ станетъ падать солнце, скакать Ханджаръ... Скажи брату, пускай скличетъ нашихъ батырей.

Едва только проронила послѣднее слово Ханджаръ, какъ Алызга уже исчезла за тяжелымъ ковромъ иссыка, привыкшая стрѣлою носиться по приказанію своей госпожи.

. . . . . .

— На байгу!.. На байгу!..—веселымъ гуломъ пронеслось по степи, и цѣлая ватага Искерскихъ молодцовъ вылетѣла на своихъ лихихъ скакунахъ изъ воротъ улуса.

Вихремъ облетѣла Искеръ радостная вѣсть — царевна Ханджаръ зоветъ на байгу.

О смѣлости, удали и ловкости царевны Ханджаръ стоустая молва разнесла вѣсть далеко. На крупѣ удалого киргизскаго коня выросла царевна. Сама степь вложила силу и ловкость въ это тонкое, изящное тѣло, въ эти смуглыя руки, умѣющія лучше любого наѣздника управлять скакуномъ.

Въ то время, какъ жены ея отца пряли ткани, одежды, гнали кумысъ и сводили сплетни, да перебранивались между собою, царевна Ханджаръ дикой птицей

---

[1] Флейта. — [2] Благородная бѣлая кость. — [3] Жеребца. — [4] Состязаніе въ родѣ джигитовки.

носилась по степи съ нагайкой въ рукѣ, подставляя вѣтру и солнцу свое прелестное, юное лицо, полное удали и восторга.

И сейчасъ среди дѣвушекъ-прислужницъ она вылетѣла въ степь, подобная быстрой молніи, на своемъ конѣ.

Туманъ расплылся, и пожелтѣвшая ложбина, съ высохшей отъ осени травой и цвѣтами, казалась золотою.

У городского вала толпилась группа всадниковъ. Это были первые батыри Искера, удалая молодежь, гордость Кучумова юрта.

Впереди всѣхъ красовались два брата Ханджаръ отъ перваго брака: старшій Абдулъ-Хаиръ и младшій Алей, красивый, стройный мальчикъ, соперничавшій въ удали съ сестрою Ханджаръ.

Послѣдняя выскочила на своемъ айгарѣ впередъ. Смѣнивъ легкій бухарскій чапанъ на мѣховую куртку и узкія кожаныя шаровары, въ своей остроконечной шапкѣ, она скорѣе походила на красиваго мальчика-удальца, нежели на дѣвушку-царевну. Только черныя змѣи ея косъ, вырываясь изъ-подъ шапки, десяткомъ тонкихъ прядей разбѣгались вдоль спины и бедеръ.

Легкимъ ударомъ нагайки она заставила своего коня подскочить къ группѣ мужчинъ.

— Гей, батыри Искера и вольныхъ Ишимскихъ степей, кто хочетъ словить меня сегодня?.. Кто угонится за моимъ айгаромъ? Кто схватитъ меня на-лету изъ сѣдла?.. Кто захочетъ отвѣдать моей нагайки ? — кричала она весело и разразилась веселымъ смѣхомъ.

Разсмѣялись эхомъ за нею и дѣвушки ея свиты.

Смѣялись громко, задорно.

Ропотъ прошелъ по группѣ мужчинъ. Не ударовъ нагаекъ боялись юноши Искера, тѣхъ безжалостныхъ, могучихъ ударовъ, которые наносила, спасаясь отъ пре-

слѣдованія невѣста-дѣвушка во время игры. Дѣло въ томъ, что байга не была простымъ развлеченіемъ молодежи. Ей придавалось особое значеніе. Тотъ молодецъ, который догналъ бы на всемъ скаку дѣвушку-наѣздницу, по установленному среди киргизовъ обычаю, дѣлался ея обладателемъ, супругомъ. Но никто изъ самыхъ близкихъ карочей [1] двора Кучума не посмѣлъ бы дерзнуть погнаться за любимой дочерью, «зѣницей ока», своего хана въ надеждѣ, что она станетъ его женой. Надо было быть царской крови, чтобы явиться искателемъ руки красавицы Ханджаръ. Вотъ почему нерѣшительность и робость царили въ группѣ мужчинъ.

Царевна Ханджаръ между тѣмъ смѣялась все обиднѣе и рѣзче:

— Эй, батыри!—кричала звонкимъ голосомъ она,—аль приросли къ землѣ?.. Выѣзжай, кому любо... Или, можетъ, приближеніе кяфыровъ [2] лишило васъ удали, друзья?.. Такъ они еще далече, трусы... Далеко имъ до насъ... Въ пухъ и прахъ разобьютъ ихъ отцовскія дружины, какъ посмѣютъ приблизиться къ намъ... Выѣзжайте же смѣлѣй... Аль нѣтъ такого?... Перевелись, знать, алактаи [3] въ нашемъ юрту... Эхъ, кумысъ вамъ съ бабами гнать, трусы, пряжу ткать, а не на айгарахъ молніей носиться! — съ новымъ взрывомъ смѣха заключила она.

Заскрипѣли отъ судорожной злобы зубы батырей. Не одна смуглая рука впилась въ рукоятку ножа. Не одинъ взоръ сверкнулъ бѣшенствомъ въ лицо царевны. Въ открытый гулъ переходилъ ропотъ. Юноша Алей, сверкая глазами, ринулся впередъ.

— Не поноси нашихъ удальцовъ, сестра! Сама знаешь, не смѣютъ дерзнуть они,—запальчиво крикнулъ онъ.

---

[1] Вельможи. — [2] То же что урусы на Кавказѣ — невѣрные. — [3] Богатыри.

— А ты найди такого, который смѣетъ,—усмѣхнулась Ханджаръ своими черными глазами и тутъ же испустила легкій крикъ.

Изъ толпы выдѣлился всадникъ на красивомъ гнѣдомъ жеребцѣ. Огромный, широкоплечій, могучій, онъ точно придавливалъ коня всей своей тяжестью. Его огромная голова и широкое, характерное, скуластое лицо, казалось, принадлежали какому то великану!

Царевна Ханджаръ вздрогнула при видѣ его. Богатырь Маметъ-Кулъ былъ царской крови, потому что приходился дальнимъ племянникомъ Кучуму. Царевичъ Маметъ-Кулъ могъ участвовать въ погонѣ за царскою дочерью. Но этого то и боялась болѣе всего Ханджаръ. Его безобразное, скуластое лицо, исполненное свирѣпости и злобы, внушало ей отвращеніе и отталкивало отъ него.

— Если онъ увяжется за мною, велю прекратить байгу,—вихремъ пронеслось въ ея мысляхъ, но тутъ же она отбросила свое намѣреніе, какъ недостойное царевны Ханджаръ.

— Отступить отъ байги, значитъ струсить... Пусть знаютъ, что ничего не трушу я никогда,—гордо выпрямлясь въ сѣдлѣ мысленно рѣшила дѣвушка.

И, быстро налетѣвъ чуть-ли не на самаго Маметъ-Кула, она крикнула задорно и громко во весь голосъ:

— Биркъ-буль! [1]

Потомъ изо всей силы ударила своего айгара нагайкой и стрѣлою помчалась въ степь.

Царевичъ Маметъ-Кулъ поскакалъ за нею.

Вихремъ, молніей летѣли кони: Ханджаровъ айгаръ впереди, Маметкуловъ—сзади. Пыль клубами вылетала изъ-подъ копытъ. Вся изогнувшись змѣйкой, почти лежа на спинѣ коня, мчалась Ханджаръ съ пылающими отъ жгучаго удовольствія щеками. Ея черные глаза сыпали

[1] Держись!

міріады искръ. Изрѣдка срывался съ побѣлѣвшихъ отъ волненія губокъ рѣзкій гортанный окрикъ, и удары камчи одинъ за другимъ сыпались на лоснящіеся отъ пѣны бока коня... Но и царевичъ Маметъ-Кулъ не отставалъ отъ красавицы. Онъ давно и тайно вздыхалъ по чернымъ очамъ «Звѣзды Искера» и только медлилъ засылать дженге,[1] избѣгая гнѣва Кучума, дружбой котораго очень дорожилъ. Похитить, просто выкрасть, по обычаямъ юрта, Ханджаръ онъ тоже опасался: ханъ могъ распалиться за это гнѣвомъ на него. И вообще отчаянно смѣлый въ набѣгахъ и стычкахъ съ врагами, безстрашный Маметъ-Кулъ боялся этой тоненькой, какъ стройная пихта, гибкой дѣвочки съ насмѣшливо искрящимися глазами.

Но теперь ему представляется чудесный случай по древнему киргизскому обычаю добыть себѣ эту дѣвочку въ жены посредствомъ байги, и онъ, загораясь счастьемъ, какъ бѣшеный скакалъ за ней... Вотъ все меньше и меньше дѣлается разстояніе между ними. Морда его лошади приходится почти у крупа ея коня. Стоитъ ему только протянуть руку... Но въ тотъ же мигъ ударъ нагайки ошеломляетъ царевича. Кровавый рубецъ ложится полосою на его щеку и шею. Ханджаръ, какъ змѣйка, съ хохотомъ выскользаетъ изъ его рукъ и, новымъ ударомъ попотчивъ своего айгара, уносится далеко въ степь.

Бѣшенство, глухая злоба и обида разрываютъ на части душу Маметъ-Кула. Обезумѣвшій, ожесточенный, онъ ринулся за Ханджаръ, изо всей силы хлеща своего коня нагайкой... Но Ханджаръ трудно было нагнать. Она была далеко... Маметъ-Кулъ взвылъ отъ злобы... Еще и еще ударъ... Удары безъ числа и счету... Дикая киргизская лошадь несется теперь, чуть касаясь ногами земли.

---

[1] Сваха.

Ханджаръ уже близко... Ханджаръ всего въ двухъ, трехъ саженяхъ отъ своего преслѣдователя... Ура! Она уже въ его рукахъ... Не помня себя отъ радости Маметъ-Кулъ кинулся впередъ, въ два скачка очутился подлѣ дѣвушки.

— Пришлю къ тебѣ дженге, царевна!—вскрикнулъ онъ радостно и обнялъ Ханджаръ. Обнялъ и отскочилъ отъ нея вмѣстѣ со своимъ конемъ. Глаза Ханджаръ были широко раскрыты. Въ нихъ отражался ужасъ. Ужасъ былъ написанъ и на всемъ поблѣднѣвшемъ мгновенно лицѣ.

Она подняла руку и молча указала въ даль нагайкой. Маметъ-Кулъ взглянулъ и, испустивъ крикъ ужаса, закрылъ лицо руками.

Страшное видѣніе представилось взорамъ обоихъ.

ГЛАВА X.

Бѣлый волкъ и черная собака.—Объясненіе шамановъ. — Печальный гонецъ. — Живая награда.

То, что увидѣли Ханджаръ съ Маметъ-Куломъ, увидѣли и всѣ, присутствующіе на байгѣ, и весь Искеръ, и все царство сибирское.

Серебристый туманъ, какъ дымъ изъ кадильницы, нѣжной пеленою разостлался снова по степи, протягиваясь фатою надъ побагровѣвшими водами Иртыша. Забили пурпурно-кровавыя волны и надъ ними, на широкомъ, лишенномъ растительности островкѣ появился огромный волкъ, весь бѣлый какъ сугробъ снѣга. Онъ медленно подвигался къ сторонѣ Искера, потупивъ острую морду къ землѣ и угрюмо глядя на раздѣлявшія его отъ берега красныя, какъ кровь, волны Иртыша.

Вдругъ громовой лай послышался откуда то съ противоположнаго берега, и страшное, мохнатое черное чудовище, похожее на исполинскую собаку, по-

казалось на берегу. Его дико выпученные глаза были такъ же налиты кровью, какъ и струи рѣки. Огромные зубы лязгали зловѣще. Пламя выходило клубами изо рта. Въ одинъ прыжокъ оно съ глухимъ ворчаніемъ перескочило раздѣляющій берегъ отъ островка потокъ и, метнувшись на спину волка, съ остервѣненіемъ впилось въ его шею зубами. Началась ожесточенная борьба. Оба чудовища грызлись не на жизнь, а на смерть. То побѣждалъ бѣлый волкъ, то одерживала вверхъ черная собака. Клочья шерсти летѣли во всѣ стороны. Глухое рычанье разносилось по степи. Люди на берегу, собравшись огромною толпою, съ ужасомъ глядѣли за исходомъ битвы. И вотъ, черная собака испустила новый, страшный и могучій, какъ раскатъ грома, лай и, перекусивъ волку горло, вскинула его на воздухъ и швырнула въ кровавыя волны Иртыша. И тотчасъ же закипѣла кровавая пѣна, а надъ нею въ воздухѣ повисъ серебристый отблескъ бѣлыхъ церквей съ крестами и монастырей какого то христіанскаго города. Одновременно послышался звонъ, нѣжный, звучный и протяжный, тотъ «малиновый» перезвонъ, какимъ христіанскіе храмы встрѣчаютъ прихожанъ въ праздничные дни.

Отчаянное смятеніе, суматоха и паническій ужасъ охватилъ столпившихся на берегу зрителей.

— Шамановъ сюда!.. Пускай объяснятъ видѣнье!— послышался грозный окрикъ, и сѣдой старикъ, высокій и плотный, съ коричневымъ, изрытымъ морщинами лицомъ, со сросшимися надъ переносицей бровями, съ тусклымъ, ничего не видѣвшимъ взоромъ, сдѣлалъ повелительный жестъ рукою. Онъ былъ въ горностаевомъ халатѣ, подбитомъ соболями и обшитомъ золотыми пластинками по бортамъ и воротнику. Въ видѣ пуговицъ шли онѣ въ четырнадцать рядовъ сверху до низу его верхней одежды. Высокій желѣзный шлемъ въ три вѣнца, съ навершьемъ, заканчивающимся перомъ, украшалъ его

голову. Вокругъ вѣнцовъ были начертаны индійско-тибетскія письмена. Онъ былъ величественъ и грозенъ на видъ, этотъ незрячій, но крѣпкій и сильный старикъ, весь словно вылитый изъ бронзы. Это былъ Кучумъ-Шейбанидъ, сынъ Муртозы, великій и грозный ханъ сибирскій.

Въ 1563 году въ отомщеніе за смерть своего дѣда, зарѣзаннаго Едигеромъ, Кучумъ пришелъ въ Искеръ и, убивъ Едигера и брата его Бекбулата, возсѣлъ на престолѣ ханскомъ. Онъ сумѣлъ подчинить себѣ всѣхъ окрестныхъ инородцевъ стрѣлами и ножами и заставить ихъ платить ему ясакъ. Онъ первый ввелъ магометанскую вѣру въ идолопоклоннической Сибири,ославъ къ эмиру Бухарскому, Абдуллу-Богодуръ-Хану за учителями для распространенія ислама. Но, несмотря на то, что Кучумъ былъ ярымъ мусульманиномъ, въ его душѣ прочно жилъ дикарь-идолопоклонникъ. Онъ вѣрилъ предсказаніямъ баксовъ, шамановъ и колдуновъ и прибѣгалъ къ ихъ колдованіямъ въ самыя трудныя минуты жизни. И сейчасъ, когда стоявшій подлѣ него любимый младшій сынъ передалъ ему все происходившее, явная тревога отразилась на лицѣ хана.

— Шамановъ сюда!..—приказалъ онъ еще разъ. И по этому хорошо знакомому, повелительному голосу владыки Искера заколыхалась огромная толпа на берегу. Нѣсколько человѣкъ спѣшно выдвинулось впередъ, среди почтительно разступившейся свиты Кучума.

Ихъ куртки были сшиты изъ разноцвѣтныхъ лоскутьевъ матерій, узкихъ и длинныхъ, въ видѣ красныхъ и зеленыхъ полосъ. Узкіе-же штаны также пестрѣли такими же полосами. На спинѣ кафтана нашитъ былъ густой рядъ спицъ, длиною въ палецъ, а на плечахъ торчали большіе пучки совьихъ хвостовъ. Остроконечный войлочный колпакъ весь былъ увѣшанъ бубенчиками и раковинами. Изъ подъ колпака вилась туго заплетен-

ная и черная, какъ сажа, косица. Огромная кобза [1] и бубны были у нихъ подъ-мышкой. Ожерелья изъ ракушекъ и пластинокъ покрывали шею.

Это и были шаманы, вершители судебъ не только киргизовъ, но и всѣхъ Сибирскихъ народовъ. Ихъ лица, испещренныя рубцами, опаленныя огнемъ, худыя и коричневыя, являли собою смѣсь чего-то таинственнаго и, въ то же время, отталкивающе противнаго.

Впереди всѣхъ стоялъ сѣдой старикъ-шаманъ съ побѣлѣвшей отъ времени косицей. Но, несмотря на старость, онъ казался юношей со своимъ пронырливымъ и быстро бѣгающимъ взоромъ. Цѣлая масса камешковъ и бляхъ покрывала его грудь и шею, издавая при каждомъ движеніи шамана рѣзкій, раздражающій звукъ.

— Что велишь, повелитель? — почтительно склоняясь передъ слѣпымъ ханомъ обратился онъ отъ себя и своихъ товарищей къ Кучуму.

— Ступай за мной въ мой юртъ, Аксакалъ, и тѣ, что пришли съ тобою: Куноръ-бай, Куте-бара и другіе, всѣ ступайте... Мои мертвыя очи не могли зрѣть знаменія, о которомъ мнѣ сейчасъ разсказали, но ты долженъ былъ видѣть его, Аксакалъ...

— Такъ, повелитель...

— Ступай-же въ юртъ съ помощниками своими... Пусть самъ шайтанъ откроетъ тебѣ значеніе видѣнія надъ рѣкою... И да проститъ мнѣ Аллахъ и Магометъ, пророкъ его, что я взываю на помощь шайтана...

И онъ снова сдѣлалъ шаманамъ знакъ слѣдовать за собою.

Поддерживаемый съ одной стороны вельможей Карачей, съ другой сыномъ Алеемъ, Кучумъ двинулся медленно къ самой большой и просторной юртѣ во всемъ

[1] Родъ большой мандолины, на которой играютъ при помощи смычка.

Искерѣ. Четыре шамана и приближенные хана на почтительномъ разстояніи слѣдовали за нимъ.

. . . . . .

Послѣдніе уголья дотлѣвали на шорѣ, фантастически причудливымъ свѣтомъ озаряя исковерканныя рубцами и незажившими ранами лица четырехъ шамановъ. Запахъ остраго и пряннаго куренья стоялъ въ юртѣ. Старикъ Аксакалъ поднялъ свою кобзу и, медленно водя по ней смычкомъ, сталъ обходить вокругъ потухающаго шора. Три другіе шамана слѣдовали за нимъ, напѣвая что-то непонятное и заунывное глухими загробными голосами и изрѣдка ударяя въ бубны костлявыми, желтыми руками.

— Кайракакъ!.. Койракомъ!.. Аласъ!.. Аласъ!.. Аласъ!..—только и слышно было бормотанье старшаго баксы.

Кучумъ, со скрещенными на груди руками, сидѣлъ на кошмахъ, крытыхъ шкурами медвѣдей. Молчаливая свита окружала его. Всѣ взоры впивались со жгучимъ нетерпѣніемъ въ шамановъ, которые все быстрѣе и быстрѣе обѣгали тлѣющій шоръ. Все громче и рѣзче пиликалъ смычокъ и звенѣли бубны. Наконецъ, бѣготня превратилась въ настоящую скачку. Шаманы подпрыгивали на мѣстѣ, вертѣлись волчками, кривлялись, съ пѣной у рта, дико поводя вытаращенными глазами... Бубны заливались... Смычокъ замолкъ. Теперь Аксакалъ далеко отшвырнулъ отъ себя звенящую кобзу на кошмы и закружился, неистово колотя въ бубны... Его сѣдая косичка и острая щетина изъ спицъ на спинѣ закружились тоже, придавая ему видъ взъерошеннаго волка... Вотъ онъ выхватилъ изъ-за полы своего пестраго, полосатаго кафтана ножъ и сталъ наносить имъ себѣ въ грудь ударъ за ударомъ... Кровь брызнула изъ ранъ, обагривъ кошмы и ковры. Аксакалъ въ корчахъ упалъ на потухшій шоръ... За нимъ слѣдомъ попадали и остальные

баксы... Пѣна, потъ и кровь съ ихъ обезображенныхъ тѣлъ полились ручьями на землю.

Вдругъ, весь сведенный судорогами, поднялъ съ горячихъ угольевъ начинавшую уже тлѣть голову старшій бакса... Ужасъ и безуміе отразились на его залитомъ кровью лицѣ.

— Могучій ханъ, слушай!..—захрипѣлъ онъ, дико вращая глазами.—Великіе Духи черезъ меня, вѣрнаго раба твоего, открыли тайну... Погибель приходитъ царству Сибирскому... Проклятые кяфыры идутъ сюда... Они уже близко... Мое сердце чуетъ ихъ... О, великій ханъ, горе тебѣ и намъ!.. Бѣлый волкъ погибъ отъ черной собаки кяфыровъ... О горе!.. горе!..

— Ты лжешь мнѣ, трусъ!.. — забывшись въ бѣшенствѣ вскричалъ Кучумъ, какъ юноша вскакивая съ своей кошмы.—Я велю сегодня-же сбросить тебя въ волны Иртыша, собака! Ступай къ своему шайтану, вѣстникъ горя и зла!

И, выхвативъ стрѣлу изъ-за пояса, онъ, руководимый инстинктомъ слѣпого, сталъ мѣтко цѣлить въ голову баксы.

Вельможи, царевичи и свита съ ужасомъ смотрѣли на невиданное и неслыханное дѣло. Неужели Кучумъ рѣшится бросить стрѣлу въ предсказателя! Особа шамана была священна. Оскорбить шамана значило разгнѣвить самого великаго шайтана. Но никто не смѣлъ напомнить объ этомъ хану. Кучумъ былъ страшенъ. Со сверкающимъ взоромъ ничего не видящихъ глазъ, съ перекошеннымъ отъ бѣшенства ртомъ и сведенными бровями—онъ представлялъ собою полное олицетвореніе гнѣва и грозы. Стрѣла, направленная на шамана, готова была уже вылетѣть изъ лука, какъ неожиданно поднялась тяжелая кошма юрты, и царевна Ханджаръ быстро влетѣла въ юрту. Ея глаза пылали какъ уголья, черныя косы бились о спину и грудь. Бисерное украшеніе упало съ

головы и кудрявившіяся пряди черныхъ, какъ смоль, волосъ окружили сіяніемъ изжелта-блѣдное личико.

— Отецъ!.. Отецъ!.. Удержи руку, повелитель!.. Бакса изрекъ истину!.. Кяфыры близко!.. Ужасный гонецъ спѣшитъ къ тебѣ!..

И, съ громкимъ воплемъ опустившись на кошмы, обняла ноги Кучума.

Почти слѣдомъ за нею вбѣжалъ гонецъ. Его одежда была въ клочьяхъ. Войлочной шапки-колпака не было на головѣ. Небольшая тюбетейка покрывала бритое темя. Онъ задыхался отъ волненія и бѣга и почти пластомъ упалъ у ногъ своего владыки, рядомъ съ царевной Ханджаръ.

— Князь Таузакъ?!. — вскричала въ одинъ голосъ свита Кучума. — Откуда ты, князь?!.

Но Таузакъ молчалъ. Слышенъ былъ лишь хрипъ изъ его груди.

Тогда Кучумъ положилъ свою желтую, какъ пергаментъ, руку на черненькую головку Ханджаръ.

— Звѣзда и солнце моихъ слѣпыхъ очей, принеси гонцу турсукъ [1]. Пусть освѣжитъ ссохшіяся уста...

— Благодарю, повелитель...—простоналъ Таузакъ.

Ханджаръ легче козочки вскочила на ноги, выбѣжала въ сосѣднее отдѣленіе юрты и въ одну минуту появилась снова съ мѣхомъ въ рукѣ, наполненнымъ кобыльимъ молокомъ.

— Пей во имя пророка, — произнесла она, подавая курдюкъ Таузаку.

Тотъ жадно припалъ къ нему губами. Потомъ отвелъ турсукъ и вскричалъ дрожащимъ голосомъ:

— Повелитель Ишимскихъ и Воганскихъ степей, великій ханъ Сибирскихъ народовъ, горе намъ!.. Кяфыры близко... Они плывутъ по Тавдѣ, государь... Скоро бу-

[1] Курдюкъ кумыса.

дутъ у устьевъ Тобола... Они могущественны и сильны, русскіе вои... Самъ шайтанъ помогаетъ имъ... Когда стрѣляютъ они изъ своихъ мѣдныхъ луковъ, какихъ нѣтъ у насъ, государь, огонь выскакиваетъ и опаляетъ пламенемъ, дымъ валитъ клубами и гремитъ гулъ далеко окрестъ... Стрѣлъ почти что не видно, а уязвляютъ онѣ ранами и побиваютъ на смерть... Защититься никакими разными сбруями нельзя отъ нихъ, повелитель: все прорываютъ, все колятъ насквозь...

Сказалъ свою рѣчь Таузакъ, хотѣлъ еще прибавить слово, но не смогъ. Усталость и пережитыя муки долгаго пути дали себя почувствовать гонцу. Онъ зашатался, приникъ къ землѣ и безсильно замеръ у ногъ Кучума.

Послѣдній какъ стоялъ, такъ и остался съ поднятымъ лукомъ и натянутой стрѣлой.

— Великъ Аллахъ и Магометъ, пророкъ его!.. — произнесъ онъ внятно, воздѣвая руки надъ головою. — Во всемъ могучая воля Аллаха!.. Въ Тоболъ вступаютъ?.. По Тавдѣ плывутъ? — спросилъ онъ снова у гонца.

— На Тавдѣ видѣлъ ихъ, государь. Въ Тоболъ не сегодня-завтра войдутъ. Схватили меня, когда я высмотрѣть хотѣлъ ихъ по твоему велѣнію, — ослабѣвшимъ голосомъ ронялъ Таузакъ, — палили изъ луковъ своихъ... Желѣзо и мѣдь насквозь пробивали... Отпустили съ тѣмъ, чтобы упредить о сдачѣ тебя, государь...

— Собаки!..—грозно и сильно вырвалось изъ груди Кучума, — не думаютъ-ли побѣдить меня ничтожною горстью воиновъ своихъ!.. Много-ли насчиталъ ты ихъ, Таузакъ?

— Поменѣе тысячи будетъ, государь... И ведетъ ихъ алактай могучій... Какъ Аллу слушаются его поганые кяфыры...

— Менѣе тысячи... и ведетъ алактай...—усмѣхнулся слѣпой ханъ своими гордыми устами. — Но и у насъ не

мало есть могучихъ алактаевъ и батырей... Ихъ менѣе тысячи, а насъ десятки, сотни тысячъ... А что дымомъ и огнемъ палятъ, не страшно это... Аллахъ хранитъ правовѣрныхъ... Ступай, отдохни, Таузакъ. Къ закату зайди въ мою юрту, разскажешь все подробно о томъ, что слышалъ и видалъ... А теперь уйдите всѣ, князья и карочи-вельможи... Пусть останутся только дѣти мои, Абдулъ-Хаиръ и Алей и ты, радость дней моихъ, лучъ солнца среди моей печали, царевна Ханджаръ,—приказалъ онъ ласково.

— И ты, Маметъ-Кулъ, и ты останься съ нами,— быстро прибавилъ Кучумъ.

Богатырь-царевичъ, послѣдовавшій, было, слѣдомъ за остальными, остановился и, мягко ступая своими оленьими сапогами, неслышно приблизился къ дядѣ.

— Слушай, Маметъ-Кулъ,—произнесъ Кучумъ, почуя его инстинктомъ слѣпого рядомъ съ собою.—Аллахъ прогнѣвался на меня и лишилъ возможности видѣть любимую дочь-царевну, поразивъ слѣпотою очи мои. Но я не разъ слыхалъ, какъ воспѣвали ее подъ звуки домбры лучшіе пѣвцы Искера... Я слыхалъ, что съ кораллами сравнивали ея уста, съ дикими розами Ишимскихъ долинъ—ея алыя щечки, съ быстрыми струями Иртыша—ея черные, искрометные глаза. Ловкостью и смѣлостью она превзойдетъ всѣхъ юношей Искера. Недаромъ покойная ханша Сызге, мать царевны, на смертномъ одрѣ предсказала ей счастливую будущность... Я дамъ за нею лучшіе мои табуны, лучшихъ кобылицъ и курдючныхъ овецъ имъ въ придачу... Шелковыхъ чапановъ намѣняю отъ Бухарскихъ купцовъ... Завалю твою юрту тартою [1], царевичъ... Возьми все, дарю тебѣ въ жены красавицу Ханджаръ... Но за это... за это ты, царевичъ, побѣдишь мнѣ русскаго алактая.

---

[1] Гостинцы, подарки.

Кучумъ кончилъ. Его грудь бурно вздымалась. Его лицо, мертвенно-блѣдное до сихъ поръ, пылало и покрылось багровымъ старческимъ румянцемъ. Его рука обвила стройныя, гибкія плечи Ханджаръ, поблѣднѣвшей какъ саванъ.

Какъ?! Она будетъ женою этого безобразнаго, огромнаго Маметъ-Кула? Не глядя на нее, отецъ отдастъ ее, какъ рабыню, въ юрту царевича?! И все изъ-за нихъ, изъ-за проклятыхъ кяфыровъ, съ приближеніемъ которыхъ приблизились къ ней всѣ бѣды и горести заразъ!

Полная отчаянія и ужаса она едва слышала, что говорилъ ея отецъ сіяющему теперь отъ счастья Маметъ-Кулу.

— Мои сыновья еще молоды... Если убьютъ Абдулъ-Хаира собаки-русскіе, мнѣ некому будетъ послѣ смерти оставить Искеръ. Проклятый Сейдакъ [1] рыщетъ по степи со своими наѣздниками и ждетъ случая занять отцовское мѣсто... Алей еще мальчикъ... Его рано отсылать въ походъ и ханша Салтанета взвоетъ, какъ волчица, отъ горя, если придется съ нимъ разстаться... Тебѣ, царевичъ Маметъ-Кулъ, поручаю войско... Ты поведешь его берегомъ Тобола... Темною ночью ты съ воинами протянешь цѣпи на рѣкѣ, чтобы прервать ими путь кяфырамъ, и всею ратью обрушишься на нихъ... Выбери надежныхъ батырей, Маметъ-Кулъ... Кликни кличъ кочевымъ киргизамъ и съ помошью Аллаха Ханджаръ твоя...

— Я исполню все, какъ ты велишь, повелитель, и самъ пророкъ да поможетъ намъ! — грубымъ, зычнымъ своимъ голосомъ вскричалъ Маметъ-Кулъ и, почтительно приложивъ край ханской одежды къ челу и устамъ, вышелъ изъ юрты.

Вышли и младшіе царевичи, вышла и Ханджаръ. Цѣлая буря клокотала въ душѣ юной царевны. Она—

---

[1] Сынъ убитаго Бекбулата—злѣйшій врагъ Кучума.

обѣщанная невѣста Маметъ-Кула, этого звѣря съ ожесточеннымъ въ бояхъ сердцемъ, въ которомъ не осталось ни капли нѣжности ни для кого!

— О, Алызга!—шептала она, придя къ себѣ и упавъ на грудь своей любимой бійкемъ-джясыри [1].—О, Алызга, сколько зла причинили они...

И, выпрямившись во весъ свой стройный ростъ, какъ испуганная газель поводя глазами, добавила, вся трепеща отъ ужаса и тоски:

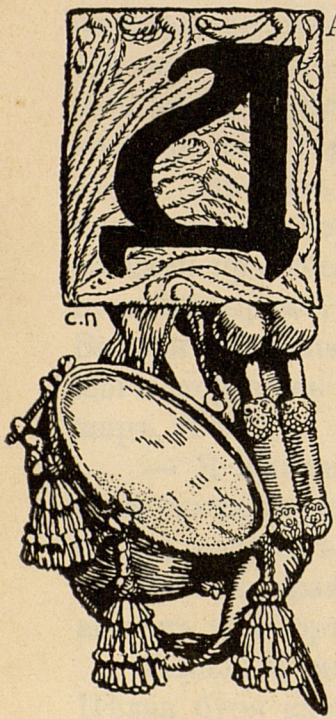
— О, только бы не взяли Искера, Алызга моя... Клянусь, я буду доброй и любящей женой Маметъ-Кула, лишь бы избавилъ онъ отъ горя и позора старую голову моего бѣднаго, слѣпого отца...

И зарыдала навзрыдъ впервые въ своей жизни звѣзда Искера, красавица Ханджаръ...

[1] Княжна-рабыня.

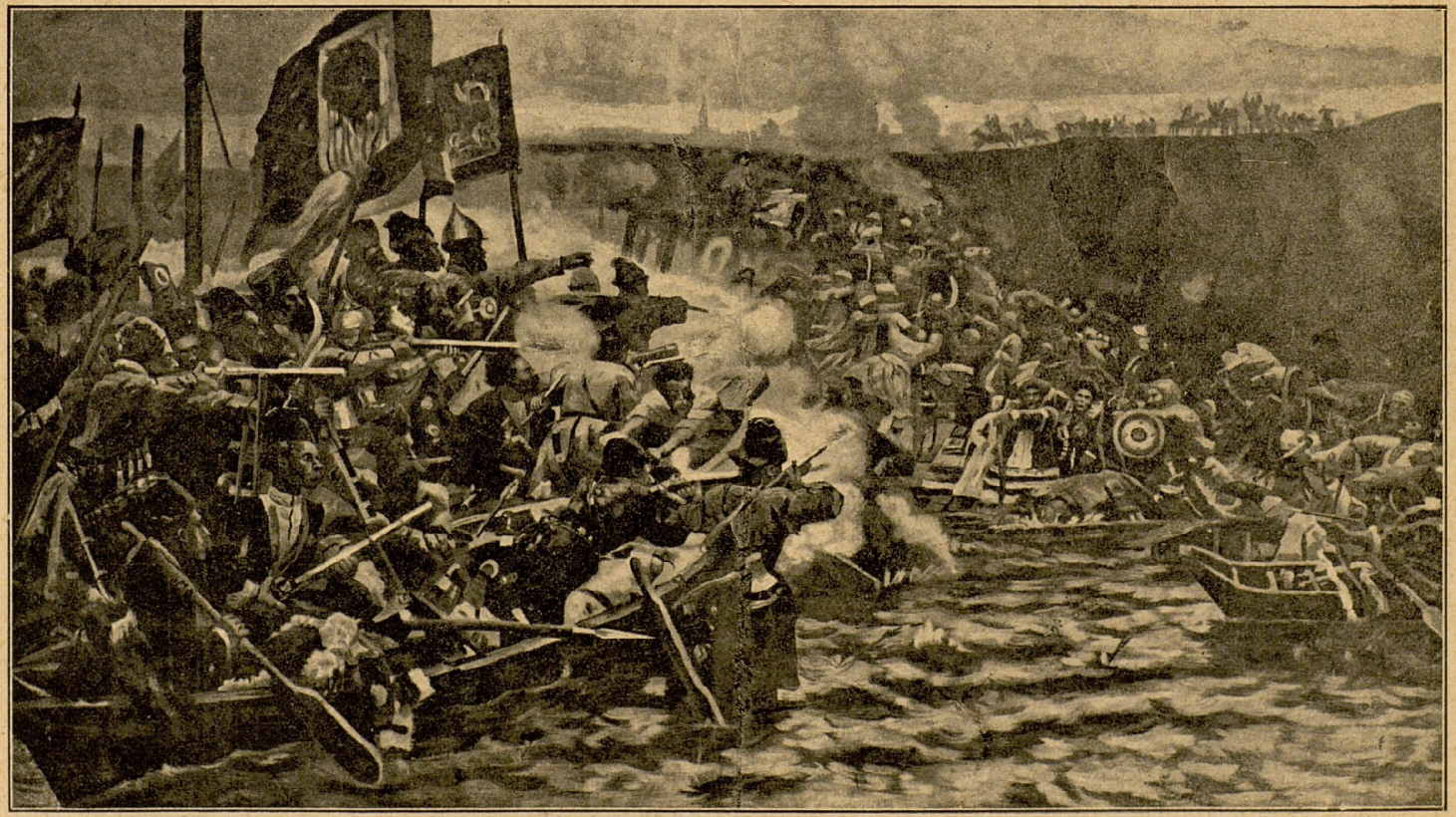
ГЛАВА XI.

Желѣзныя цѣпи.—Хитрость за хитрость.—Подъ Бабасаномъ.—Въ плѣну.



ДАЛЕЧЕ еще до Иртыша, Ахметка?.. Ой, штой-то дюже мелко опять стало,— съ досадой говорилъ Ермакъ, то и дѣло погружая огромный шестъ въ воду.

Струги чуть тащились по Тоболу. Онъ словно обмелѣлъ. Словно передъ тѣмъ, какъ заковаться ледяною броней, рѣшилъ подшутить злую шутку надъ казаками Тоболъ. Весла то и дѣло упирались въ песчаное дно рѣки. Утренники стали замѣтно холоднѣе. Дружина повытаскала теплые кафтаны и одѣлась теплѣе, кто во что умѣлъ. Дулъ сѣверякъ. Холодный осенній воздухъ пронизывалъ насквозь. Съѣстные припасы приходили къ концу, но выходить на берегъ охотиться за дичью было опасно. То и дѣло появлялись большими группами на крутыхъ береговыхъ утесахъ татары и стрѣляли съ высоты въ рѣку, по которой



Встрѣча Ермака съ сибирскими татарами.

КАРТИНА В. И. СУРИКОВА.

медленно тянулись струги казаковъ. Нельзя было и думать плыть быстрѣе. Мелководье, какъ нарочно, замедляло путь.

— Далече ли до Иртыша, Ахметъ?—еще разъ прозвучалъ тотъ же нетерпѣливый вопросъ надъ застеклѣвшею отъ осенняго холода рѣкою.

Татаринъ, зябко ежившійся подъ своимъ мѣховымъ чапаномъ, вскочилъ на ноги, зоркими глазами окинулъ даль и произнесъ увѣренно:

— Часа два ходу. Къ полдню будемъ, бачка-атаманъ.

Задумался Ермакъ. Нерадостно было на душѣ атамана. Какъ то неожиданно, сразу наступила осень. Люди зябли. Вѣтеръ, не переставая, дулъ въ лицо, замедляя ходъ. А татары досаждали съ берега почти что безостановочной стрѣльбой. Струги ползли какъ черепахи. Будущность похода представлялась темной, непроницаемой, какъ ночь подъ черной завѣсой. Кто подниметъ эту завѣсу? Кто разскажетъ, что ждетъ дружину въ этомъ холодномъ, невѣдомомъ краю? Уже было нѣсколько битвъ и на Турѣ, и на Тавдѣ, и чѣмъ дальше подвигаются казаки въ глубь Кучумова царства, тѣмъ больше помѣхи встрѣчается имъ на пути. Осмѣлѣли, какъ видно, ханскіе воины, и ружейная да пушечная пальба перестала казаться имъ страшной и грозной, какъ въ первое время...

Такъ глубоко задумался могучій атаманъ грозной дружины, что и не слышитъ смятенія и глухого ропота вокругъ себя. И только когда что-то съ силой брякнуло о дно лодки, и легкій стругъ поднялся носомъ надъ водой, точно ожилъ, проснулся Ермакъ.

— Што, на мели, што ли?.. Еще не доставало!..— суровымъ голосомъ проронилъ онъ.

— Богъ вѣсть, что случилось, атаманъ... А только черезъ Тоболъ протянута какая то преграда... Вишь,

два челна опрокинуло. Перехитрили насъ поганые, неча сказать, — взволнованно докладывалъ Ермаку Кольцо.

Дѣйствительно два струга вверхъ дномъ плыли по рѣкѣ, а сидѣвшіе въ нихъ казаки, по грудь мокрые, вылѣзали изъ воды.

— Дьяволы!.. — выругался Ермакъ, — вишь, бритоголовые, чѣмъ досадили!.. Инъ, ладно!.. Бери чеканы да сѣкиры, робя, разбивай преграду поладнѣе, — обрѣтя сразу свою обычную бодрость и смѣлость духа заключилъ атаманъ.

Но не пришлось на этотъ разъ дружинѣ исполнить приказаніе вождя. Дикій ревъ пронесся вдругъ надъ рѣкою. Миріады стрѣлъ засвистѣли въ воздухѣ. Цѣлая орда татаръ зачернѣла на берегу.

Прозвучала громкая команда атамана:

— Челны, ску-у-чь-ся!..

И вытянувшіеся, было, въ струнку одной прямой линіей струги тотчасъ же образовали собою огромную площадь, упиравшуюся въ оба берега нешироко въ этомъ мѣстѣ рѣки.

— На берегъ вылазать опасливо покеда. Подъ осокой не больно видно. Лазутчиковъ выслать бы. Пускай дознались бы, сколько тамъ нечисти на берегу, — не то совѣтовалъ, не то указывалъ Кольцо Ермаку.

Но тотъ только угрюмо помоталъ головою.

— Не хочу ребятъ зря губить. Попадутся въ руки нечисти, не приведи Господь, искромсаютъ, замучаютъ ихъ поганые.

— Ты меня, бачка-атаманъ, пошли, меня за своего примутъ и хошь бы што, — предложилъ свои услуги Ахметка.

Лицо Ермака просіяло.

— Ладно, ступай. А мы ждать будемъ. Вызнай все, сколько ихъ тамъ привалило, да смотри поаккуратнѣе и вертайся скорѣича.

Татаринъ-толмачъ только головою мотнулъ вмѣсто отвѣта, вылѣзъ изъ лодки и тотчасъ же скрылся въ густо разросшихся кустахъ.

Начинало темнѣть. Безъ устали падали стрѣлы, не причиняя, однако, сидѣвшимъ въ челнахъ казакамъ особаго вреда. Но все же ранили то одного, то другого. Знахарю Волку не мало досталось работы перевязывать товарищей. Стрѣлять изъ лодокъ было безполезно. Крутой утесистый берегъ мѣшалъ пулямъ вылетать по назначенію.

Къ вечеру стрѣльба татаръ чуть поутихла. Очевидно, наступившія сумерки мѣшали прицѣливаться.

— Запропастился собака Ахметка. Чего добраго не махнулъ ли къ своимъ. Хошь и нашъ онъ, крещеный, а у нихъ это часто бываетъ,—произнесъ неувѣреннымъ голосомъ кто-то въ атаманской лодкѣ.

Но атаманъ отрицательно качнулъ головой.

— Нѣтъ, братцы, не уйдетъ Ахметка. Хошь и бесерменъ, все же совѣсть у него есть. Да вотъ и онъ!—радостно заключилъ Ермакъ, вглядываясь въ темноту своими зоркими соколиными очами.

И правда, вблизи струга что-то забѣлѣло во мглѣ, и черезъ нѣсколько минутъ въ челнъ прыгнулъ проводникъ-татаринъ.

— Видалъ... Выглядѣлъ... — залепеталъ онъ быстро,—много ихъ... ой, много, атаманъ-бачка... Видимоневидимо... А подъ Бабасанскимъ урочищемъ, сказываютъ, втрое болѣ будетъ. Самъ батырь ихній, сродственникъ Кучумовъ, тамъ съ добрымъ десяткомъ тыщей ждетъ... А и здѣся не мало... На берегъ нельзя соваться,—докончилъ взволнованно и быстро свою несвязную рѣчь татаринъ.

— Ладно...—усмѣхнувшись значительно проронилъ Ермакъ,—а теперь нужно мнѣ, братцы, надежныхъ человѣкъ съ пять десятковъ отрядить вона въ лѣсъ тотъ, што за утесами чернѣетъ. Придется мимо поганыхъ

прокрасться да хворосту набрать въ лѣсу поболѣ, вязанки такъ съ четыре на человѣка. А тамъ, какъ вернетесь, новую работу вамъ дамъ.

— Всѣ мы надежные, всѣхъ отряди, атаманъ,—заговорило нѣсколько десятковъ голосовъ сразу.

— Ишь, больно прытки. А здѣся кто останется? Дурьи головы, выдумали што,—шутливо остановилъ ихъ Ермакъ и тутъ же отрядилъ выбранныхъ имъ самимъ пятьдесятъ казаковъ.

— Веди ихъ, Мещеря, да помни, коли откроютъ васъ поганые—конецъ всѣмъ. Вертайтесь скорѣича. Забавное нѣчто узрите, какъ вернетесь. Право слово, говорю... Инъ, какъ помыслю о томъ, со смѣху помереть можно, — расхохотавшись въ голосъ заключилъ свою рѣчь Ермакъ.

Дивному диву дались казаки. Давно они не видѣли такимъ веселымъ своего батьку-атамана. И когда же? Въ то самое время, какъ на высокихъ утесахъ, лишь только забрезжитъ разсвѣтъ, ихъ всѣхъ, пожалуй, разстрѣляетъ татарье. Впередъ двигаться нельзя—невидимая подводная преграда мѣшаетъ. Ночью и искать ее въ водѣ нельзя: не приведи, Господи, потопишь челны, какъ только двинешься впередъ, къ Кучумкѣ. Почему же такъ весело атаману, чего смѣется Ермакъ?..

А онъ такъ и хохочетъ, такъ и зашелся отъ смѣха. И не замѣтилъ, какъ подошелъ любимецъ Алеша къ нему и проситъ его:

— Отпусти меня въ лѣсъ съ молодцами, Василь Тимофеичъ.

Тутъ только успокоился отъ смѣха Ермакъ, чутко, тревожно насторожился. Глядитъ на юношу, руку на плечо ему кладетъ.

— Постой, князенька, не зарись больно. Зря нечего храбриться. Будетъ и на твоей улицѣ праздникъ, Алексѣй. Еще поразомнемъ бѣлыя рученьки не въ одномъ

рукопашномъ бою. А тамъ твоя помощь зряшная будетъ. Да и не приведи, Господи, попадешь въ полонъ, аль убьютъ тебя, дѣдъ твой мнѣ съ того свѣту покою не дастъ,—серьезно произнесъ Ермакъ.

Юноша только вздохнулъ, но повиновался. Жажда горячаго нужнаго дѣла захватывала его все сильнѣй и сильнѣй съ каждымъ днемъ. Молодая кровь бурлила. Кровь дѣдушки, казанскаго героя, кровь Серебряныхъ-Оболенскихъ, рожденныхъ для блага родины, сказывалась на каждомъ шагу. Удаль и отвага до краевъ наполняли все существо Алексѣя. Помочь по мѣрѣ силъ и возможности грозной, удалой дружинѣ—вотъ чѣмъ билось горячее сердце молодого князя. Чуть не впервые мысленно негодовалъ онъ на любимаго атамана за то, что тотъ не пустилъ его въ опасное предпріятіе. Однако молчалъ, не смѣя противорѣчить ему.

Ночь еще окутывала землю, когда вернулись нагруженные хворостомъ казаки. Ермакъ горячо поблагодарилъ ихъ за спѣшно и удачно выполненное дѣло.

— А теперь, ребята, скидавай, что есть лишняго на себѣ, да свяжи пучками хворостъ, штобъ не менѣе пяти ста вязанокъ пришлось,—отдалъ онъ новое приказаніе дружинѣ,—а какъ свяжешь, обряжай чучела кафтанами да шапками своими, да поаккуратнѣе, гляди, штобъ изъ засады показалось поганымъ, что и впрямь казаки въ стругахъ сидятъ... А мы тѣмъ временемъ одинъ за другимъ шастъ изъ лодокъ въ потемкахъ да окружимъ нечисть бесерменскую и въ рукопашную вдаримъ. Съ Богомъ, братушки! Пособляй другъ дружкѣ обряжать болванныхъ казаковъ!—заключилъ съ веселымъ смѣхомъ атаманъ.

Ему самому пришлась по душѣ выдуманная затѣя. Откуда она пришла ему въ голову,—темная ли сибирская ночь навѣяла, непроницаемая тайга нашептала, само сердце подсказало молодецкое—Богъ вѣсть.

Закипѣла работа быстро и спѣшно подъ мракомъ ночи. А когда выплыло изъ-за облаковъ сѣверное утро, блѣднымъ, тусклымъ осеннимъ разсвѣтомъ, болѣе похожимъ на сумерки, нежели на разсвѣтъ, осѣняя природу, громкій, побѣдный кличъ всколыхнулъ сонную тишину рѣки. Всколыхнулъ и татарскій таборъ, стоявшій на берегу. Со всѣхъ сторонъ неслись сабли на-голо, наперевѣсъ бердыши и чеканы. Впереди всѣхъ Ермакъ, за нимъ подъатаманъ Кольцо, есаулы Михайловъ, Панъ, Мещерякъ и другіе. Кинулись, было, къ берегу оторопѣвшіе татары. А тамъ новыя полчища казаковъ сидятъ, чеканы на-перевѣсъ. И нѣтъ имъ числа и счета. Съ барокъ глядятъ мѣдныя жерла пушекъ, съ бортовъ струговъ—пищали.

— Алла!.. Алла!..—не своимъ голосомъ взвыли татары и кинулись на утекъ вразсыпную.

Долго потомъ хохоталъ Ермакъ. Хохотала за нимъ и его грозная дружина, вспоминая, какъ утекали бритоголовые, испугавшись на-смерть чучелъ изъ хвороста, наряженныхъ въ казацкое платье, и какъ перехитрилъ нечестивыхъ Ермакъ.

Но непродолжительно было радостное настроеніе казаковъ. Впереди ждалъ ихъ храбрый Маметъ-Кулъ съ новыми ордами. Впереди ждала ихъ побѣда или... смерть.

Разбивъ желѣзныя цѣпи, преграждавшія имъ путь по Тоболу, двинулись они дальше, отстрѣливаясь отъ то и дѣло тревожившихъ ихъ съ берега татаръ.

. . . . . .

На Усть-озерѣ, на Тоболѣ легло окруженное высокими холмами урочище Бабасанъ. Тихое и спокойное въ обычное время, оно поражало теперь своимъ многолюдствомъ. Огромныя орды стянулись къ этому дикому улусу. До ближайшаго селенія мурзы Карачи было еще нѣсколько верстъ, до самаго Искера еще дальше. Сюда

выслалъ Кучумъ своего племянника Маметъ-Кула съ десятью тысячами чувашей, остяковъ и киргизъ-кайсаковъ. Воины сибирскаго султана были вооружены короткими копьями и стрѣлами. На урочище пригнали стада барановъ. Доставили курдюки съ кумысомъ. Пили кумысъ, ѣли баранину царевичъ и его ближайшіе сподвижники и молили Аллу дать имъ побѣду надъ могучимъ кяфырскимъ батыремъ Ермакомъ, слава о которомъ облетѣла всю сибирскую землю. Молились и остяки передъ своими шайтанчиками и идолами, стараясь умилостивить грознаго Уртъ-Игэ и могучаго Сорнэ-Турома молитвами и жертвами.

Между другими шаманами находился и Имзега, братъ Алызги. Шаманъ и воинъ въ одно и то же время, онъ не упускалъ случая отомстить ненавистнымъ христіанамъ, такъ долго державшимъ въ плѣну его сестру. Упиться кровью этихъ христіанъ, отомстить имъ за гибель столькихъ храбрыхъ—вотъ какова была единая цѣль жизни, не дававшая отнынѣ ни покоя, ни отдыха Имзегѣ.

Вечерѣло. По сѣрому осеннему небу расплылось багровое облако, предвѣстникъ близкой зари. Вечерняя молитва была только-что прочтена муллою для киргизъ-кайсаковъ и прочихъ татаръ-мусульманъ. Теперь молились остяки, чуваши и мордва, удалившись въ сосѣднюю рощу, гдѣ, развѣсивъ шайтанчиковъ на оголенныхъ суровой рукой осени вѣткахъ деревъ, и ударяя себя въ грудь руками, шаманы плясали вокругъ костра, громко взывая и призывая своего Сорнэ-Турома на помощь Маметъ-Кулу.

Имзега стоялъ поодаль, смотрѣлъ на эту пляску и думалъ:

— Завтра будетъ сраженіе съ кяфырами, будетъ кровавая сѣча... Сердце не обманываетъ его, Имзегу. Недаромъ великій духъ открываетъ ему такія тайны, ко-

торыя знаетъ только главный шаманъ Троицкаго шайтана... Онъ былъ рожденъ для власти, Имзега, онъ сынъ Нарымскаго князя... Но тихая жизнь въ улусѣ отца не привлекала его. Не привлекали также и земледѣліе, и рыбная ловля, ни охота за медвѣдями и пушнымъ звѣремъ въ лѣсу—обычный промыселъ остяцкихъ селеній. Онъ, Имзега, рожденъ для иной доли, для полной таинственной прелести жизни фанатика-баксы. Гдѣ бури жизни—тамъ и онъ. Когда лѣтъ пятнадцать тому назадъ отецъ его привелъ крошку Алызгу во дворецъ Кучума въ подарокъ ханшѣ Сызге, онъ, Имзега, получилъ новый смыслъ жизни. Онъ сталъ ходить въ Искеръ, приглядываться къ новой вѣрѣ (мусульманской), которую усердно насаждалъ ханъ Сибири, и потомъ бѣжалъ въ священныя рощи и, валяясь какъ дикій звѣрь въ травѣ, стоная и плача, заклиналъ родныя остяцкія божества дать почувствовать мусульманамъ, какъ неправы они, исповѣдуя какого-то Аллу. И позднѣе сестру Алызгу всячески училъ Имзега повліять на царевну Ханджаръ—вернуться къ вѣрѣ ея предковъ, дать возможность познать истинныхъ боговъ и защитниковъ Сибири — царства ея отца. Но юная Ханджаръ рьяно исповѣдывала религію магометанъ и не поддавалась вліянію своей старшей подруги. И новыми, необузданными фанатическими волненіями горѣла отравленная душа Имзеги...

Стало замѣтно темнѣть. Въ эту ночь плохо спалъ Имзега. Ему вспоминались послѣдніе годы. Вспоминалось какъ онъ, князь Назыма и любимецъ боговъ — шаманъ, прокрадывался къ острогу проклятыхъ кяфыровъ, какъ какой-то жалкій куль карауля плѣнную сестру въ Сольвычегодскѣ. Сколько дивныхъ ночей онъ отнялъ тогда отъ себя, ночей молитвы, бесѣдъ съ великимъ духомъ шаманства въ тиши священныхъ рощъ!.. Кто вернетъ ему потерянное время?.. И все изъ-за нихъ, изъ-за бѣлыхъ собакъ, пришедшихъ въ великое сибирское царство...

Знамя Ермака, хранящееся въ г. Омскѣ, въ войсковой казачьей Никольской церкви.

ГРАВЮРА СѢРЯКОВА.

— Проклятіе и смерть кяфырамъ!..—шепталъ онъ, сжимая въ кулаки свои изжелта-смуглыя руки и вперяя въ темноту ночи горящіе, какъ у кошки, глаза.

. . . . . .

Съ первымъ проблескомъ денницы струги грозной дружины ударились въ каменистый берегъ Тобола. Подъ развѣсистыми утесами приказалъ ихъ оставить Ермакъ. Чудесно скрытые навѣсомъ нагорныхъ возвышеній они не могли быть замѣчены врагами.

Пушкари вытянули съ барокъ три небольшія пушки и съ усиліемъ взгромоздили ихъ на утесъ. Вскарабкавшись туда-же за ними и быстрымъ взоромъ окинувъ мѣстность, Ермакъ невольно дрогнулъ и подался назадъ.

— Што? Аль недуженъ нынче, атаманъ? — поспѣшивъ къ нему спросилъ Кольцо съ тревогой въ голосѣ и во взорѣ.

Тотъ только руку протянулъ впередъ.

— Гляди, Иванычъ: что твои мухи облѣпила ложбину нечисть бесерменская, — произнесли чуть слышно его дрогнувшія губы.

Кольцо кинулъ взоромъ въ указанномъ направленіи и замеръ отъ неожиданности. Въ предразсвѣтномъ сѣромъ туманѣ горѣли тусклыя пятна огней. Это были костры Маметъ-Куловыхъ воиновъ, черной тучей усыпавшихъ ложбину верстъ на пять кругомъ.

— Экъ ихъ привалило! — произнесъ Кольцо, почесывая затылокъ.

Ермакъ не отвѣтилъ. Его лицо было сосредоточено и хмуро. Одни глаза ярко поблескивали изъ-подъ сдвинутыхъ бровей. Онъ долго всматривался ими въ даль, въ то мѣсто, гдѣ горѣли костры и откуда несся шумъ татарскаго стана. Потомъ, не глядя на Кольцо, тихо произнесъ:

— Коли убьютъ меня нонѣ, Ваня, тебѣ поручаю и

великое дѣло, и дружину мою... Слышь, Иванычъ... Доведи молодцовъ до Искера. Возьми его хошь свинцомъ да зельемъ, хошь изморомъ—только возьми... Кучумку въ цѣпяхъ въ даръ царю пошли вмѣстѣ съ короной сибирской... Да скажи предъ всѣмъ народомъ Московскимъ, что проситъ милостиваго прощенія у него атаманъ Ермакъ... А теперь скликай ребятъ нашихъ. Пока што не гораздъ свѣтло, сподручнѣе подойти къ поганымъ.

— Живи, атаманъ, пошто о смерти мыслишь... На Бога надѣйся... Порадуемся еще вмѣстѣ не разъ на землѣ югорской, — произнесъ сурово Кольцо и поспѣшилъ внизъ съ утеса приготовлять къ бою дружину.

Тихо, неслышно въ сѣромъ туманѣ разсвѣта двигались ряды Ермаковой рати. Колебались отъ свѣжаго осенняго вѣтерка на золотыхъ древкахъ шелковые стяги.

Уже спокойный и обнадеженный, съ яснымъ взоромъ и молитвою въ сердцѣ, впереди грозной своей дружины шагалъ Ермакъ. Не было больше сомнѣній въ душѣ лихого атамана. Твердо вѣрилъ онъ, что не попуститъ Господь свершиться неправому дѣлу. Завоевать царство Сибирское, раздобыть хлѣба и крова новымъ поселенцамъ среди его могучихъ громадъ, притушить разбойничьи набѣги инородцевъ и тѣмъ дать свободно вздохнуть русскимъ пріуральцамъ, измученнымъ набѣгами сибиряковъ, ужли не правое это дѣло, не добрый замыселъ, за который отпуститъ ему всѣ его прежнія вины православный народъ?

Такъ думалось Ермаку, и сердце его закипало новой удалью въ груди, и бодро, съ поднятой гордо головой, съ орлинымъ взоромъ, прожигающимъ даль, шелъ онъ впередъ во главѣ своей дружины.

А туманъ все разсѣивался, все таялъ. Все замѣтнѣе и сильнѣй. Все ближе и ближе краснѣли кровавыя точки костровъ татарскихъ.

Вскорѣ замѣтили и въ непріятельскомъ станѣ при-

ближеніе Ермака. Всколыхнулась рать Маметъ-Кула. Забѣгали пѣшіе, замелькали конные татары. Говоръ и шумъ лагеря наполнили ложбину.

И вотъ вся эта черная лавина съ грохотомъ, гиканьемъ и гвалтомъ помчалась навстрѣчу казакамъ.

— Стой, братцы!—внезапно останавливаясь крикнулъ Ермакъ,—ни шагу далѣ! Батя, служи краткій молебенъ! — обратился онъ къ священнику, безстрашно слѣдовавшему среди воиновъ съ крестомъ въ рукѣ, и первый обнажилъ свою черную кудрявую голову. Вмигъ полетѣли шапки и съ другихъ казацкихъ головъ.

— Господи!.. Даждь побѣду и одолѣніе!.. — задребезжалъ среди голыхъ утесовъ и темной тайги старческій, слабый голосъ.

И тамъ, гдѣ до сихъ поръ бродили идолопоклонники-инородцы да мусульмане-татары, впервые освѣтила горы, лѣса и воды рѣчныя тихая христіанская молитва.

— Ну, а теперь,—по окончаніи ея, накрывая голову шапкой, обратился къ своей дружинѣ Ермакъ,—Господь вамъ въ помощь, братцы!.. Рубись съ именемъ Божіимъ на устахъ, и гибель понесемъ поганымъ!..

Сказалъ, и первый бросился впередъ навстрѣчу приближающейся Маметъ-Куловой рати... Сшиблись враги... Закипѣла жестокая битва... На каждаго изъ казаковъ приходилось двадцать, а то и тридцать человѣкъ татаръ. Стрѣлы и копья, ловко направляемыя руками дикарей, вонзались то и дѣло въ ряды казачьей дружины... Имъ отвѣчали порохомъ и свинцомъ изъ пищалей и пушекъ скорострѣльныхъ. Тамъ и сямъ валились воины Маметъ-Кула, какъ подкошенные сѣкирой дубы. Свинецъ и порохъ дѣлали свое дѣло. Но вотъ кое-гдѣ сраженный мѣткою стрѣлою повалился и мертвый казакъ, за нимъ другой... третій... Еще и еще... Закипѣло Ермаково сердце... Видитъ Ермакъ: пока заряжаютъ

пищали да ручницы казаки, непріятельскія стрѣлы такъ и косятъ ея ряды.

— Въ рукопашную, братцы! — прогремѣлъ могучимъ богатырскимъ кликомъ голосъ атамана и, выхвативъ изъ-за пояса тяжелый бердышъ, онъ ринулся впередъ, въ самую чащу, откуда такъ и сыпались стрѣлы на удалыя головы казаковъ.

— За атаманомъ, молодцы!.. Господь не выдастъ!.. Бей нехристей!.. — вторилъ ему голосъ Кольца на всю ложбину.

И грозная дружина по этому призыву любимыхъ вождей вонзилась въ самую густую орду татаръ, гдѣ взбѣшенные враги ждали ихъ съ пиками и ножами.

Точно во снѣ, опьяненный кровью, ошеломленный шумомъ сѣчи, махалъ своимъ острымъ чеканомъ князь Алексѣй. Вокругъ его стономъ стонала битва, валились раненые и мертвые воины - инородцы, ножи и сабли скрещивались со звономъ, кровь лилась рѣкою. Вопли «Алла» покрывались могучимъ крикомъ «Съ нами Богъ!» И всюду мелькало поблѣднѣвшее отъ возбужденія, чудно преобразившееся лицо красавца-атамана, ни на минуту не переставшаго крошить своей турецкой саблей обезумѣвшаго врага.

Ермака видѣлъ Алексѣй, но лица своего названнаго брата еще не встрѣтилъ въ пылу битвы.

— Гдѣ Мещерякъ? Гдѣ Матюша? — невольно вихремъ пронеслось въ мысляхъ князя.

Онъ повелъ взоромъ въ сторону и... въ самомъ пеклѣ боя увидѣлъ Мещеряка. Молодой казакъ былъ окруженъ цѣлой толпою озвѣрѣвшихъ отъ боя остяковъ, уже занесшихъ надъ нимъ свои кривые ножи и пики.

Въ одну минуту Алексѣй былъ подлѣ, ловкимъ ударомъ чекана раздробилъ черепъ ближайшему иновѣрцу, за нимъ другому. Третій кинулся самъ на Алешу, взмахнулъ огромнымъ копьемъ, но тутъ-же выпустилъ

его изъ рукъ, сраженный ударомъ сабли подоспѣвшаго къ нимъ Никиты Пана.

— Расквитались, князенька!—успѣлъ только хрипло выкрикнуть молодой есаулъ и снова исчезъ среди напиравшихъ со всѣхъ сторонъ воиновъ Маметъ-Кула.

— Это онъ про дядьку... Его загубилъ, мнѣ спасъ жизнь,—вихремъ пронеслось въ мозгу Алеши.—Спасибо ему! — и, желая еще разъ повидать Никиту, глянулъ впередъ. Но вмѣсто Пана предъ нимъ уже стоялъ молодой остякъ высокаго роста, поджидавшій въ сторонѣ его приближенія съ копьемъ въ рукѣ.

Что-то знакомое мелькнуло въ лицѣ этого дикаря Алексѣю. Онъ сразу не могъ сообразить, гдѣ видѣлъ эти быстрые, маленькіе глазки, это широкоскулое, желтое, худое лицо. Но что-то оскорбительное, гадкое показалось ему въ этомъ лицѣ, въ этихъ глазахъ, выжидающе и нагло смотрѣвшихъ ему прямо въ очи.

— Ишь, зѣньки выпучилъ, поганый,—мысленно выбранился князь и тутъ же невольно вскрикнулъ отъ ужаса и душевной боли: молодой казакъ, опереживая его, бросился къ остяку съ поднятымъ мечомъ, дымившимся отъ крови; тотъ стремительно поднялъ копье и, прежде чѣмъ казакъ успѣлъ крикнуть, всадилъ оружіе въ сердце несчастнаго. Не помня себя ринулся на остяка Алеша. Но точно изъ-подъ земли выросли два огромныхъ киргиза передъ нимъ. Одинъ изъ нихъ казался настоящимъ великаномъ. Обиліе золотыхъ украшеній на одеждѣ, съ горностаевой опушкой колпакъ и острая сабля (въ то время какъ другіе были вооружены копьями и стрѣлами) выдѣляли сразу изъ всей орды татарскаго богатыря.

— Царевичъ Маметъ-Кулъ!—вихремъ пронеслось въ мысляхъ Алеши.—Ежели убить этого, побѣда за нами...

И онъ самъ ринулся впередъ навстрѣчу татарскому вождю.

Минута... другая... и чеканъ юноши-князя высоко поднялся надъ головой по направленію покрытой горностаевымъ колпакомъ головы сибирскаго царевича. Но странно знакомый Алешѣ остякъ, казалось, только и ждалъ этой минуты. Быстрый прыжокъ, ударъ тяжелаго копья по чекану—и князь Алексѣй оказался безоружнымъ среди троихъ огромныхъ противниковъ-татаръ. Маметъ-Кулъ махнулъ рукою и съ злостной улыбкой буркнулъ что-то своимъ приспѣшникамъ на татарскомъ языкѣ. По первому звуку его рѣчи они разомъ кинулись на Алешу и, прежде чѣмъ тотъ успѣлъ крикнуть повалили его на землю и прижали къ мокрой отъ крови травѣ. Въ тотъ же мигъ молодой остякъ турманомъ упалъ на грудь Алексѣя, толстыми ремнями заткнутой за поясъ чемги связалъ его по рукамъ и ногамъ, ударомъ рукоятки ошеломилъ его и съ помощью товарищей выволокъ изъ боя.

А бой между тѣмъ разгорался все ярче, все грознѣй. Казаки то отступали къ берегу, то съ новымъ ожесточеніемъ кидались въ битву.

. . . . . .

Только поздно ночью прекратилась сѣча. Много убитыхъ подобрала дружина въ ту печальную ночь и схоронила на берегу Тобола въ одной общей братской могилѣ. Потомъ сѣли въ лодки и поплыли дальше. Уставшіе за день сѣчи татары не преслѣдовали ихъ. На разсвѣтѣ же грозная дружина подплыла къ прибрежному городку мурзы Карачи и послѣ недолгаго боя овладѣла имъ, разгромила, богатства Карачи захватила съ собою и двинулась дальше къ устьямъ Иртыша. Тамъ ждала ихъ новая встрѣча. Сильнѣйшій непріятель ждалъ ихъ тамъ: Кучумъ рѣшился до послѣдней капли крови отстаивать свои владѣнія.

Отдохнулъ отъ жестокой сѣчи подъ Бабасаномъ и Маметъ-Кулъ и ринулся слѣдомъ за уплывавшими каза-

ками вверхъ по берегу рѣки. Снова тучи стрѣлъ и копій засвистѣли въ воздухѣ. Снова съ крутого берега обстрѣливали татары плывущихъ по рѣкѣ казаковъ. Снова выходили на берегъ казаки и свинецъ съ порохомъ одерживалъ побѣду надъ стрѣлами Маметъ-Кула.

Но нерадостенъ былъ Ермакъ. Не утѣшали его побѣды. Много храбрыхъ его товарищей полегло при урочищѣ Бабасанъ, а князь Алексѣй—любимецъ атамана—пропалъ безслѣдно. Подобрали тѣла товарищей-казаковъ, но не смогли найти среди нихъ тѣла молодого князя.

— Ужли въ полонъ угнали?—съ мучительной тоской задавалъ себѣ вопросъ Ермакъ, и взоръ его невольно направлялся впередъ, гдѣ смутной и темной лентой сверкалъ вздутый по осеннему бурливый Иртышъ.

Прошли еще сутки, и вскорѣ показался темный силуэтъ громаднаго утеса на правомъ берегу рѣки.

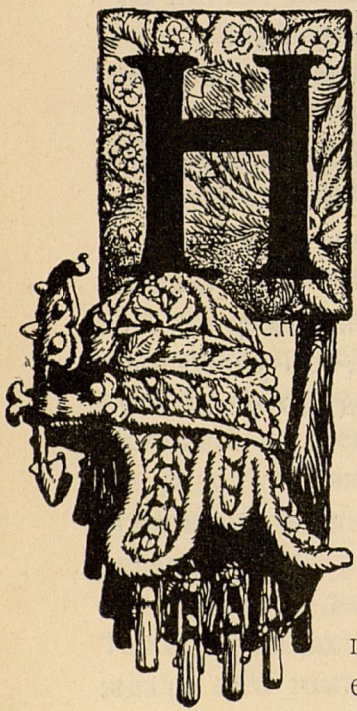
— Это Чувашья гора,—коротко произнесъ въ своей лодкѣ татаринъ-проводникъ.

Всѣ головы, какъ по командѣ, вытянулись впередъ.

Чувашья гора, а вблизи ея городъ Искеръ, столица Кучумова царства, сердце Сибири, вѣнецъ всѣхъ странствованій, потерь и невзгодъ!.. Что ждало тамъ удалую горсточку лихихъ удальцовъ? Побѣда или смерть? Но что бы ни было, смерть или побѣда, съ удвоенной быстротой понеслись навстрѣчу этой побѣдѣ, этой смерти легкіе струги и челны удальцовъ.

ГЛАВА XII.

Ужасъ смерти.—Кошка и мышка.—Неизбѣжное.



ЕСМѢТНАЯ толпа народа запрудила небольшую луговину, прилегавшую къ сѣверному валу сибирской столицы. Неспокойна была эта толпа. Старики, женщины и дѣти (взрослые мужчины отсутствовали—они всѣ отправились подъ Чувашью гору поджидать нежданныхъ гостей), все волновалось.

Толпа махала руками, кричала и съ ожесточенными лицами указывала по направленію Кучумовой юрты.

— Ханъ придетъ, ханъ приведетъ его съ собою, и да свершится воля Аллаха!—кричали одни.

— Мы разорвемъ его на части, проклятаго кяфыра... Дай его намъ, отдай его намъ, свѣтъ солнца и дня, могучій ханъ и отецъ нашъ!..—кричали другіе.

— Мы ему отплатимъ за гибель и пораженіе нашихъ братьевъ и мужей!..—визжали изступленныя женщины.

Въ сторонѣ, въ числѣ ханскихъ дѣтей, окруженная женами Кучума—своими мачихами, стояла, опираясь на плечо вѣрной Алызги, царевна Ханджаръ. Ея лицо было блѣдно.

Замѣтная синева легла подъ черными глазами, и теперь эти черные глаза такъ и горѣли лихорадочнымъ огнемъ. Тяжелые дни переживала царевна Ханджаръ. Тяжелые дни переживала сибирская столица, центръ всего Кучумова царства. Гонецъ за гонцомъ прилеталъ сюда изъ Маметъ-Кулова стана. Нерадостныя вѣсти приносилъ каждый гонецъ. Бабасанская битва при урочищѣ была проиграна. Кяфыры одолѣли и тутъ. Правда, храбрый Маметъ-Кулъ не терялъ русскихъ изъ вида и настигъ ихъ снова у самаго Иртыша. Здѣсь напали опять на Ермаковскіе струги батыри Искера, тучею степной осыпали, бросали безъ счета копья. Но пищали кяфыровъ отражали всѣ нападенія, палили и жгли огнемъ и дымомъ. Городокъ Карачи разгромили, разогнали полчища царевича съ берега и неустрашимо плывутъ все впередъ и впередъ. Того и гляди вечеромъ доплывутъ и сюда. И, какъ на зло, по улицамъ Искера, какъ желтые скелеты, скачутъ баксы и гнусливыми голосами, вопя и стеная, пророчатъ гибель всему сибирскому ханству.

Сегодня на зарѣ прискакалъ Имзега—остяцкій шаманъ—прямо отъ Маметъ-Кула. И не одинъ прискакалъ. На крупѣ его гнѣдого скакуна, весь перетянутый ремнями, лежалъ плѣнникъ. Его отвели въ юрту хана, едва укрывъ отъ мести разъяренной толпы. И вскорѣ ближайшій вельможа Кучума вышелъ къ народу объявить ему, что ханъ отдаетъ на потѣху плѣнника-кяфыра..

Дикимъ ревомъ восторга отвѣчала толпа на это. Глаза, сверкающіе жаждою мести, такъ и впились въ юрту, изъ которой долженъ былъ показаться съ плѣнникомъ Кучумъ. Ханджаръ вмѣстѣ съ прочими не отводила взора, горѣвшаго ненавистью и любопытствомъ.

Она никогда въ жизни не видѣла кяфыровъ—враговъ своей родины, своего угрюмаго и въ то же время роскошнаго, сибирскаго царства. Они казались ей чѣмъ-то чудовищнымъ и страшнымъ и еще болѣе безобразнымъ, нежели ея женихъ Маметъ-Кулъ, нежели тѣ черные духи, которыхъ старались умилостивить баксы по повелѣнію отца. Напрасно Алызга, въ продолженіи шести лѣтъ своего плѣна жившая у русскихъ, старалась увѣрить свою госпожу, что русскіе такіе же по виду люди, только съ бѣлою кожею. Царевна Ханджаръ не рѣшалась повѣрить ей. И теперь, несмотря на безсонныя ночи, плачъ и стенанія окружающихъ, не могла побѣдить своего любопытства красавица, вышла поглядѣть на плѣнника, а заодно и насладиться видомъ мщенія разъяренной толпы. Кровожадная и мстительная, настоящая дочь своего дикаго племени, Ханджаръ горѣла лихорадкой ожиданія.

Но вотъ сильнѣе загалдѣла толпа... Вытянулись головы... Поднялись кулаки... Послышался визгъ женщинъ... Проклятья стариковъ...

— Смерть кяфыру!.. Смерть убійцѣ, губителю нашихъ батырей!..—пронеслось по луговинѣ.

Медленно подвигался окруженный муллами и мурзами Кучумъ. Его любимецъ, старикъ Карача, и другой любимецъ, молодой еще Атикъ-мурза, городокъ котораго былъ расположенъ вблизи Искера, на берегу Иртыша, вели подъ руки хана. За нимъ двигалась свита. На длинномъ ремнѣ, какимъ гоняютъ лошадей въ табунѣ, Имзега велъ плѣнника. Ханджаръ такъ и впилась въ него глазами.

Его лица не было видно, оно было потуплено въ землю, но къ удивленію царевны это былъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ люди. Ошеломленная неожиданностью Ханджаръ приложила руку ко лбу, защищая глаза отъ солнца и пристальнѣе взглянула на прибли-

жавшагося. Взглянула и замерла отъ неожиданности. Тотъ поднялъ голову. Такого лица, исполненнаго благородной осанки и презрѣнія къ смерти, мужества и отваги еще никогда не приходилось встрѣчать среди своихъ соплеменниковъ царевнѣ Ханджаръ. Не только во сто кратъ краше ея жениха Маметъ-Кула, но и красавчика Алея, славившагося своимъ пригожествомъ на весь юртъ, казался плѣнникъ. Русые кудри его золотило солнце. Синія очи сверкали какъ звѣзды. Бѣлѣе бѣлыхъ савановъ Сибири казалось молодое лицо...

Что-то невольно ущипнуло за сердце Ханджаръ.. И такого красавца убьютъ!.. Въ это пригожее лицо вонзятся стрѣлы и камни!.. А между тѣмъ этотъ юноша могъ бы быть лучшимъ «куломъ» въ юртѣ ея отца...

Ханджаръ хотѣла было подѣлиться этой мыслью съ Алызгой, какъ та первая звонкимъ шопотомъ зашептала ей въ ухо:

— Это онъ, царевна моя, это онъ...

— Кто онъ?—вздрогнула отъ неожиданности молоденькая ханша.

— Тотъ, кто спасъ меня... хоть и не по своей волѣ... тотъ, кто помогъ мнѣ спастись и бѣжать...—попрежнему волнуясь сообщила Алызга.

Это былъ дѣйствительно онъ, Алеша.

Оглушенный при Бабасанской сѣчи ударомъ ножа Имзеги онъ упалъ со звономъ въ ушахъ, потерявъ сознаніе. Онъ не помнилъ и не чувствовалъ, какъ его привезли въ Искеръ на солнечномъ восходѣ и очнулся только отъ рева толпы, окружившей на площади ихъ коня. Чуть живого отъ усталости и разбитаго нравственно и физически втолкнулъ его молодой остякъ въ отверстіе юрты. Тепло отъ шора, запахъ кислаго молока, кошмы и звѣриныхъ шкуръ — все это сразу обдало Алешу и вернуло его къ дѣйствительности. Передъ нимъ на шкурѣ бѣлаго медвѣдя сидѣлъ старикъ. По

мутнымъ незрячимъ взорамъ, по величавой осанкѣ и особому головному убору, рознившемуся отъ уборовъ остальныхъ татаръ, наполнявшихъ юрту, Алексѣй понялъ, что передъ нимъ Кучумъ.

Ханъ сдѣлалъ ему знакъ приблизиться, но князь не двинулся съ мѣста, только горделиво повелъ глазами на окружавшую хана толпу вельможъ. Тогда старый морщинистый татаринъ, жившій долго въ плѣну въ Сольвычегодскѣ и снова убѣжавшій на родину, перекинувшись словами съ Кучумомъ, обратился къ Алексѣю на ломаномъ русскомъ языкѣ:

— Драгоцѣнный алмазъ душъ нашихъ, повелитель Искера приказываетъ тебѣ, кяфыръ: повѣдай, сколько воевъ у вашего батыря Ермака и какъ палить огнемъ и дымить вонъ изъ этой игрушки,—и онъ передалъ ему взятую изъ рукъ находившагося тутъ же Имзеги пищаль.

Очевидно, послѣдній подобралъ и унесъ ее съ поля битвы.

Алексѣй только презрительно пожалъ плечами и проговорилъ, вперивъ въ вопрошавшаго смѣлый взоръ:

— Передай твоему хану, холопъ, што не токмо что не покажу ему, какъ наши пищали палятъ, а и говорить то съ имъ, нехристемъ, не желаю... Пускай убиваетъ и мучитъ сколько ему въ душу влѣзетъ, а о батюшкѣ-атаманѣ и его дружинѣ грозной—умру, не обмолвлюсь поганому Кучумкѣ твоему... Такъ и передай...

Передалъ или боялся передать всю доподлинную, смѣлую рѣчь плѣнника толмачъ, но только загалдѣли разомъ люди въ юртѣ. Встрепенулся слѣпой ханъ и отдалъ новое приказаніе.

Съ криками и шумомъ высыпала на площадь свита.

— Ты будешь на куски разорванъ женщинами и стариками!.. — бѣшено сверкнувъ на него глазами прошипѣлъ толмачъ.

Имзега дернулъ за ремень и связанный князь по-

неволѣ долженъ былъ двинуться туда, куда повлекли его, какъ скованнаго звѣря.

Бѣшеные крики собравшихся на луговинѣ людей, вопли и проклятія, искаженныя нечеловѣческой ненавистью лица, все это ошеломило юнаго князя.

— Смерть кяфыру!... Смерть ему!.. Отдай его намъ на потѣху, любимецъ Аллы, могучій изъ хановъ міра!.. Дай его намъ на потѣху, Кучумъ!.. — вопила, стенала, волнуясь, опьянѣвшая отъ злобы толпа.

Алеша не могъ понять этихъ криковъ, но онъ не могъ не отличить въ то же самое время, что ничего добраго не предвѣщали они.

Блѣдный, но спокойный ожидалъ онъ своей участи. Неизбѣжная смерть грозитъ ему—въ этомъ онъ былъ увѣренъ. Но смерть не была страшна молодому князю. Правда, не хотѣлось умирать, не успѣвъ свершить задуманнаго дѣла, но Алеша вѣрилъ, что посильная жертва была уже принесена имъ тамъ, на урочищѣ Бабасанъ. Вѣрилъ и въ то, что его жизнь не останется не отомщенной, дружина возьметъ съ Божьей помощью Искеръ, и казаки жестоко отплатятъ за гибель своего любимца... А все-же тяжко умирать... Образъ голубоглазой Танюши, словно въявь, снова стоитъ передъ нимъ... Не вернется онъ къ ней, желанной... Не увидитъ больше ее... «Прости, Танюша... Прости, люба моя... Не поминай лихомъ... И ты, удалой богатырь Ермакъ, и ты, Мещеря, братикъ названный»...—шепнули чуть слышно губы Алеши, и онъ сталъ мысленно читать короткую молитву. Потомъ, успокоенный, поднялъ горделиво голову и сталъ ждать. Ждать недолго пришлось. Нѣсколько старческихъ рукъ поднялись съ луками, вооруженными стрѣлами. Снова пронесся разъяренный вопль по толпѣ, и тетивы звякнули, натянувшись. Прозвенѣла первая стрѣла. Она пронеслась мимо самаго глаза плѣнника, на полдюйма отъ черныхъ рѣсницъ Алексѣя.

Онъ вздрогнулъ невольно.

— Ужъ убили-бы разомъ... Нѣтъ, допрежъ такъ искалѣчить хотятъ...—съ досадой и болью стукало его сердце.

Вновь зазвенѣла тетива...

Алексѣй, подведенный однимъ изъ окружающихъ Кучума воиновъ къ высокому кедру, увидѣлъ, какъ, щурясь отъ солнца, коренастый старый кайсакъ мѣтитъ ему прямо въ сердце.

— Смерть... Сейчасъ... Сію минуту...—вяло проработалъ его мозгъ, и онъ невольно закрылъ глаза.

Вдругъ что-то неожиданное прозвучало на площади Искера.

— Отецъ!.. Заставь ихъ перестать!.. — не помня себя вскричала Ханджаръ, кидаясь со всѣхъ ногъ къ Кучуму.—Не позволяй убивать его, во имя Аллаха!.. Я хочу сдѣлать его своимъ куломъ, рабомъ, отецъ! Онъ будетъ убирать твою юрту и кормить, и чистить нашихъ коней... — и, замѣтно поблѣднѣвшая отъ волненія, она прижалась горячимъ лбомъ къ костлявой желтой рукѣ Кучума.

Когда что-нибудь просила Ханджаръ, нельзя было отказать ей въ ея просьбѣ. Граціозной, ласковой кошечкой прильнула она къ груди отца. Маленькими, нѣжными, холеными пальчиками гладила она его морщинистое лицо. Подъ этими ласками невольно расцвѣли суровыя черты сибирскаго хана. Безъ памяти любилъ свою царевну-дочку старый Кучумъ. Отъ любимой покойницы-жены, красавицы Сызгэ, осталась ему Ханджаръ-царевна. Онъ обожалъ когда-то Сызгэ. Онъ выстроилъ ей городъ Сызгэ-Тура [1] близъ Искера и переселилъ туда свою красавицу-ханшу, подальше отъ завистливыхъ и злобныхъ другихъ женъ, не взлюбившихъ за красоту

[1] Сызгэ-Тура—женинъ городъ, нынѣшнія Сыгунскія юрты.

чаровницу Сызгэ. И вся любовь его къ покойной перешла на дочку. Не было просьбы, казалось, въ которой бы отказалъ старый ханъ своей любимицѣ Ханджаръ. И вотъ, подъ вліяніемъ ласкъ царевны, все болѣе и болѣе размягчалось суровое сердце Кучума.

— Отдай мнѣ бѣлаго кула, отецъ!...—лепетала красавица.—Отдай мнѣ его!..

— Бери, око жизни моей... Бери, дикая роза Ишима... — произнесъ слѣпой старикъ, кладя свою высохшую, какъ пергаментъ, руку на благоухающіе кудри Ханджаръ,—дарю тебѣ плѣнника, царевна моя...

Рѣзкимъ, гортаннымъ, побѣднымъ крикомъ вскричала Ханджаръ и, подпрыгнувъ какъ дикая лось, очутилась подлѣ недоумѣвающаго Алексѣя. Его глаза широко раскрылись при видѣ черноокой дѣвушки, что-то оживленно толкующей на непонятномъ ему языкѣ. А она между тѣмъ вырвала изъ-за пояса близъ стоявшаго брата ножъ и въ одинъ мигъ перерѣзала ремень, стягивающій члены плѣнника.

— Ты будешь жить... Отецъ подарилъ тебя мнѣ, я дарю тебѣ жизнь...—не безъ гордости произнесли ея алыя, какъ кровь, гордо изогнутыя губы.

Но тутъ, какъ изъ-подъ земли, выросъ передъ ними Имзега.

— Постой, царевна. Неладное затѣяла ты. Это мой плѣнникъ. Я привелъ его къ хану. И ханъ не можетъ отдать тебѣ чужую добычу, царевна Ханджаръ, — рѣзкими звуками вырвалось изъ груди молодого шамана.

Красавица вздрогнула, вспыхнула, топнула ногою. Вся кровь прилила къ ея лицу.

— Отецъ!.. Отецъ!.. Что-же это!.. Кто смѣетъ нарушить слово твое!.. — такъ и отпрянула она снова къ Кучуму, расталкивая окружавшихъ ее людей.

Теперь невольное смятеніе отражалось на незрячемъ лицѣ повелителя Сибири. Его чуткое, какъ и у всѣхъ

слѣпыхъ, ухо уже успѣло уловить рѣчь Имзеги. Въ тотъ-же мигъ и самъ Имзега предсталъ передъ нимъ. Его глаза сверкали. Лицо было блѣдно, какъ смерть, отъ гнѣва, бѣшенства и плохо сдержанной злобы.

— Великій ханъ!.. — произнесъ онъ, весь трепеща отъ охватившаго его порыва, — будь справедливъ до конца. Отдай мнѣ добычу, которую твоя дочь-царевна хотѣла взять отъ меня... Я схватилъ этого плѣнника у Бабасана... Онъ мой, повелитель Искера и всего сибирскаго юрта... Будь справедливъ...

Онъ говорилъ смѣло съ ханомъ какъ равный. Свита Кучума почти съ ужасомъ вслушивалась въ его слова. Вотъ-вотъ, казалось, подниметъ руку съ копьемъ слѣпой Кучумъ и на-смерть поразитъ дерзкаго шамана. Но, странно, чѣмъ смѣлѣе становилась рѣчь Имзеги, чѣмъ требовательнѣе дѣлался его тонъ, тѣмъ болѣе и болѣе прояснялось лицо Кучума.

Ему давно нравился молодой остяцкій князь. Нравился настолько за свою безкорыстную службу при дворѣ его, Кучума, что онъ позволилъ ему и сестрѣ его Алызгѣ исповѣдывать ихъ языческую вѣру, онъ, Кучумъ, самъ ревностный мусульманинъ и всюду вводившій вѣру магометанскую! Безстрашіе и искренность молодого шамана изъ рода Назымскихъ князей окончательно покорили хана. Онъ произнесъ:

— Ты правъ, Имзега, добыча твоя... Бери плѣнника... Онъ принадлежитъ тебѣ по праву... Ханджаръ, сердце сердца моего, сверкающая звѣзда моего слѣпого ока, не горюй... Много тканей изъ шелка, много чепановъ, какихъ нѣтъ ни у одной ханши въ мірѣ, велю я вымѣнять тебѣ у бухарскихъ купцовъ вмѣсто живого подарка.

И тутъ-же, обращаясь къ разомъ просіявшему остяку, спросилъ:

— Но скажи мнѣ, Имзега, что ты сдѣлаешь съ нимъ?

— Я принесу его въ жертву великому Уртъ-Игэ, чтобы умилостивить грознаго духа, великій ханъ... Кяфыры недалеко... Кяфыры плывутъ къ Искеру, но великіе духи открыли Имзегѣ, что если умилостивить грознаго Уртъ-Игэ, сына великаго Унъ-Тонга, онъ прикажетъ своимъ менгамъ и кулямъ потопить вражескія лодки и схоронить на днѣ Иртыша русскихъ батырей и воиновъ,—вдохновеннымъ голосомъ вскричалъ молодой шаманъ.

— Великъ Аллахъ и Магометъ, пророкъ его! Ты несешь добрыя вѣсти, Имзега! — произнесъ Кучумъ, и радостнымъ свѣтомъ озарилось на мигъ его мрачное, суровое лицо.

Имзега низко поклонился хану, и, грубо дернувъ за ремень, связывающій руки плѣнника, поволокъ его за собою.

Едва переступая отъ усталости, Алексѣй двинулся за нимъ.

Близъ воротъ, сложенныхъ изъ камня, находилась небольшая скала, какъ-бы отпрыскъ гигантской Чувашьей горы, находившейся дальше. Небольшое отверстіе вело въ пещеру. Въ этой пещерѣ жилъ Имзега. Здѣсь лежали шкуры убитыхъ звѣрей, висѣли на стѣнѣ принадлежности шамана, лебедь-домбра, бубенъ и длинныя спицы въ родѣ щита. Лежалъ и пестрый нарядъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутій. Имзега надѣлъ цѣпи, лежащія тутъ-же въ углу и какъ-бы нарочно приготовленныя, на руки Алексѣя. На этихъ цѣпяхъ Имзега держалъ когда-то ручного медвѣдя. Теперь онѣ понадобились для другой цѣли...

При помощи каменнаго молота онъ приковалъ своего плѣнника къ стѣнѣ пещеры.

Слабый свѣтъ, проникавшій сюда извнѣ, освѣщалъ злобное, торжествующее лицо шамана.

Онъ бормоталъ какія-то слова себѣ подъ носъ.

Проклятія-ли это были или молитвы—Алексѣй не зналъ, но лицо его новаго владѣльца дѣлалось все страшнѣе и жестче съ каждой минутой. А Имзега между тѣмъ все бормоталъ, поскрипывая зубами.

— Сиди, собака... Сиди всю ночь и думай о Хала-Турмѣ, гдѣ шайтаны давно скучаютъ по душѣ твоей... Пойду помолиться великому Уртъ-Игэ... Зажгу костеръ въ честь всесильнаго... И когда онъ сгоритъ во славу его, принесу горячихъ угольевъ въ пещеру, разведу огонь, заложу выходъ, очищу дымомъ священнымъ нечистое тѣло твое, чтобы великому Уртъ-Игэ не противно было принять нечистую жертву...

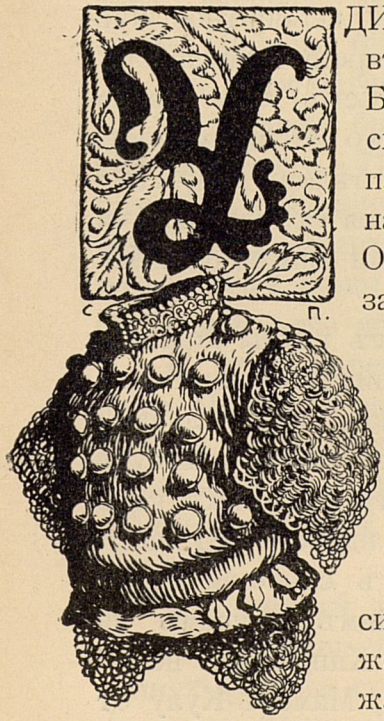
Затѣмъ снявъ со стѣны бубенъ, ударилъ въ него и сталъ медленно ходить по пещерѣ, напѣвая уныло остяцкую пѣсню.

Ни его рѣчи, ни его пѣсни не понялъ, не могъ понять Алексѣй. Да если-бы и понималъ онъ по-остяцки, то теперь-бы не могъ различить словъ Имзеги.

Усталость, голодъ, пережитыя душевныя муки, все это сдѣлало свое дѣло. Юный плѣнникъ опустился на колѣни, прислонился къ стѣнѣ пещеры и не то забылся, не то уснулъ.

ГЛАВА XIII.

Новое чувство.—Въ каменной могилѣ.—Отказъ.



ДИВИТЕЛЬНО странныя грезы витаютъ въ эту ночь надъ головой Ханджаръ. Бѣлый юноша съ синими глазами, со смѣлой, мужественной осанкой—юноша-плѣнникъ, котораго она впервые увидала наканунѣ, не покидаетъ ея ни на минуту. Онъ, точно живой, стоитъ въ ея грезахъ, этотъ красивый, стройный, бѣлый юноша, не похожій на его татарскихъ сверстниковъ... Что-то новое пробудилось въ сердцѣ Ханджаръ. Оно то сладко замираетъ въ груди, то бьется усиленно, шибко... Сдѣлать что-либо для этого юноши, чтобы увидѣть благодарно обращенный на нее его синій взглядъ—вотъ какимъ страннымъ желаніемъ билось гордое сердце Ханджаръ и не даетъ ей ни сна, ни покоя...

Не спится царевнѣ... Темнота царитъ кругомъ. Только красные уголья тлѣютъ на потухающемъ шорѣ. Тутъ же у

ногъ ея раскинулась Алызга. Черезъ отверстіе ченарока [1] царевнѣ видно темное небо и звѣзды на немъ, виденъ и кушъ-юлы [2], знакомый ей издавна. О немъ ей не разъ говорилъ ея слѣпой отецъ и Алызга. Алызга молится кушъ-юлы. По мнѣнію остячки кушъ-юлы—это дорога къ престолу Сорнэ-Турома. Но сегодня серебристо-зеленые огоньки словно измѣнили свой обликъ; они кажутся царевнѣ синими очами... Это *его* очи. Она узнаетъ ихъ изъ тысячи другихъ... Какъ острыя пики впиваются ей въ мозгъ докучныя мысли. Что если повидать синеокаго плѣнника, увести его отъ Имзеги, схоронить до поры до времени? О, какое счастье будетъ тогда ей, Ханджаръ!.. Она чувствуетъ теперь, она понимаетъ, что этотъ плѣнникъ сталъ ей дороже братьевъ и отца, дороже сестеръ. Молніей, съ перваго же взгляда, ворвалось въ ея сердце какое-то странное, непонятное чувство къ нему,—странное, но въ то же время счастливое... О, она не разстанется со своимъ счастьемъ! Она освободитъ этого синеокаго, уговоритъ его уйти, скроетъ его... А потомъ, позднѣе, прикажетъ бѣлому кулу стать мусульманиномъ... Развѣ онъ осмѣлится ослушаться ея, царевны Ханджаръ, воспѣваемой всѣми кайсацкими баксами и пѣвцами?..

Птичкой вспорхнула Ханджаръ съ груды кошмъ и ковровъ, свитыхъ вмѣстѣ и служившихъ ей постелью. Ея мысль между тѣмъ быстро мчалась все дальше и дальше.... «Онъ», синеокій плѣнникъ, станетъ мусульманиномъ, отецъ сдѣлаетъ его своимъ ближнимъ корочей, дастъ ему табуновъ и кибитокъ вдоволь, сдѣлаетъ его богатымъ и знатнымъ — и станетъ синеокій витязь ея мужемъ-повелителемъ, ея лучшимъ другомъ навсегда... «Ему» она покорится, она, Ханджаръ, не покорявшаяся доселѣ никому въ мірѣ... Маметъ-Кулу от

[1] Родъ окна для дыма надъ шоромъ.—[2] Млечный путь.

кажетъ отецъ. Маметъ-Кулъ осрамилъ пораженіемъ его сѣдины и ему не видѣть Ханджаръ женою своей...

Глаза Ханджаръ горѣли, лицо смутно бѣлѣлось въ темнотѣ юрты. Сердце билось въ груди какъ птичка...

— Проснись, бійкемъ!..—шепнула она свернувшейся котенкомъ въ ея ногахъ Алызгѣ.—Проснись скорѣе! Ты должна идти за мною...

Алызга съ быстротою лани вскочила на ноги.

— Что надо царевнѣ?.. Отчего не спитъ солнце и лучъ души моей?..—недоумѣвающе спрашивала она, протирая сонные глаза.

Ханджаръ быстро наклонилась къ ея уху и, волнуясь, зашептала ей свою смѣлую мысль.

Не говоря ни слова Алызга покорно наклонила голову, закивала ею, и первая тѣнью выскользнула изъ юрты. Царевна бросилась за нею.

По пути остячка говорила:

— Должно быть плѣнника увелъ въ свою пещеру братъ Имзега. Пока не встанетъ заря на небѣ, мой братъ не предприметъ ничего дурного. Я знаю его обычай... Онъ молится по ночамъ Уртъ-Игэ въ священномъ мѣстѣ рощи... Мы можемъ спокойно теперь пробраться къ его жилищу.

И обѣ—царевна и ея вѣрная подруга—ускорили шаги. Миновавъ сосѣднія помѣщенія своеобразнаго дворца Кучума и ближайшихъ юртъ его вельможъ, онѣ проскользнули за городскую насыпь и вскорѣ очутились у знакомой пещеры, куда не разъ ходила къ брату княжна Алызга.

Въ темнотѣ ночи имъ слышался смутный гулъ со стороны Чувашьей горы. Подъ нею копошились воины, стянутые сюда со всего Кучумова царства для защиты столицы. Самъ Кучумъ всѣ послѣднія ночи съ муллами и корочами проводилъ въ молитвахъ на вершинѣ

горы. Тамъ пылали костры, и мусульманскіе священники тягучей, какъ грустная пѣсня, молитвой призывали милость Аллаха. Ждали русскихъ каждый день, каждый часъ, каждую минуту. Воины были наготовѣ, чтобы достойно встрѣтить дерзкихъ удальцовъ.

— Гляди!.. Вонъ пещера Имзеги!..—тихо произнесла дрогнувшимъ голосомъ Алызга.

Ханджаръ встрепенулась. Въ двухъ шагахъ отъ нея зіяющей пастью чернѣла пещера. Алызга незамѣтно проскользнула туда, Ханджаръ за ней. Знавшая всѣ закоулки жилища брата остячка стала хозяйничать тамъ впотьмахъ. Она отыскала ощупью трутъ, высѣкла огня, засвѣтила жировую плошку, выдолбленную изъ черепа убитаго волка, и вскорѣ освѣтилась внутренность пещеры. Прикованный къ стѣнѣ Алексѣй спалъ. На его измученномъ, но попрежнему красивомъ лицѣ играла счастливая улыбка. Онъ видѣлъ во снѣ тѣнистый садъ въ Сольвычегодскѣ, качели и ее, Таню, веселую, милую, щебечущую ему что-то...

— Проснись!.. Проснись!..—слышитъ онъ ея смѣющійся голосокъ.

«Что это?.. Аль и впрямь уснулъ онъ ненарокомъ подъ тѣнью орѣшника въ Строгановскомъ саду?» Онъ хочетъ протереть глаза, поднимаетъ руку и тутъ же въ безсиліи опускаетъ ее.

Загремѣли докучныя цѣпи... Этотъ звонъ окончательно привелъ его въ себя. Онъ проснулся... Ни сада, ни орѣшника, ни голубоглазой Танюши. Передъ нимъ внутренность пещеры—жилище остяка. Двѣ женщины или дѣвушки стоятъ передъ нимъ. Онъ вглядывается въ одну изъ нихъ, и невольный крикъ вырывается изъ его груди:

— Алызга!.. Вотъ гдѣ привелося повидать тебя, змѣю-обманщицу!—съ ненавистью вскричалъ Алексѣй, вперяя въ остячку негодующій взглядъ.

— Полно, батырь, полно, — засмѣялась Алызга,— сами боги посылаютъ къ тебѣ меня... Ишь, што вспомнилъ! То, что давнымъ-давно быльемъ поросло, — своимъ ломанымъ русскимъ языкомъ говорила дикарка. — Ты далъ когда-то свободу Алызгѣ, и Алызга пришла отблагодарить тебя... Слушай меня внимательно, батырь...

И, усѣвшись на корточки передъ скованнымъ Алексѣемъ, она заговорила, быстро, быстро роняя слова:

— Взгляни, батырь, вонъ стоитъ царевна Ханджаръ. Она глядитъ на тебя... Знаешь, почему глядитъ?.. Полюбился ты ей, алактай русскій, пуще звѣзды полночной, пуще волны рѣчной, пуще всей жизни своей... Слушай, батырь: на смерть обрекъ тебя, видно, братъ мой Имзега... Видно на смерть, коли, какъ пса, приковалъ къ стѣнѣ... На зарѣ убьетъ тебя Имзега... Сердце Алызги такъ говоритъ... Такого молодого батыря убьетъ!.. Такого красавца, какого нѣтъ въ Ишимскихъ степяхъ, до самаго Тибета нѣтъ!.. Батырь, рано тебѣ умирать... Другая ожидаетъ тебя судьба... Слушай, батырь: здѣсь стоитъ царевна Ханджаръ... Нѣтъ такой красавицы промежъ вашихъ дѣвушекъ. Нѣтъ такихъ черныхъ огневыхъ очей у кяфырскихъ дѣвъ... И она, царевна, самоцвѣтный камень, алмазъ Искера, отличила тебя... Она выбрала тебя... Приказываетъ тебѣ царевна принять мусульманство и стать ея женихомъ... Мы собьемъ съ тебя цѣпи, и ты будешь свободенъ сейчасъ же, какъ вольный сибирскій орелъ... Будешь ближнимъ человѣкомъ хана, будешь мужемъ царевны, займешь почетное мѣсто у трона его...

Окончила свою рѣчь Алызга. Пронзительнымъ взоромъ метнула и—отпрянула назадъ.

Бѣшенствомъ и злобой сверкали глаза Алексѣя. Негодованіемъ и гнѣвомъ пылало его лицо. Руки—конвульсивно сжались въ кулаки. Отъ безсилія и возмущенія разрывалось сердце.

— Молчи, змѣя!.. — крикнулъ онъ хрипло, весь подавшись впередъ. — Молчи, дьяволъ-соблазнитель во плоти человѣческой!.. Чѣмъ искусить мыслила!?. Да нешто я... да... нешто!.. Слушай ты, агарянка поганая, передай твоей царевнѣ, что не хочу я вашихъ почестей и счастья и во вѣкъ не измѣню вѣрѣ моей православной... Не надо мнѣ ни жизни, ни свободы, коли такой цѣной будетъ куплена она... Смерти не боюсь... Господа своего не продамъ, а на твою царевну лупоглазую глядѣть не желаю... Есть у меня невѣста въ Сольвычегодскѣ, Танюша моя, и мою кралю любимую ни на какихъ царевенъ Искера не промѣняю... Слышь!.. Запомни же поладнѣе все то, што повѣдалъ я тебѣ...

— Что сказалъ тебѣ батырь русскій?—видя негодованіе, охватившее плѣнника, такъ и бросилась къ Алызгѣ Ханджаръ.

Та угрюмо потупила свои маленькіе глазки.

— Не хочетъ онъ ни любви твоей, ни свободы, радость жизни моей...—прошептала она.

Поблѣднѣла, какъ снѣгъ, Ханджаръ.

— Такъ пусть умретъ!—вскричала она бѣшено.— Пусть убиваетъ его Имзега!.. Да проклянетъ его Алла на вѣки вѣковъ!—и изступленно топнула ногою.

Едва успѣла она досказать послѣднія слова, какъ гулкій пушечный раскатъ пронесся со стороны рѣки надъ Искеромъ и замеръ вдали, за горой.

За нимъ другой... третій...

— Палятъ какъ будто у городка Атикъ-мурзы, — прошептала Алызга, впиваясь въ руку царевны дрожащей рукой.

— Горе намъ!.. — вскричала Ханджаръ, трепеща всѣмъ тѣломъ.—Берутъ городокъ мурзы!.. Возьмутъ и Искеръ кяфыры!..

— Искеръ не возьмутъ!.. Батыри наши охранятъ его... Десятки тысячъ ихъ собраны подъ горою... Ве-

ликій духъ оградитъ насъ отъ несчастья... — убѣжденнымъ, твердымъ голосомъ произнесла Алызга.

Гулъ на Чувашьей горѣ между тѣмъ все усиливался. Искеръ проснулся совсѣмъ и зашумѣлъ. На площадь его высыпали мирно спавшіе старики и дѣти, разбуженные пальбою.

И вотъ, со стороны горы, откуда были видны окрестности, какъ на ладони, побѣжали люди.

— Городокъ Атикъ-мурзы взятъ русскими!.. Молитесь Аллѣ, да дастъ онъ побѣду надъ кяфырами нашимъ батырямъ!..—вопили они.

— Идемъ скорѣе... Вонъ бѣжитъ сюда Имзега... Нехорошо, ежели застанетъ насъ здѣсь... — произнесла Алызга, хватая снова за руку Ханджаръ и увлекая ее за собою. Но та и сама уже летѣла стрѣлою по направленію горы, на которой былъ ея отецъ.

Алызга отстала немного, замедлила свой шагъ и остановилась. Она не солгала царевнѣ: ея братъ быстро приближался къ пещерѣ. Лицо его было сумрачно и сурово. При свѣтѣ выплывшаго мѣсяца онъ казался блѣднымъ и утомленнымъ. Огромный пукъ хвороста былъ на его плечахъ. Не желая быть замѣченной Имзегой, Алызга скользнула за кустъ боярышника и съ замираніемъ сердца слѣдила, что будетъ дальше. Изъ ея убѣжища ей была хорошо видна внутренность пещеры.

Имзега, между тѣмъ, торопливо вошелъ въ жилище, сбросилъ пукъ хвороста на землю и тутъ только замѣтилъ горящую плошку на полу пещеры. Безумная, фанатическая радость охватила его лицо.

— Великій Уртъ-Игэ, ты далъ добрый знакъ! — вскричалъ онъ въ голосъ. — Ты самъ послалъ огонь, очищающій жертву. Да свершится воля великаго духа!.. Плѣнникъ, ты умрешь сейчасъ!..—заключилъ онъ торжественно, обращаясь къ скованному Алексѣю.

Тотъ не понялъ словъ шамана. Но когда послѣдній,

сложивъ изъ принесеннаго хвороста костеръ у его ногъ, вылилъ на него масла, плѣнникъ разомъ понялъ весь ужасъ своего положенія.

— Живымъ ладитъ сжечь... — вихремъ пронеслась его мысль, и волосъ дыбомъ поднялся на его головѣ...

Умереть здѣсь, сейчасъ, внутри этой ужасной пещеры, казалось такимъ чудовищнымъ ему, молодому, сильному, полному мощи и здоровья юношѣ!..

Между тѣмъ костеръ занялся... Огонь поднимался выше... Онъ уже коснулся кафтана князя... Цѣпи, сковавшія ноги, нагрѣлись и раскаленными звеньями жгли его, смрадный дымъ душилъ горло, ѣлъ глаза...

А самъ Имзега закружился, какъ бѣшеный, вокругъ костра. Вотъ онъ схватилъ со стѣны бубенъ и, ударяя въ него, завертѣлся на одномъ мѣстѣ.

— Великій Уртъ-Игэ! Прими мой даръ!..—хриплыми звуками срывалось съ его устъ, пока, наконецъ, грянувъ въ конвульсіяхъ на полъ, чуть живой отъ усталости, онъ не потерялъ сознаніе.

Огненные языки уже лизали Алексѣя. Одежда на немъ занялась въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Имзега, лежа на полу, не подавалъ признаковъ жизни. Этимъ мгновеніемъ воспользовалась Алызга. Быстрѣе молніи рванулась она въ пещеру, схватила потники и кошмы, сваленные въ углу, и въ одну минуту затушила костеръ. Потомъ забросала ими загорѣвшіяся одежды Алексѣя и, когда онѣ перестали тлѣть, взяла его за руки, подвела къ выходу пещеры и сказала:

— Ты далъ мнѣ когда-то свободу, батырь, теперь благодарная Алызга отплатила тебѣ тѣмъ-же и спасла тебя... Бѣги къ своимъ, пока братъ Имзега не проснулся... Но берегись попасться снова на глаза Алызгѣ... Алызга женщина и какъ женщина слабѣе тебя, мужчины... Но бойся ее, батырь... Великъ гнѣвъ Алызги... Узнай, батырь, стрѣлы ея бьютъ не хуже стрѣлъ перваго алак-

тая... За униженіе моей госпожи, царевны Ханджаръ, сумѣетъ отплатить кяфыру Алызга... — заключила она дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

Алексѣй слабо улыбнулся.

— Не больно-то страшны твои угрозы, Алызга, — произнесъ онъ. — Я слабъ и безоруженъ... У тебя въ рукѣ ножъ... Ударь меня имъ, коли чувствуешь въ себѣ правоту... Но помысли о томъ: отвернулась-бы ты отъ твоихъ боговъ, Алызга, отъ родины и кровныхъ, когда бы враги твои пожелали того?.. Слышишь меня, Алызга?..

Она только блеснула своими маленькими глазами въ отвѣтъ.

— Ступай, не то накроютъ наши...—шепнула она, быстрымъ, ловкимъ движеніемъ раскрыла замокъ ржавыхъ цѣпей на рукахъ Алексѣя и скрылась въ кусты.

Алексѣй поднялъ голову къ небу. Ласковыя звѣзды глянули на него, словно радуясь за него, словно подбодряя. Онъ перекрестился истово и, придерживаясь руками за встрѣчныя деревья и кусты, поплелся впередъ, наугадъ, едва передвигая ослабѣвшія ноги.

ГЛАВА XIV.

Свѣтлое слово. — Воскресшій изъ мертвыхъ. — Кровавая битва.

АКАЯ темная и непроглядная осенняя ночь!..

Сквозь приподнятую кошму иссыка видны другія юрты и скатъ къ рѣкѣ, и темное небо съ миріадами золотыхъ очей. Огни на небѣ и огоньки на землѣ... Огоньки мелькаютъ и внизу... Это не спятъ казаки, взявшіе въ сумеркахъ городокъ Атикъ-мурзы и разгромившіе его богатства. Въ юртахъ татарскаго князька расположились они отдохнуть передъ послѣднимъ боемъ. Кровавымъ и страшнымъ будетъ этотъ послѣдній рѣшающій и рѣшительный бой. Подъ Чувашьей горой, на засѣкѣ, копошились Кучумовы воины. Еще до сумерокъ увеличилось, возросло почти вдвое ихъ число. Это Маметъ-Кулъ со своими батырями присоединился къ защитникамъ Искера. Костры непріятельскаго стана пылали ярко. Шумъ и гулъ ихъ голосовъ

несся по рѣкѣ. Въ наскоро сложенной юртѣ, на вершинѣ Чувашьей горы, устроился Кучумъ со своими мурзами и муллами, что-бы слѣдить съ высоты утеса за ходомъ битвы.

Не тихо и внизу въ только-что взятомъ съ боя городкѣ Атикъ-мурзы. На площади его и въ юртахъ, и на береговомъ скатѣ размѣстилась Ермаковская дружина. Говорятъ громко, спорятъ бурно. Слышны возгласы, крики. Чуть не до Чувашьей горы долетаютъ они. Мертваго они разбудятъ, не то что встревожатъ живого.

— Не ладно дѣло затѣялъ атаманъ... Нешто можно такъ-то?.. Насъ мала горсточка, а ихъ вона што комаровъ о лѣтнюю пору, — звучали все настойчивѣе и сильнѣе голоса казаковъ.

— Вѣстимо дѣло: не одолѣешь... Перебьютъ насъ за милую душу... Косточекъ не соберешь...

— Вотъ бы ночкой-то, покамѣсть тьма кромѣшная стоитъ, сѣсть бы въ струги ладненько да и отвалить къ Тоболу,—нерѣшительно замѣтилъ чей-то голосъ.

— Вѣстимо, отвалить... Давай обрядимъ это дѣло, ребята... Собирай кругъ, молодцы, — подхватили другіе голоса.

— Безъ атамана-то кругъ собрать?! Штой ты? Аль очумѣлъ, паря!.. — останавливалъ Мещерякъ расходившагося казака.

— А о чемъ атаманъ-то мыслитъ?.. Чего ждать?.. Какого ему рожна еще надоть?.. Набрали богачествъ у поганыхъ, навоевали ихъ имѣнья, да и буде... Вспять можно, пока не перебили насъ всѣхъ... Гляди, полегло ужъ сколько изъ дружины... Да и патроны у насъ почти што всѣ... Атаману што: онъ бобыль, сирота круглая, а у насъ бабы въ Сольвычегодскѣ оставлены, за два-то года тамошняго житья переженились многіе, ребята кой у кого малюточки, тоже жалко...

— И то жалко... На што и Сибирь намъ, коли жисти рѣшиться, — подхватывали все новые и новые голоса.

И вскорѣ настоящій бунтъ вспыхнулъ на кругу. Напрасно Кольцо и его помощники перебѣгали отъ одного къ другому, успокаивали, уговаривали и убѣждали — ничего не помогало. Страхъ, какъ спрутъ, охватывалъ, дружину своими липкими, отвратительными щупальцами и держалъ ее какъ въ тискахъ.

Дружина роптала.

— Не хотимъ подъ ножи поганыхъ!.. На утекъ пойдемъ!.. — кричали казаки.

Блѣдный, съ трясущеюся челюстью кинулся въ юрту Ермака Матвѣй Мещерякъ.

— Выходи, атаманъ... Сладу имъ нѣтъ... Бунтуетъ дружина... — неожиданно, точно выросъ онъ передъ задумчиво сидѣвшимъ на кошмѣ Ермакомъ.

Быстро, въ одинъ мигъ, очутился атаманъ въ кругу дружины.

— Кто дозволилъ кругъ собрать?.. Кто галдѣть зачалъ?.. Кто бѣжать отъ боя хочетъ... Выдавай зачинщиковъ!.. — грозно прогремѣлъ его окрикъ.

И горящими глазами онъ обвелъ кругъ.

Все разомъ стихло, какъ по мановенію волшебнаго жезла.

— Братцы!—прозвучалъ послѣ недолгаго молчанія хорошо знакомый каждому казаку голосъ Ермака. — Куда бѣжать намъ, ребятушки?.. Время осеннее... позднее... Гляди, ледъ на рѣкахъ смерзать зачинаетъ... Струги засосетъ... А и пусть бы проплыли благополучно, такъ нешто худая слава за нами не поплыветъ?... Вспомнимъ, братцы, что честнымъ людямъ обѣщали, чѣмъ русскому народу православному да царю-батюшкѣ заслужить хотѣли... Нѣтъ, не вернемся вспять... Не положимъ укоризны на себя бѣгствомъ нашимъ... Ударимъ съ Божьей

помощью на засѣку съ разсвѣтомъ. Стыда не примемъ... И да поможетъ намъ Богъ, и память о насъ не оскудѣетъ, и слава наша вѣчна будетъ...

Сказалъ и обвелъ взоромъ дружину. Глядитъ и ждетъ. А ужъ казаки не тѣ. Блѣдныя лица подняты на него съ увѣренностью въ побѣдѣ и горятъ вдохновенной вѣрой, надеждой...

Еще минута и побѣднымъ звукомъ вырвался кликъ могучій, какъ ревъ пороха, изъ многихъ десятковъ грудей:

— Идемъ на Кучума!.. Всѣ до единаго идемъ!.. Прости, атаманъ!.. Пусть не оскудѣетъ память о насъ, и слава намъ вѣчно будетъ!..

— Спасибо, ребятушки!.. А теперь отдохните малость. На разсвѣтѣ жаркое дѣло предстоитъ,—тепло и радостно откликнулся атаманъ. — Да сторожевыхъ поставить распорядись, Иванычъ, — обратился онъ къ есаулу.

Тихо разбрелись по юртамъ казаки. Тишина воцарилась въ городкѣ. Только сторожевые обычнымъ окликомъ «слу-у-у-шай» по временамъ нарушали ее.

Матвѣй Мещерякъ добровольно занялъ постъ одного изъ постовыхъ казаковъ, отпустивъ спать послѣдняго. Матвѣю не спалось все равно въ эту темную, непроглядную осеннюю ночь. Смутно рѣяли думы въ темнокудрой головѣ недавняго разбойника. Невеселыя думы. Участь названнаго брата непоправимымъ укоромъ легла ему на совѣсть... Не уберегъ онъ, не доглядѣлъ, попустилъ погибнуть его, Алешеньку, окаянный... Эта мысль точно камнемъ упала Матвѣю на грудь и давила, давила нестерпимо. Особенно угнетало его то, что, несмотря на поиски, онъ не могъ найти между убитыми трупа Алеши. Даже Агашу забылъ теперь Мещерякъ, забылъ и обѣщаніе свое принести ей богатые подарки, награбленные изъ татарскихъ юртъ... Передъ нимъ стоялъ окровавленный призракъ его юнаго друга и брата. Красивые

синіе глаза Алеши съ укоромъ, казалось, глядѣли на него...

— Не доглядѣлъ... не уберегъ...—шептали беззвучно ссохшіяся отъ внутренняго волненія губы Матвѣя.

Онъ взглянулъ на небо. Тамъ было хорошо. Золотые звѣздные огоньки-очи мерцали, мигая съ какою то умиротворяющей лаской на темень земли. Но они не приносили должнаго облегченія душѣ Матвѣя. Онъ перевелъ взоръ на рѣку. Рѣка стонала. Легкій слой льда, сальца, хрустѣлъ и ломался въ ночной тиши. Прибрежные кусты осоки тянули безобразныя, въ темнотѣ принявшія чудовищныя очертанія, крутыя вѣтви... Что-то темное копошилось подъ однимъ изъ нихъ. Матвѣй невольно дрогнулъ.

— Никакъ татарва сюды крадется?.. Вотъ бы раздобыть языка... Ишь, придумалъ гдѣ схорониться, поганый!.. Постой же ты у меня!..

И, держа чеканъ наготовѣ, Матвѣй бросился впередъ къ кусту, къ тихо двигавшейся фигурѣ.

Та перестала шевелиться и притаилась въ тѣни осоки.

Въ одинъ мигъ Мещерякъ очутился передъ лежащей фигурой.

— Жизнь либо смерть!—вскричалъ онъ грозно, занеся свой чеканъ надъ головою врага.

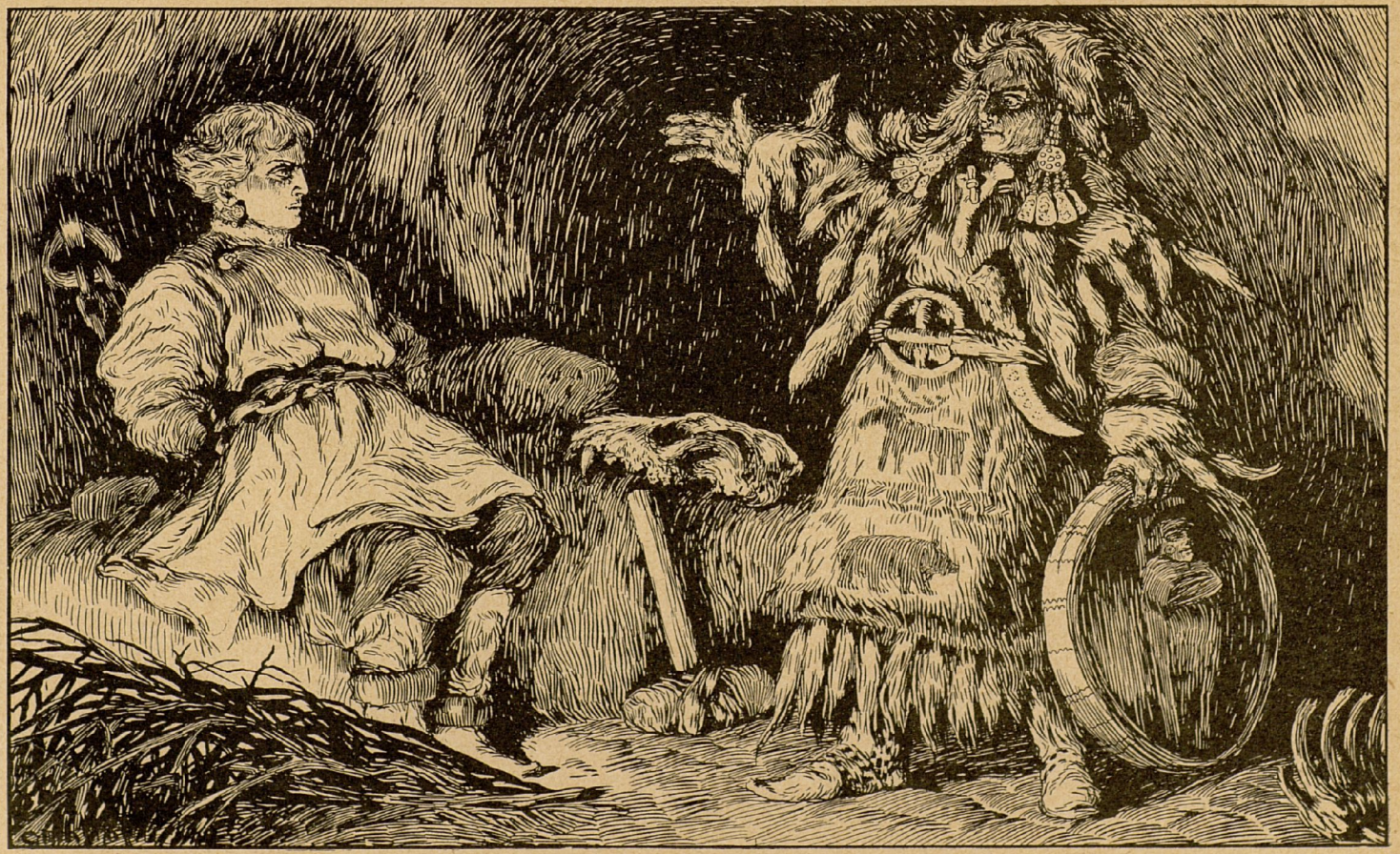
И тутъ же выронилъ оружіе, весь похолодѣвъ отъ ужаса.

— Алеша, ты ли это?..—не своимъ голосомъ вскричалъ казакъ.

— Я, братику... Я, Матюша...—услышалъ онъ слабый отвѣтъ. — Едва выбрался изъ полону... Слава тѣ, Господи, добрался до своихъ...

Не помня себя обнялъ его Матвѣй.

— Въ юрту... къ атаману... — лепеталъ онъ, едва



— Великій Уртъ-Игэ, ты далъ добрый знакъ!—вскричалъ Имзега...

сознавая дѣйствительность, — родимый ты мой, вѣдь за мертваго почитали... молились за упокой души... А онъ!.. Зелена вина тебѣ чарку да хлѣбушка... Пойдемъ, родимый...—весь дрожа отъ нетерпѣнія ронялъ Мещерякъ.

И обхвативъ своими сильными руками за плечи Алексѣя, онъ почти понесъ Алешу въ юрту Ермака.

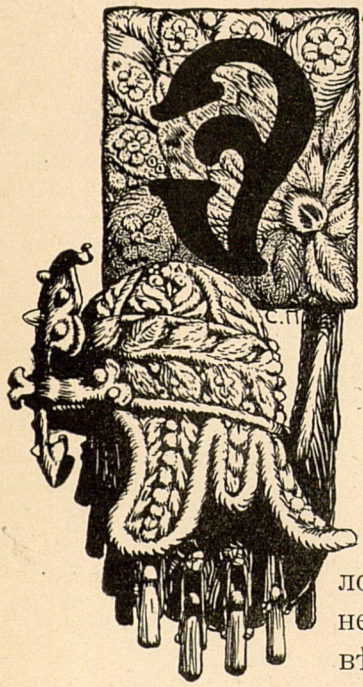
Но не одинъ онъ радовался освобожденію князя. Атаманъ свѣта не взвидѣлъ отъ счастья, увидя своего любимца.

Чарка водки и нѣсколько сухарей, да крѣпкій сонъ разомъ возстановили упавшія было отъ голода силы Алексѣя. Онъ спалъ какъ убитый въ эту ночь, послѣднюю ночь передъ послѣднимъ боемъ.

Этотъ бой долженъ былъ сбросить вѣнецъ Кучума къ ногамъ Ермака или положить костями его грозную, удалую дружину.

ГЛАВА XV.

Рѣшительная побѣда.—Шутка шайтана.—Гибель за гибель.—Гнѣвъ Аллы.



ТО было на разсвѣтѣ 23-го октября. Холмы и овраги еще спали подъ сѣрой полосой тумана, когда къ татарской засѣкѣ неслышно подобрались скрытые въ долинѣ казаки, таща за собою три небольшія, но тяжелыя пушки.

Не доходя нѣсколькихъ десятковъ саженей до засѣки они остановились. Яркимъ золотымъ пятномъ засіялъ крестъ въ рукахъ священника, шедшаго въ рядахъ воиновъ-казаковъ. Появились хоругви и стяги. Шапки полетѣли съ казацкихъ головъ. Усердная молитва понеслась къ небу. Колѣнопреклоненная дружина съ вѣрой и упованіемъ предавала себя въ руки Божіи. Потомъ снова двинулась въ путь, далѣе къ засѣкѣ, гдѣ, окопавшись, засѣли полчища Кучума съ удальцомъ Маметъ-Куломъ во главѣ.

Прогрохотала первая пушка... Раскатистое эхо повторила дремучая тайга и сѣрые утесы далеко, далеко...

Градомъ стрѣлъ отвѣчалъ изъ засѣки многочисленный непріятель. Стрѣлы посыпались частымъ, непрерывнымъ градомъ на головы удальцовъ. Чѣмъ ближе приближались казаки, тѣмъ больше валилось раненыхъ и убитыхъ, устилая тѣлами окровавленный путь къ Искеру.

Видя, что русскихъ только ничтожная горсть, татары сами проломали засѣку въ трехъ мѣстахъ и устремились на осаждавшихъ.

Ермакъ, собственноручно управлявшій главною пушкою и въ промежуткахъ паливший безъ устали изъ своей пищали, увидѣлъ несмѣтное количество конныхъ и пѣшихъ, съ дикимъ гиканьемъ и свистомъ мчавшихся огромною ордою на его маленькій отрядъ. Этотъ отрядъ убывалъ и убывалъ съ каждой минутой подъ стрѣлами вдесятеро сильнѣйшаго врага. Сердце атамана обливалось кровью. Жгучая мысль пронизывала мозгъ:

— А што ежели правы были ночью ребята?.. Што ежели всѣ до единаго поляжемъ костьми и николи не повѣдаетъ народъ православный, какъ славно бился за него на-смерть со своей дружиной Ермакъ?..

Но это было только мимолетное малодушіе. Черезъ минуту новымъ порывомъ отваги и увѣренности въ себѣ и къ своей храброй дружинѣ кипѣло мощное сердце Ермака.

— За мною, въ рукопашную, братцы!.. Господь поможетъ!.. Одолѣемъ врага съ помощью Всевышняго!..— сквозь грохотъ пушекъ и пищалей пронесся зычный голосъ его.

И съ поднятымъ чеканомъ въ одной и саблей въ другой рукѣ онъ метнулся впередъ, и первый врѣзался въ самую середину орды татарской.

— Богъ въ помощь, ребята!.. Не выдавай другъ

дружку нечисти поганой!..—гремѣлъ оттуда его могучій призывъ.

Закипѣла сѣча, страшная кровавая сѣча, въ которой приходилось по пятьдесятъ человѣкъ татаръ на каждаго казака. Рубились чеканами, кололись пиками и копьями, схватывали голыми руками за горло другъ друга и душили одинъ другого, кровью и трупами покрывая лощину.

Люди превратились въ звѣрей. Одно общее стремленіе къ крови, къ гибели, уничтоженію врага охватывало цѣпкими звеньями дерущихся. Каждая пядь земли покупалась десятками труповъ, бочками крови, сотнями израненныхъ тѣлъ...

Отъ ржанія перепуганныхъ коней, зловѣщаго гортаннаго крика сибирцевъ, звона, лязга оружія и выстрѣловъ пушекъ и пищалей стонъ стоялъ въ воздухѣ...

Безъ устали работалъ своей казацкой молодецкой саблей Ермакъ. Всюду, гдѣ только закипало самое пекло боя, поспѣвалъ онъ, грозный и страшный врагу, желанный своей дружинѣ. Съ могучей силой опускался его топоръ на головы облѣпившихъ его, какъ мухи, татаръ. Стонъ и вопли стояли столбомъ тамъ, гдѣ проносилась его мощная, плечистая фигура, гдѣ звенѣла его стальная сабля, лучшая добыча былыхъ грабежей...

...Не ясенъ то соколъ по небу разлетываетъ,
Младъ Ермакъ на добромъ конѣ разъѣзживаетъ.
По тыя, по силы по татарскія...
Куда махнетъ палицей—туда улица,
Перемахнетъ—переулочекъ...

вотъ какъ сложилась старинная пѣсня о народномъ богатырѣ Ермакѣ.

Воодушевленный одной мыслью, однимъ желаніемъ, почти нечеловѣческимъ, стихійнымъ по страсти и силѣ, побѣдить или умереть, онъ, въ случаѣ пораженія, уже приготовился дорого продать свою жизнь. Десятки та-

таръ такъ и валились подъ ноги его боевого коня. Его сабля, дымящаяся отъ крови, обдавала на разстояніи паромъ и тепломъ. Сверкающія очи молніей прожигали кругомъ. Этотъ огненный взглядъ, эта мощная, смѣлая героическая фигура больше всякаго призыва воодушевляла дружину.

Въ самый разгаръ битвы, когда поднявшійся вѣтеръ разогналъ послѣдніе остатки утренняго тумана, изъ-за вала засѣки вихремъ, во главѣ новой орды, вылетѣлъ широкоплечій атлетъ-татаринъ и, крича что-то по-татарски рубившимся неистово своимъ воинамъ, сталъ носиться ураганомъ по бранному полю, кроша кривой саблей вокругъ себя...

Это былъ Маметъ-Кулъ, подоспѣвшій со своимъ главнымъ подкрѣпленіемъ на выручку татарамъ. Видъ у него былъ страшный. Глаза на выкатѣ.

Какъ разъяренные львы бросились казаки на новую орду. Не выдержали татары. Напрасно кричалъ имъ что-то по своему Маметъ-Кулъ, носясь птицей и ободряя дерущихся, то и дѣло направляя свое губительное копье направо и налѣво. Не вынесли татары и отступили къ засѣкѣ.

Когда объ этомъ отступленіи, этомъ временномъ смятеніи узналъ молящійся на горѣ Кучумъ, онъ сдѣлалъ знакъ рукою, и мусульманскіе священники прервали свои фанатическія завыванія, свои воззванія къ Аллѣ.

— Кто проберется къ Маметъ-Кулу и прикажетъ ему отъ имени моего продолжать битву, пока ни одного изъ русскихъ не останется въ живыхъ? — прогремѣлъ призывомъ голосъ стараго хана.

Но вокругъ него не было никого, кромѣ муллъ, шамановъ-баксъ и женщинъ гарема его, женъ и дочерей. Всѣ корочи и сановники, даже оба сына его, — Абдулъ-Хаиръ и красавецъ Алей, — всѣ были въ засѣкѣ подъ горою.

Но вотъ, словно изъ-подъ земли, выросъ предъ Кучумомъ молодой шаманъ. Это былъ Имзега. Дрожащимъ отъ волненія голосомъ онъ произнесъ:

— Пошли меня, повелитель... Пусть братья мои, шаманы, молятъ великаго духа о спасеніи твоего Искера, а мое сердце горитъ жаждою отомщенія проклятымъ врагамъ... Они держали мою сестру полонянкой, они убили моего друга и брата Огевія, мужа сестры Алызги... Они положили много храбрыхъ остяцкихъ батырей подъ огненными стрѣлами своими... Пошли меня, ханъ... Я гибель и смерть понесу имъ именемъ великаго духа, повелитель...

— Ступай! И передай Маметъ-Кулу, чтобы побѣдителемъ или мертвымъ вернулся бы онъ ко мнѣ!

И, сдѣлавъ повелительный жестъ рукою, величаво потупилъ свою старческую голову Кучумъ.

Имзега стрѣлою ринулся внизъ по скату горы.

Вдругъ чья-то маленькая, сильная рука легла на его плечо. Онъ быстро оглянулся. Передъ нимъ стояла Алызга.

Волненіе и трепетъ были написаны на ея обычно каменно-спокойномъ лицѣ, когда она проговорила:

— Братъ Имзега, и я за тобою... Ты одинъ остался у меня... Отецъ далеко въ Назымѣ... Мужъ погибъ подъ саблями русскихъ... Царевну Ханджаръ, мою повелительницу и госпожу, буду защищать наравнѣ съ мужчинами батырями... Я тамъ, въ бою, нужнѣе... Мой ножъ бьетъ безъ промаха... А ненависть къ русскимъ умножитъ силу руки моей... И да помогутъ мнѣ всѣ силы Хала-Турма... Смерть и мщеніе кяфырамъ понесу я слѣдомъ за тобою...

— Иди! — проговорилъ Имзега, любуясь невольно воодушевленіемъ сестры.—Великій Уртъ-Игэ да будетъ тебѣ, сестра, покровомъ.

Схватившись за руки, они помчались оба съ горы къ засѣкѣ, гдѣ передыхалъ отъ перенесенной сѣчи со своей дружиной Маметъ-Кулъ.

И вотъ снова закипѣла битва, еще болѣе грозная, нежели прежде. Рѣкою полилась татарская и казацкая кровь. Падали татары, какъ мухи, гибли кругомъ, но и казаки погибали и уменьшались съ каждой минутой въ числѣ... Всюду царила гибель...

. . . . . .

Наравнѣ съ сильными воинами своего и татарскаго племени билась Алызга, ни на шагъ не отступая отъ брата. Вооруженная ножомъ, съ развѣвающимися волосами, съ дикимъ выраженіемъ горящихъ глазъ, она казалась безумной. Теперь до малѣйшей точности припоминалась ей другая битва, когда она участвовала въ бою, но не подлѣ брата, а рядомъ съ любимымъ мужемъ. Онъ палъ, Огевій, тамъ, далеко, подъ ножами русскихъ, въ Пермскомъ краю... Кровь его вопіетъ... Она почуяла это съ первыми звуками сѣчи... И она отомститъ за гибель любимаго супруга, она, его жена, его Алызга... Но не одна месть и желаніе биться въ защиту Ханджаръ и помочь брату привели ее сюда. Ея сердце грызла тоска раскаянія. Поддавшись минутной жалости и желая отплатить добромъ за добро, она отпустила въ эту ночь плѣнника на свободу. И какого плѣнника!.. Существо, предназначенное въ жертву великому духу!.. Она украла даръ у божества и должна искупить свой грѣхъ. Кровью кяфыровъ умоетъ она и очиститъ свою помраченную совѣсть. И бьется Алызга сильная, какъ мужчина, поспѣвая всюду на помощь своимъ, добивая раненыхъ враговъ, разя неожиданно сильныхъ и здоровыхъ.

Имзега не отстаетъ отъ сестры. Онъ твердо сознаетъ, что принесенная жертва принята Уртъ-Игэ.

Какъ только онъ очнулся отъ обморока въ пещерѣ, полной дыма, онъ завалилъ входъ ея огромнымъ камнемъ, чтобы не только тѣло сожженнаго имъ, но и душа его не ушла изъ пещеры и досталась въ даръ великому духу. Что его плѣнникъ сгорѣлъ, пока онъ былъ безъ

сознанія, Имзега не сомнѣвался. Болѣе того: онъ былъ увѣренъ, что эта жертва дастъ побѣду его благодѣтелю, хану Кучуму, и бился съ удвоенной силой, весь пылая фанатическимъ воодушевленіемъ и время отъ времени воодушевляя короткими бодрящими словами сестру.

Но что это?.. Смертельный ужасъ охватилъ Имзегу...

Прямо на него, съ окровавленнымъ мечомъ, несется знакомый юноша, тотъ самый, который сгорѣлъ въ пещерѣ. Великій духъ не обманываетъ ли его зрѣніе?.. Имзега вздрагиваетъ... Колючій холодъ проникаетъ насквозь, заставляетъ дробью застучать его зубы...

— Уртъ-Игэ!.. Грозный и могучій!.. Менги и Танге!.. Великій Сорнэ-Туромъ!.. Смерть и гибель несутъ они Имзегѣ...

Онъ хочетъ поднять копье и не можетъ... Страхъ и ужасъ сковываютъ его душу... Самъ шайтанъ шлетъ на него гибель, на Имзегу, шайтанъ, принявшій образъ спаленнаго имъ на кострѣ плѣнника... Послѣдній несется прямо на него со своимъ конемъ... Изъ нѣдра самаго Хала-Турма, казалось, несется... Ни защищаться, ни крикнуть, ни произнести заклятія не можетъ Имзега... Не можетъ и не успѣваетъ... Князь Алексѣй молніей налетаетъ на него, поднимаетъ чеканъ, и молодой шаманъ съ крикомъ: «Уртъ-Игэ!.. Смилуйся надъ нами!..» — замертво валится подъ ноги его коня...

Этотъ крикъ услышала Алызга, отброшенная отъ брата въ пылу боя... Быстрая, какъ коршунъ, бросилась она къ нему, и дикій, нечеловѣческій вопль огласилъ поле битвы... Она увидѣла мертваго брата, увидѣла скакавшаго далѣе и разившаго своимъ чеканомъ враговъ Алексѣя—и поняла все.

— Горе мнѣ!.. Горе!.. — дикимъ воплемъ взвыла Алызга, и, царапая себѣ тѣло въ кровь, вырывая волосы изъ головы съ корнями, какъ безумная, помчалась обратно

Князь Алексѣй молніей налетаетъ на Имзегу...

на гору, гдѣ горѣли костры и гдѣ ждалъ вѣстей потрясенный, взволнованный гибелью столькихъ воиновъ, Кучумъ.

. . . . . .

— Маметъ-Кулъ раненъ... Наши бѣгутъ... Спасайся, повелитель!.. — пронзительнымъ воемъ повисло, какъ вопль стенанія и горя, надъ Чувашьей горой.

Окровавленный и въ изодранной въ клочья одеждѣ стоялъ передъ ханомъ гонецъ.

Кучумъ затрепеталъ всѣмъ тѣломъ. Смертельная блѣдность покрыла его старческія ланиты. Губы дрогнули и раскрылись.

— Инисъ-Алла... — прозвенѣлъ, какъ надорванная струна домбры, его разомъ упавшій голосъ. — Инисъ-Алла, за что караешь меня?..

И крупныя слезы, одна за другою, потекли изъ слѣпыхъ глазъ хана.

А внизу, подъ горой, происходило что-то невообразимое. Татары и дикая югра безпорядочно бѣжали мимо засѣки къ Искеру. Русскіе преслѣдовали по пятамъ, кроша, какъ мѣсиво, бѣгущихъ. Опереживая всѣхъ, группа всадниковъ мчала безжизненное тѣло Маметъ-Кула къ столицѣ.

— Отецъ, спасайся!.. Спасай всѣхъ женъ и дѣтей!.. Кяфыры ворвутся сюда... Не медли, повелитель!..

И оба царевича, Абдулъ-Хаиръ и Алей, взявъ подъ руки слѣпого хана, пытались посадить его на лошадь.

Но Кучумъ медленно отвелъ ихъ руки и, качая головою, произнесъ:

— Искеромъ я правилъ — въ Искерѣ и умру... Оставьте меня, дѣти... Одни спасайтесь... О, Бекбулатъ, и ты, Едигеръ, вы, убитые мною, не тщетно взывали вы о мщеньи Аллу!..—заключилъ онъ и, бросившись на землю, сталъ биться головою объ утесъ.

Въ ужасѣ и трепетѣ стояла свита. Минуты были

дороги. Медлить не приходилось. Русскіе каждую секунду могли нагрянуть сюда, и тогда гибель ждала всѣхъ безъ исключенія... Окружающіе Кучума знали это, но молчали, не смѣя нарушить взрыва отчаянія своего повелителя. И вотъ приблизилась къ обезумѣвшему отцу красавица Ханджаръ.

— Любимый...—произнесли съ трепетомъ ея побѣлѣвшія губы, — бѣжимъ отсюда... Искеръ возьмутъ... Пусть возьмутъ всѣ наши сокровища и богатства, но твоя слава останется тебѣ, повелитель... Ханъ Кучумъ останется ханомъ... Въ вольныхъ степяхъ Ишима мы разобьемъ новыя юрты и кликнемъ кличъ всѣмъ народамъ сибирскимъ, всѣмъ племенамъ. Они стекутся къ тебѣ, отецъ, и тогда, тогда, клянусь, гибель кяфыровъ упоитъ насъ сладкимъ мщеніемъ. И ты вернешься въ Искеръ могучимъ ханомъ, отецъ... Ты вернешься!...

Чѣмъ-то властнымъ, увѣреннымъ и смѣлымъ звучалъ голосъ царевны. Что-то пророческое чудилось въ немъ. Старый Кучумъ поднялъ голову. Его слѣпые глаза разомъ высохли. Лицо прояснилось.

— Ханджаръ, сокровище души моей... Твои уста мнѣ шлютъ утѣшеніе и сладость... Нѣтъ... Не погибъ старый ханъ... живъ Кучумъ... и о немъ вы услышите не разъ, проклятые кяфыры...—заключилъ онъ, грозно потрясая руками надъ сѣдой головой. — Въ путь, дѣти и друзья! И да хранитъ насъ Алла отъ всего дурного!

И, прижавъ къ сердцу любимицу-дочь, онъ сталъ быстро и бодро спускаться съ горы.

Жены, дѣти и свита послѣдовали за нимъ. Чувашья гора опустѣла. Костры догорали на ней. Снизу, съ долины, доносились крики побѣдителей и вопли побѣжденныхъ. Надъ костромъ, точно каменная статуя, темнѣла одинокая фигура. Въ блѣдномъ лицѣ не было ни кровинки. Какъ у мертвой, изсиня-желто было оно.

Только глаза горѣли, какъ уголья, и сыпали пламя. Это была Алызга.

— Великій Уртъ-Игэ,—глухимъ, мертвящимъ душу голосомъ роняла она,—я прогнѣвила тебя, великій духъ Ендырскаго потока... Обреченной жертвѣ твоей дала свободу и жизнь. Зато ты покаралъ меня, великій, отнялъ брата, отнялъ счастье и покой, а Ханджаръ, любимую мою госпожу, сдѣлалъ нищей-бѣглянкой... Великъ гнѣвъ твой, могучій... Но я попытаюсь умилостивить тебя, всесильный духъ. За одну непринесенную жертву я погублю во славу твою десятки, сотни кяфыровъ... И если... если мнѣ не удастся это, клянусь, за жизнь плѣнника отдамъ тебѣ свою жизнь, великій, грозный Уртъ-Игэ!

И, сказавъ это, она упала навзничь и долго лежала распростертая у самаго костра. Потомъ вскочила на ноги и кинулась догонять уже затерявшихся въ наступившихъ сумеркахъ бѣглецовъ Искера.

. . . . . .

Со славой кончилась для казаковъ Искерская рѣшительная сѣча. Но не радовала ихъ эта побѣда. Около половины дружины полегло безмолвными трупами на берегу Иртыша.

Оставшіеся въ живыхъ были всѣ почти переранены и утомлены на столько, что не пытались даже преслѣдовать бѣжавшаго врага, а, войдя въ городокъ Атикъ-мурзы, разставили сторожей и легли спать, не думая о томъ, что ожидало ихъ утромъ. Проснувшись съ зарею они съ почестями схоронили своихъ мертвыхъ товарищей, зарывъ ихъ на песчаныхъ откосахъ берега рѣки. Цѣлые три дня рыли безконечныя могилы казаки. На четвертый рѣшили, собравшись съ силами, двинуться къ Искеру.

— Надо думать, засаду устроилъ лукавый Кучумъ,— размышляли они, осторожно приближаясь къ сибирской

столицѣ, каждую минуту ожидая нападенія притаившихся за его валомъ татаръ. Но мертвая тишина царила въ Искерѣ. Удивленные казаки вошли въ городъ. Онъ былъ пустъ. Дома, сложенные изъ дерева, нежженаго кирпича и глины, были покинуты обитателями. Покинуты были и царскія сокровища Кучума, золото, серебро и дорогіе мѣха.

Обрадованные казаки съ жадностью накинулись на добычу. Она явилась хоть отчасти наградой за понесенные труды.

Но вскорѣ пріуныла храбрая дружина. И золота, и серебра, и мѣховъ, всего вдоволь, а самаго необходимаго—хлѣба—не осталось въ покинутомъ городкѣ. Голодъ и смерть грозили побѣдителямъ. Въ сосѣдніе урманы нельзя было и думать идти за дичью на охоту—они кишѣли воинами Кучума.

Грусть и уныніе воцарились въ Искерѣ. И самое взятіе сердца Сибирскаго ханства, столицы Кучума, не радовало теперь, казалось, казаковъ. Не радовало и самого Ермака. Все сумрачнѣе и озабоченнѣе становилось лицо атамана. Положеніе, въ которомъ очутилась послѣ столь тяжелыхъ трудовъ, послѣ столькихъ потерь его любимая дружина, безпокоило храбраго вождя. Что предпринять теперь казакамъ, какъ спасти уцѣлѣвшихъ въ бояхъ храбрецовъ? Уже четыре дня провели они голодные въ Искерѣ. Послѣдніе съѣстные запасы пришли къ концу. Орлиныя очи атамана невольно устремлялись въ синюю даль степи, за стѣну городка, какъ будто тамъ искали разрѣшенія мучившей его заботы.

И дѣйствительно, въ самую тяжелую минуту помощь пришла оттуда совершенно неожиданно.

Однажды, стоявшіе на сторожевыхъ постахъ голодные, полусонные часовые замѣтили вдали большую толпу дикарей. Не то вогуличи, не то остяки приближались къ Искеру. Дали сигналъ, поднялась тревога.

Первою мыслью казаковъ было схватиться за оружіе и достойно встрѣтить незванныхъ гостей. Но вдругъ, къ ихъ удивленію, отъ толпы отдѣлилось нѣсколько человѣкъ и выступило впередъ. Дѣлая какіе-то знаки, размахивая руками и крича что-то непонятное на своемъ гортанномъ языкѣ, они направились къ городку. По ихъ знакамъ и жестамъ видно было, что у нихъ были мирныя намѣренія. Вотъ они быстро повернули къ городскимъ воротамъ, продолжая дѣлать свои непонятные знаки. Теперь уже хорошо можно было разсмотрѣть остяцкія скуластыя лица, косо-поставленные глаза, смуглую, загорѣлую, желтую кожу. Когда остяки приблизились къ ожидавшей ихъ толпѣ казаковъ, Ермакъ выслалъ къ нимъ навстрѣчу толмача-татарина.

— Передай бачкѣ-атаману, — обратились они къ толмачу,—что мы пришли отъ остяцкаго князя, который прислалъ богатый ясакъ въ видѣ съѣстныхъ припасовъ въ даръ русскимъ и кромѣ того хлѣбъ и дичь всякую, и все, что вамъ нужно и желаетъ жить съ русскими дружно.

Толмачъ все это тотчасъ же передалъ Ермаку.

Тогда атаманъ, окруженный горстью своихъ, самъ вышелъ къ остякамъ.

Послы низко-низко, до самой земли поклонились ему, сложивъ на груди свои руки.

— Ты прогналъ Кучума, нашего бывшаго хана, господинъ, и стало быть станешь новымъ ханомъ нынѣ въ этой землѣ, — говорилъ черезъ переводчика вождь отряда, — и мы отнынѣ тебѣ ясакъ платить будемъ, не обижай только насъ, мирныхъ югорскихъ людей.

Ермакъ принялъ дары, явившіеся какъ нельзя кстати, обласкалъ неожиданныхъ гостей и отпустилъ ихъ съ миромъ обратно въ ихъ кибитки, обѣщая имъ свою защиту и помощь во всякое время отъ враговъ.

Вскорѣ стали стекаться къ Искеру и другіе мелкіе кочевые и осѣдлые народцы, несли ясакъ и отдавались въ подданные «бѣлому салтану» [1].

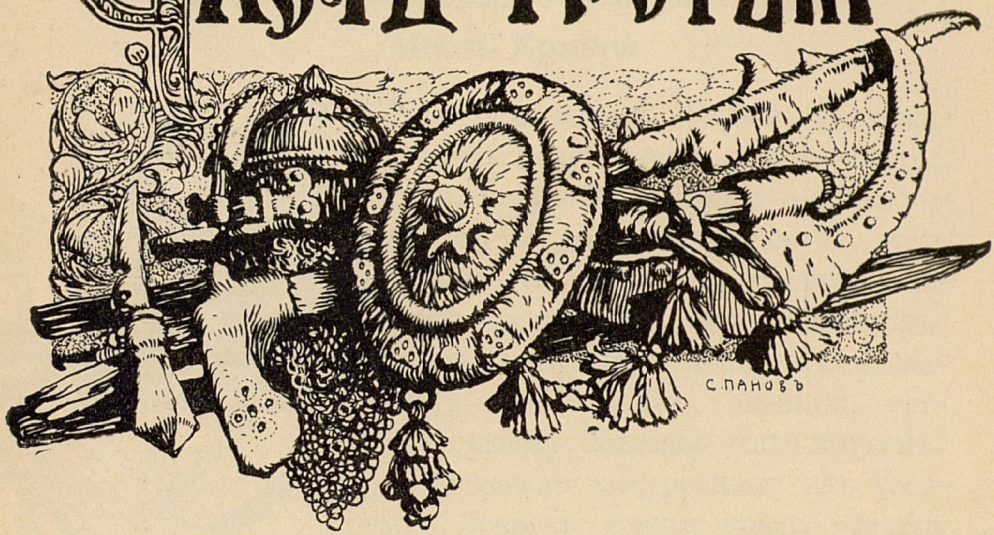
Ермакъ принималъ ихъ милостиво и отпускалъ на свободу, обѣщая имъ свою защиту.

Вскорѣ вокругъ Искера выстроились новыя юрты мирныхъ бурятъ и остяковъ. Искеръ дѣлался все люднѣе и населеннѣе. И слава великодушнаго и милостиваго батыря Ермака все росла и увеличивалась съ каждымъ днемъ, разлетаясь далеко по окрестнымъ улусамъ и селеньямъ...

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

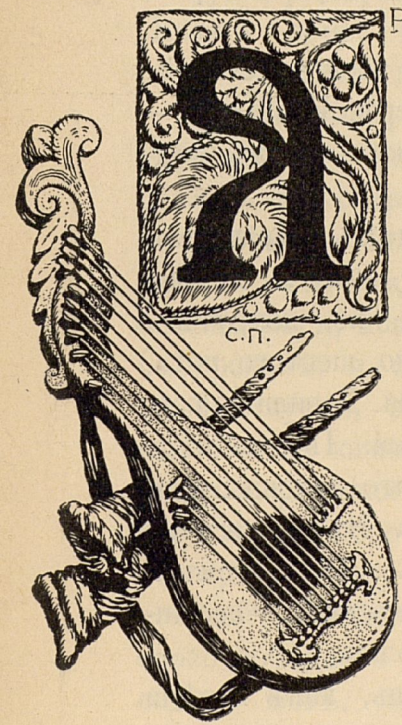
[1] Русскому государю.

Часть третья



ГЛАВА I.

Въ русскомъ Искерѣ.—Абалацкія жертвы.—Месть Ермака.



ЯРКІЙ зимній денекъ. Бѣлый дѣдушка-морозецъ разукрасилъ инеемъ кедры, пихты, кусты боярышника и саваномъ накрылъ окрестную широкую, какъ приволье, бѣлую степь, накинулъ ледяныя путы на бойкій, гремучій Иртышъ. И замолкъ Иртышъ, и пересталъ сказывать свою смѣлую, звонкую, гремучую сказку. Холодно стало кругомъ.

Чистенько выстроенные изъ тесовыхъ бревенъ домики новаго, теперь русскаго, Искера выглядѣли празднично и нарядно, умытые снѣгомъ, принаряженные въ его лебяжій уборъ. Солнышко колючее, не грѣющее, но яркое, какъ взоръ искрометный далекаго заоблачнаго богатыря, будто въ сговорѣ съ дѣдомъ-Морозомъ, и не думало пригрѣвать людей. Стужа все крѣпчала и крѣпчала.

Миріады солнечныхъ искръ играли на бѣлыхъ сугробахъ. Алмазами, рубинами, топазами и изумрудами отливали онѣ. Словно богатая невѣста, убранная въ залитый самоцвѣтными каменьями лѣтникъ, выглядѣла степь. И дремучія окрестныя тайги принарядились тоже: серебрянымъ инеемъ, жемчужною пылью украсилъ ихъ затѣйникъ-морозъ.

На тесовый рундукъ одного изъ новыхъ, чистенькихъ и нарядно выглядѣвшихъ избъ вышли Ермакъ и Кольцо. Въ теплыхъ медвѣжьихъ шубахъ, въ трехгранныхъ остяцкихъ шапкахъ съ наушниками и въ мѣховыхъ валенкахъ они не чувствовали стужи, точно караулившій ихъ появленіе на улицу дѣдко-Морозъ только шутя наскочилъ, налетѣлъ на нихъ, ущипнулъ за щеки, за носъ, запушилъ бороды своей бѣлой пудрой, кинулъ, играя, алый румянецъ въ лицо.

— Ишь, денекъ-то выдался, что твой хрусталь!.. Не померзли бы наши молодцы на озерѣ, Иванычъ, — опасливо произнесъ Ермакъ, теплѣе кутаясь въ медвѣжью шубу.

— Ништо... Прорубь вырублена еще съ намеднясь... Стало долго имъ не проканителиться тамъ... Тольки сѣти закинуть, Тимофеичъ... Небось, не помрутъ... Полушубки на нихъ да валены—инъ до шестого пота, гляди, прошибетъ. А безъ рыбки нельзя. Давишняя вся, инъ, вышла. Не мясомъ же кормиться. Постъ вѣдь нонѣ у насъ. До стрѣляной дичины, што литовцы приволокли, не дотронутся ребята наши... Нѣтъ, ужъ ты имъ не перечь, пущай рыбки наловятъ... О другомъ я рѣчь поведу, атаманъ. Дозволь слово молвить,—неожиданно перебилъ самого себя есаулъ Кольцо.

— Говори, Иванычъ, самъ вѣдаешь, какъ я рѣчи твои цѣню. Умъ хорошо—два лучше.

— Не скажу, а спрошу тебя, Василь Тимофеичъ, когда же ладишь посольство къ царю послать? Два мѣ-

сяца, инъ, скоро какъ Искеръ мы взяли, отстроились, вишь, маленько, новыхъ данниковъ подъ ясакъ привели, а ты, гляди, еще о томъ московскій народъ не увѣдомилъ и пословъ къ государю не заслалъ... Гляди, худо бы отъ того не было, атаманъ... Не помыслили бы православные, что не для нихъ, а про себя юртъ сибирскій покорилъ славный Ермакъ, — тревожно глядя въ лицо атамана заключилъ свою рѣчь Кольцо.

Задумался Ермакъ. Потупилъ очи въ землю. Умную рѣчь молвилъ сѣдой есаулъ. И впрямь слѣдуетъ послать посольство. Вѣдь для того и шелъ онъ сюда съ горстью удальцовъ, для того и усѣялъ трупами поганыхъ сибирскія степи, для того и пожертвовалъ многими жизнями своихъ друзей, чтобы сослужить службу народу русскому, царю православному. И вотъ сослужена служба. Добыта Сибирь. Отчего же нынѣ сомнѣнія и опаска берутъ эту смѣлую душу, эту безшабашную, удалую голову?

— Слушай, Иванычъ, другъ мой вѣрный, што я тебѣ молвлю, — произнесъ Ермакъ. — Истинную правду сказалъ ты: снарядить посольство надоть, какъ вскроются рѣки... Да кого послать съ посольствомъ?.. Кто знаетъ, кто вѣдаетъ мысли царя Ивана?.. Даръ-то онъ приметъ, когда ударятъ послы челомъ царствомъ Сибирскимъ, а самихъ-то пословъ, чего добраго, въ цѣпи закуетъ, въ темницу броситъ, а тамъ лютымъ пыткамъ да казни всенародной предастъ... Небось, помнитъ царь дѣла наши прежнія... Нешто могу я удальцовъ моихъ обречь на гибель такую?.. Самъ пойду — не вернусь, кому поручу дружину свою, Искеръ покоренный?.. Знобитъ мое сердце, какъ подумаю, что дѣла свово побѣднаго самъ не доведу до конца... А то бы, видитъ Богъ, самолично пошелъ бы на Москву бить царю челомъ царствомъ Сибирскимъ.

Горячо и пылко звучала рѣчь Ермака. Искренностью, правдой вѣяло отъ нея.

Съ юношескою живостью перебилъ Кольцо:

— Правда твоя; не гоже тебѣ идти на плаху. Меня пошли. Все я пережилъ, все испыталъ въ жизни моей. Мнѣ-ль ее жалѣть на склонѣ лѣтъ, на шестомъ десяткѣ. Отпусти меня, Тимофеичъ, къ Московскому царю, нашему ворогу давнишнему, и либо съ почестями, со славой вернусь къ тебѣ въ Искеръ, либо сложу на плахѣ буйную, старую голову, — вѣско, сильно закончилъ свою рѣчь есаулъ.

Обнялъ товарища Ермакъ, обнялъ горячо и крѣпко.

— Спасибо, Ваня! Вѣкъ не забуду услуги твоей! — произнесъ онъ растроганнымъ голосомъ. — Повѣдай на кругу ужо твое рѣшеніе... Дай кличъ, кому изъ Строгановскихъ охочихъ людей, што пришли съ нами — имъ царя не бояться, въ разбояхъ былыхъ не повинны они, — съ тобой идти охота, и съ Богомъ по половодью къ царю поѣзжайте... А теперь, друже, обойдемъ володѣнья наши, доглядимъ остяцкія юрты, што присосѣдились къ намъ, поглядимъ, какъ живутъ новые данники у насъ подъ бокомъ, — весело и бодро прибавилъ Ермакъ.

Но не пришлось на этотъ разъ сдѣлать обходъ своимъ новымъ данникамъ атаману. Глухой шумъ, несшійся изъ-за высокой стѣны, крѣпкой бревенчатой оградой окружавшей русскій Искеръ, заставилъ вздрогнуть его и Кольцо и чутко насторожиться. Шумъ росъ съ каждой минутой, росъ и приближался.

— Лихо приключилось, батька-атаманъ! — услышалъ Ермакъ отдѣльные возгласы за стѣною, и вскорѣ большая толпа очутилась передъ рундукомъ, на которомъ находились оба начальника и вождя.

Тутъ были мирные данники-остяки и свои казаки. Все это шумѣло, волновалось и кричало внѣ себя. Ободранный, израненный, безъ шапки человѣкъ протискался впередъ и, рыдая, упалъ у ногъ атамана. Сердце захоло-

нуло въ груди Ермака. Мрачное предчувствіе огромной огненной зловѣщей птицей впорхнуло въ душу и опалило ее...

— Што!?. Што еще!?.—срывающимся голосомъ ронялъ онъ беззвучно.

— Наши... атаманъ... робята-то... што на Абалакъ [1] пошли, по рыбу... сѣти закинули, а сами недалечко у костровъ спать полегли... А татары-то... проклятые... подобрались, нагрянули... и всѣхъ до единаго, окромя меня, во снѣ перерѣзали, атаманъ...

Едва успѣлъ закончить свою рѣчь чуть живой отъ ранъ и волненія казакъ, какъ темнѣе ночи стало лицо Ермака. Грознымъ пламенемъ вспыхнули черные глаза и бѣшено крикнулъ онъ на всю площадь:

— Коней сѣдлать!.. Да живо!.. Охотниковъ сюда!.. На конь, ребята!.. Нагонимъ убійцъ проклятыхъ и отомстимъ за гибель товарищей!.. Гайда!.. За мной!..

И, сбросивъ тяжелую шубу на руки Кольцо, онъ выхватилъ огромный бердышъ у близъ стоявшаго казака, птицей вскочилъ въ сѣдло, и первый ринулся изъ воротъ Искера, точно не чуя зимней стужи

Уже около лѣса нагналъ отрядъ своего атамана. Весь день блуждали по тайгѣ казаки вокругъ Абалацкаго озера. Къ вечеру настигли татаръ. Настигли и перерѣзали всѣхъ до единаго, сѣя смерть и мщеніе вокругъ себя. И только когда послѣдній татаринъ упалъ подъ казацкой саблей, обливаясь кровью, только тогда опустилъ свой окровавленный бердышъ Ермакъ и хмурый, какъ грозовая туча, велѣлъ своему отряду скакать на Абалакъ. Тамъ, на берегу озера казаки нашли двадцать обезглавленныхъ труповъ товарищей. Вырыли братскую могилу и схоронили въ ней мертвыя тѣла. И еще разъ поклялся Ермакъ надъ свѣжей могилой сво-

[1] Абалацкое озеро, по-татарски Абалакъ-Бюрень, подъ высокимъ берегомъ Иртыша и соединяющееся съ нимъ.

ихъ сотоварищей-друзей сложить имъ памятникъ изъ груды тѣлъ татарскихъ.

Печальные, понурые вернулись къ ночи казаки-мстители въ Искеръ.

ГЛАВА II.

Послѣдняя надежда. — Свадебный обычай. — Жертва Алызги.—Походъ.

ЗАЦВѢЛА опять вольная и широкая Ишимская степь. Разлились сибирскія рѣки. Вскрылся голубой Иртышъ, быстрый Тоболъ и зеленовато-мутный Вогай въ окрестностяхъ Искера. Пробудилась сонная тайга; веселымъ гомономъ птицъ наполнилась она послѣ долгаго мертваго зимняго сна. Невысокіе холмы зазеленѣли. Сочной травой засверкали темные овраги. Наступила весна.

Волнистыя поверхности изумрудныхъ пригорковъ весело побѣжали къ сѣверу, туда, въ объятія стараго Урала, обновленнаго, помолодѣвшаго въ этотъ ранній праздникъ весны. Березовыя рощицы да молодые лѣски сверкали здѣсь и тамъ красивыми оазисами, вмѣстѣ съ безчисленными озерками несказанно края Ишимскую степь. Высокой

травой поросла она, сочной и волнистой. Запестрѣли въ зелени ея желтые, алые и бѣлые цвѣты. Тутъ была и богородичная травка, и богоульникъ, и кашка, и кукушкины слезки, и точно изъ воску слѣпленные нѣжные сквозные бѣлые цвѣты брусники. Копчики, галки, малиновки и мухоловки оживляли веселыми голосами, криками, свистомъ и пѣніемъ Ишимскую степь. А подъ самыми облаками, бѣлыми и перистыми, какъ гигантскія хлопья снѣга, рельефной темной точкой по синему фону сапфироваго купола рѣялъ гордо и плавно вольный степной орелъ.

Тамъ, гдѣ, точно уступая мѣсто другъ другу, далеко одна отъ другой росли стройныя, молодыя березы, билъ хрустальный родникъ, образуя небольшое озерко. На берегу озерка паслись стреноженные кони. Дальше, подъ открытымъ небомъ, въ степи, полускрытые высокой травой пріютились тирмэ [1] кайсаковъ. Наскоро сложенныя юрты привѣтствовали весенній день синеватымъ дымкомъ шора, вьющимся къ небу сквозь ченаракъ.

У дверей одной изъ юртъ сидѣлъ на разостланныхъ кошмахъ, поджавъ подъ себя ноги, Кучумъ. Подлѣ него турсукъ кумыса. Но слѣпой ханъ и не притронулся къ любимому, освѣжительному питью. Лицо его хмуро и печально. Передъ нимъ, опираясь на стволъ молодой березки, съ перевязанной головой стоялъ Маметъ-Кулъ. Богатырь-царевичъ еще не оправился отъ раны, которая могла бы стоить ему жизни, если бы не искусство лечившихъ его знахарей-баксъ. Онъ долго боролся между жизнью и смертью и только пятый день на ногахъ. Лицо его хмуро и угрюмо, какъ никогда. Печальныя новости узналъ онъ сегодня и пришелъ повѣдать ихъ хану.

---

[1] Киргизскія кибитки.

— Твой ближній Карача измѣнилъ тебѣ, пресвѣтлый повелитель: онъ предался кяфырамъ,—глухимъ голосомъ произнесъ Маметъ-Кулъ, невольно прижимая руку къ обмотанной тряпицей ранѣ.

Какъ раненый звѣрь вскочилъ со своего ковра Кучумъ. Слѣпые глаза его вспыхнули гнѣвомъ.

— Карача измѣнилъ!.. Карача, говоришь!.. Собака!.. Дай только добыть измѣнника!.. Кожу велю содрать съ живого, изжарить заживо прикажу на угольяхъ костра!.. Языкъ и очи вырву у предателя!.. —кричалъ онъ, весь дрожа отъ гнѣва.

— И еще горе, повелитель: Сейдакъ, твой врагъ давнишній, сынъ убитаго тобой Бекбулата, по степи бродитъ, ищетъ найти тебя и погубить, — снова роняетъ Маметъ-Кулъ.

— Сейдакъ?!.

Теперь уже не гнѣвъ, не бѣшенство, а страхъ, животный ужасъ отразился на лицѣ Кучума.

— Сейдакъ!?. Сейдакъ идетъ мстить за гибель отца!?.—словно топоромъ ударяло въ головѣ хана.

Юноша Сейдакъ, этотъ безстрашный, молодой, отчаянный по храбрости львенокъ, сумѣлъ найти время когда отплатить старику за гибель отца и дяди!..

И бѣлымъ, какъ мѣлъ, стало обычно желтое, обвѣтренное лицо хана. Снова давнишнее кровавое видѣніе выплыло изъ дали и встало мучительнымъ призракомъ передъ мысленнымъ взоромъ слѣпого старика.

Много лѣтъ тому назадъ то было, когда онъ, Кучумъ, изъ Тибетскихъ степей набѣжалъ на Искеръ со своею ратью. Въ морѣ крови онъ потопилъ столицу, разгромилъ сокровища хана Едигера и его брата Бекбулата, а обоихъ связанныхъ властителей Искера велѣлъ привести къ себѣ. Напрасно валялась у ногъ его супруга Бекбулата съ маленькимъ сыномъ, первенцомъ Сейдакомъ, вымаливая жизнь своему мужу и шурину.

Онъ, Кучумъ, оттолкнулъ красавицу-ханшу и обезглавилъ обоихъ хановъ на глазахъ матери и ребенка.

И вотъ онъ выросъ, этотъ ребенокъ, сынъ Бекбулата и, взывая о мщеніи, идетъ на него.

Въ отчаяніи схватился за голову старый Кучумъ.

— О, Маметъ-Кулъ!.. — дикимъ голосомъ взвылъ онъ,—горе намъ, горе намъ!

Но это былъ мгновенный упадокъ духа и силъ. Въ слѣдующую минуту ханъ уже былъ неузнаваемъ. Станъ выпрямился. Лицо прояснилось.

— О, Маметъ-Кулъ, мои слѣпые глаза мертвы и рука моя не годна для боя... Но, милостью Аллаха, ты, храбрый воинъ, остался у меня... Добудь мнѣ вѣнецъ Сибири и, клянусь сѣдою бородою пророка, клянусь именемъ Аллы и Магомета, Его пророка, я верну тебѣ руку Ханджаръ... Искеръ будетъ ея приданымъ... Ты будешь защитникомъ царевны и меня, ея слѣпого отца, и ни Сейдакъ, ни батырь кяфырскій не страшны тогда станутъ старому Кучуму...

Маметъ-Кулъ внимательно взглянулъ въ лицо стараго хана. Румянецъ возбужденія игралъ на немъ. Раненый царевичъ встрепенулся.

— Слушай, ханъ, — произнесъ онъ громко, — Алла разгнѣвался на насъ съ тобою, пославъ намъ пораженіе подъ Искеромъ. Я не осилилъ кяфыровъ, и за это ты во гнѣвѣ взялъ назадъ свое обѣщаніе отдать мнѣ Ханджаръ. Верни мнѣ свое слово, повелитель, и, клянусь гробомъ Магомета, Искеръ будетъ твой...

— Она твоя, царевичъ. Сегодняшній же вечеръ велю я созвать женщинъ на вашъ обручальный обрядъ, — торжественно и вѣско произнесъ Кучумъ, снова медленно опускаясь на свои кошмы.

Съ легкимъ крикомъ упалъ на колѣни Маметъ-Кулъ и приникъ устами къ его одеждѣ.

. . . . . .

Заунывно и скорбно поетъ домбра... Ей вторитъ сабызга [1] пѣвучимъ звукомъ. Бакса-пѣвецъ прославляетъ подъ эти звуки подвиги всѣхъ знаменитыхъ героевъ Тибета и Монголіи. Гости хана пьютъ кумысъ, ѣдятъ жареные на курдючномъ салѣ баурсаки [2], да баранину, чуть опаленную на огнѣ. Все это заѣдается куртомъ, любимымъ и неизбѣжнымъ кушаньемъ киргизовъ. Сабы съ кумысомъ поминутно наполняются прислуживающими джясырями и опустошаются снова. Ѣдятъ, пьютъ и слушаютъ баксу. Его голосъ дребезжитъ, то возвышаясь до визга, то понижаясь до глухой хрипоты. Не голосъ важенъ, важно содержаніе пѣсни. О храбрыхъ витязяхъ кайсацкихъ, о громкихъ подвигахъ ихъ поетъ пѣвецъ.

Угрюмо задумался старый ханъ, важно возсѣдая на бухарскихъ подушкахъ, положенныхъ сверху обычныхъ кошмъ и ковровъ.

Задумался и Маметъ-Кулъ, счастливый женихъ красавицы-царевны... Онъ внесъ богатый калымъ Кучуму изъ 1.000 головъ верблюдовъ и рогатаго скота. Но это еще не все. Самый Искеръ принесетъ онъ обездоленному хану... Теперь Ханджаръ его. Возьметъ Искеръ и отпразднуетъ свадьбу... Вотъ она—его невѣста, красавица его. Она сидитъ, облитая пылающимъ отблескомъ огня, въ своемъ пышномъ саукеле [3], поджавъ подъ себя маленькія ножки. При каждомъ движеніи царевны звенятъ раковины и ожерелья на ея точеной смуглой шейкѣ. Подъ накинутой легкой, прозрачной тканью сверкаютъ ея черные горючіе глаза.

Печальна Ханджаръ. Свершилась воля Аллаха. Бакса предсказалъ взятіе Искера ея отцу, и старый ханъ вторично отдаетъ ея руку Маметъ-Кулу. Она покорилась. Ради пользы и счастья своего народа она будетъ женой того, кто вернетъ ея отцу тронъ и вѣнецъ Искера.

---

[1] Флейта. — [2] Лепешки. — [3] Свадебный нарядъ.

Завтра походъ. На Вогай отсюда идетъ Маметъ-Кулъ, оттуда къ Искеру прямо.

Замолкъ пѣвецъ. На смѣну ему выступаютъ другіе. Это дѣвушки и батыри Ишима славятъ красоту царевны Ханджаръ, славятъ богатства и мужество ея будущаго супруга. Попарно выходятъ они на середину юрты и превосходятъ другъ друга въ пѣвучихъ пѣсняхъ въ честь Маметъ-Кула и ея, Ханджаръ.

Вдругъ царевна вздрагиваетъ подъ своимъ дѣвичьимъ уке. На нее направлены черные, пылающіе глаза Маметъ-Кула. Отъ раны-рубца, перерѣзавшаго лобъ, онъ кажется еще безобразнѣе, еще страшнѣе... Какъ птичка трепещетъ Ханджаръ. Душа ея ноетъ. О, если бы на мѣстѣ его, Маметъ-Кула, былъ бы тотъ синеокій русскій батырь, не болѣла бы, не ныла ея душа!... Вотъ онъ снова, какъ во снѣ, стоитъ передъ ней, такой юный, стройный, пригожій. О, ему отдала бы съ радостью свое сердце и любовь царевна Ханджаръ...

— Алызга,—лепечетъ она, изнемогая отъ тоски,— гдѣ ты, Алызга?.. Тяжело мнѣ, бійкемъ, вѣрная моя...

Но нѣтъ Алызги въ пировальной юртѣ, гдѣ поютъ свадебныя пѣсни и гдѣ въ высокихъ сабахъ и курдюкахъ пѣнится бѣлый кумысъ. Любимая подруга и наперстница царевны сидитъ въ это время въ самой дальней кибиткѣ на концѣ стана. Передъ ней безобразная страшная кэмпырь[1]-шаманка съ совиными перьями на плечѣ, съ ожерельемъ изъ мертвыхъ змѣиныхъ головъ, въ разношерстной, пестрой курткѣ, какъ у мужчины. Она стоитъ на корточкахъ съ горящими угольями въ жаровнѣ, старая бабка-шаманка, и бормочетъ что-то.

— Ты твердо рѣшила, бійкемъ, послужить своимъ благополучіемъ хану?—спрашиваетъ глухимъ голосомъ старуха.

---

[1] Старуха.

— Такъ, бабушка... Алызга хочетъ этого... Алызгѣ нѣтъ больше радости на землѣ. Убили, убили Имзегу... Ханджаръ, царевну-радость, немилому отдаютъ... Проклятіе русскимъ!.. Алызга должна отомстить за мертвыхъ мужа и брата, за свою Ханджаръ... Алызга пойдетъ въ Искеръ, прикинется покорнымъ куломъ... Никто не догадается... Сдѣлай только такъ, бабушка, штобы не узнали Алызгу они, а тамъ...—глаза остячки вспыхнули и загорѣлись безумнымъ огнемъ, — предастъ весь Искеръ Алызга, и Кучумъ уничтожитъ всѣхъ кяфыровъ во славу Уртъ-Игэ... —заключила она.

— Но ты молода еще, бійкемъ, ты полюбить еще можешь... А ежели исполнить желаніе твое, ни одинъ батырь и не взглянетъ на тебя... Слыхала меня, бійкемъ?..

— Слыхала, слыхала, бабушка... И все же рѣшаюсь, кэмпырь, только—сдѣлай такъ, штобъ никто-никто не призналъ Алызгу... Многіе изъ кяфыровъ видали меня полонянкой, многіе въ сѣчи видали меня... Такъ надо, штобы не признали они Алызгу... Не жалѣй, кэмпырь, приступай къ работѣ... Домбру покойнаго брата отдаю я за это тебѣ.

Старуха только угрюмо мотнула головою. Потомъ кратко приказала:

— Ложись...

Алызга повиновалась. Что-то холодное легло ей на глаза, и она перестала видѣть на минуту. Потомъ кэмпырь, дуя себѣ на пальцы, схватила нѣсколько угольковъ изъ жаровни и стала водить ими по широкому скуластому лицу лежавшей передъ ней остячки, опаляя и почти подпекая его.

Невыносимая боль заставила застонать Алызгу. Она стиснула зубы и заскрипѣла ими, а старуха все водила по лицу ея до тѣхъ поръ, пока оно не превратилось въ одну обнаженную, опаленную рану. Когда запахъ жаренаго

мяса и дыма наполнили кибитку, кэмпырь отшвырнула уголья назадъ въ жаровню и, помѣшавъ палкой въ стоявшемъ тутъ же котелкѣ, опрокинула его на лицо Алызги. И вскорѣ раны затянулись, залѣпились синеватыми жилками и шрамами. Какое-то цвѣтистое мѣсиво покрыло ихъ. Потомъ сорвала повязку съ очей Алызги старуха и сунула ей въ руки какую-то тусклую желѣзную пластинку, игравшую роль зеркала.

Алызга взглянула въ нее и съ крикомъ ужаса выронила дощечку. Ея лицо стало неузнаваемо и ужасно. Язвы и рубцы бороздили его. Безобразной, страшной и отталкивающе-гадкой показалась самой себѣ Алызга. И въ ужасѣ она закрыла лицо руками...

. . . . . .

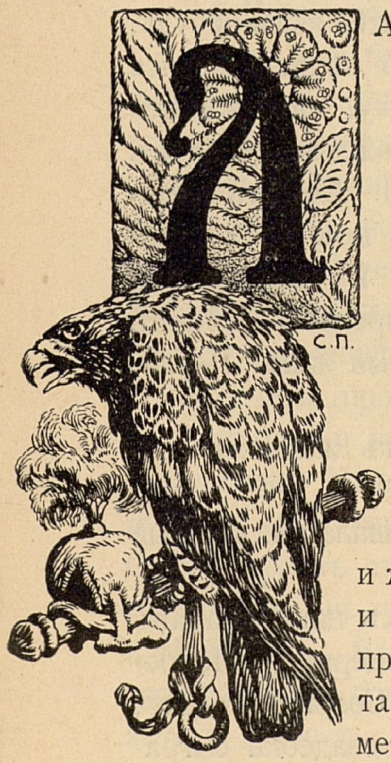
Въ ту ночь луна особенно нѣжно сіяла надъ юртою Кучума. Разметавшись на кошмахъ спала Ханджаръ. Ей снились сладкіе сны. Ей снился снова синеокій батырь-красавецъ. Онъ наклонялся къ ней, шепталъ ласковыя рѣчи, отъ которыхъ сладко замирало сердце красавицы-царевны. И не чувствовала въ тѣ минуты Ханджаръ, что не батырь-юноша, русскій, а умышленно обезображенное лицо ея любимой бійкемъ-джясыри склонилось надъ нею въ послѣдній разъ въ эту весеннюю ночь и что не русокудрый витязь, а уродливая Алызга шепчетъ ей съ любовью и тоскою:

— Прощай, радость и счастье жизни моей, золотая звѣзда моихъ мыслей счастливыхъ, мой полуночный мѣсяцъ, царевна моя!.. Прощай, изгнанница Искера... И знай, я верну отцу твоему, хану, его столицу или упьюсь до сыта кровью твоихъ злѣйшихъ вороговъ...

И сказавъ это, чуть коснулась обезображенными губами прелестной ручки царевны и исчезла за кереге юрты.

ГЛАВА III.

Снова въ битву. — Царственный плѣнникъ.— Новый слуга.—Однимъ храбрымъ меньше.



ЛАСКОВЫМЪ шопотомъ тихо шепчетъ дремучая тайга... Нѣжный то шопотъ, весенній... Столѣтніе дубы да кедры, да широкостволыя березы и пихты вспоминаютъ будто что-то таинственное и сладкое... Чудная весенняя дрема-греза сковала тайгу... Жарко печетъ весеннее солнце, а здѣсь, на опушкѣ, прохладно, тѣнисто, хорошо...

Раскинули казаки шалаши изъ вѣтвей молоденькой березы да орѣшника, накрыли ихъ кафтанами да сермягами и сидятъ подъ тѣнью ихъ, — сидятъ и ждутъ среди дубовъ-гигантовъ, кедровъ и березъ. По водополью этой весною пришелъ къ Ермаку мирный данникъ-татаринъ и повѣдалъ ему, что стоитъ Маметъ-Кулъ недалече на Вогаѣ-рѣкѣ, верстъ за сто отъ Искера. Ермакъ собралъ небольшой отрядъ и поспѣшилъ съ нимъ къ означенному мѣсту.

Разбились станомъ на Вогаѣ Ермаковы воины и ждутъ желанныхъ гостей.

Не много казаковъ осталось въ его дружинѣ. Изъ 840 пришедшихъ въ Сибирь только 300 человѣкъ осталось, а впереди много еще дѣла предстоитъ. Великъ ли либо нѣтъ отрядъ Маметъ-Кула—того не знаетъ Ермакъ. Да если-бы и зналъ—поможетъ развѣ этимъ дѣлу? Изъ трехсотъ оставшихся ему не сдѣлать вчетверо большей дружины. А не идти на Маметъ-Кула нельзя. Самъ придетъ подъ Искеръ и осадитъ его, чего добраго, царевичъ. Такъ лучше предупредить его и напасть на неожидающаго этого набѣга татарскаго вождя.

Чудесно скрытъ подъ навѣсомъ тайги отрядъ Ермака. Атаманъ умышленно не велитъ раскладывать костровъ и варить каши. До ночи попостятся какъ-нибудь, лишь бы не привлечь взоровъ медленно подвигающейся отъ Вогая татарской орды. Ему, Ермаку, надо жалѣть людей. Мало ихъ осталось у него. Каждый человѣкъ дорогъ, каждая рука нужна въ Искерѣ. Хотѣлъ посылать къ царю за подмогой, да медлитъ все. Вотъ возьмутъ они Кучума либо Маметъ-Кула и ударятъ ими челомъ царю вмѣстѣ съ царствомъ Сибирскимъ. Но какъ взять-то? Неуловимъ, какъ волна, старый ханъ. Неуловимъ и его приспѣшникъ тоже.

Такъ думаетъ Ермакъ, спасаясь отъ жаркихъ солнечныхъ лучей въ своемъ шалашѣ.

А рядомъ съ нимъ, въ такомъ же шалашѣ, веселый говоръ идетъ.

— Слышь, наряжать посольство къ царю атаманъ ладитъ,—говоритъ радостно Алеша Мещеряку.—Попросимся и мы съ есауломъ. У нашихъ, въ Сольвычегодскѣ, побываемъ на обратномъ пути. Може и свадебки сыграемъ двѣ заодно. Шутка-ль, болѣе году не видывали нашихъ кралей. Небось, и думать онѣ забыли о насъ.

— Зато плаха московская не забыла,—отшучивался Матвѣй.

— Не страшна мнѣ плаха, Матюша. Не вѣрится штой-то, штобы русскій царь за дѣло такое на плаху послалъ,—беззаботно, тряхнувъ плечами, рѣшилъ Алексѣй.

— Вотъ что, братику,—помолчавъ съ минуту снова заговорилъ онъ,—я завтра же отпрашиваться у атамана на Москву съ Иваномъ Ивановичемъ буду. А ты какъ хошь.

— Вѣстимо, и я не отстану. Нешто разлучусь когда съ тобой?—сердечной, теплой нотой прозвучалъ въ отвѣтъ голосъ Мещеряка.

— Инъ, ладно. Гляди, штобы обѣ свадьбы заразъ играть,—засмѣялся юноша-князь, обнимая друга.

— Сыграемъ,—усмѣхнулся Мещерякъ.

Долго они болтали такъ. Ночь подступила. Свѣтлоокая блѣдная сѣверная ночь. Только далѣе, въ тайгѣ, точно темнымъ флеромъ, подернулась природа. Зато степь осталась свѣтлой и нѣжной, какъ днемъ. Мутная зеленая илистая вода Вогая казалась теперь расплавленной ртутью. Серебро рѣки слилось съ серебрянымъ горизонтомъ степи, и былъ дивно красивъ этотъ согласный, сверкающій аккордъ.

Кречеты прокричали въ небѣ. Иволга проплакала въ кустахъ—и все стихло. Помолившись Богу и браня «проклятаго Маметъ-Кулку», заставившаго ихъ лечь съ пустыми желудками спать, завалились казаки на боковую. Стихло все въ станѣ. Только въ шатрѣ, ближайшемъ къ атаману, не спали и тихо перешептывались Алеша и Мещерякъ. Въ сотый разъ повѣрялъ молодой князь своему другу, какъ взяли его въ полонъ татары, какъ хотѣла оковать своими чарами «казацкая» ханша и какъ спасла его бывшая Строгановская полонянка—Алызга.

А ночь все вливалась въ степь серебристо-жемчужнымъ потокомъ, бѣлая, волшебная, нѣжная, сѣверная весенняя ночь.

— Штой-то?.. Слыхалъ аль нѣтъ, друже?..—внезапно, схвативъ за руку Алексѣя, повысилъ голосъ Мещерякъ.

Тотъ насторожился. Дѣйствительно, изъ глубины темной тайги доносились до нихъ странные звуки, не то говоръ, не то согласный хоръ нѣсколькихъ сотенъ голосовъ.

— Татары!..—въ одинъ голосъ вырвалось изъ груди обоихъ друзей. И въ смятеніи они переглянулись.

— Надоть вывѣдать, гдѣ остановились поганые и сколько ихъ...—послѣ минутнаго замѣшательства произнесъ Мещерякъ и, не теряя ни минуты, выползъ изъ шатра, вскочилъ на ноги и быстро ринулся съ опушки въ чащу. Не говоря ни слова Алеша бросился за нимъ.

Голоса между тѣмъ утихли. Ихъ замѣнили одиночные возгласы и ржаніе коней. Очевидно и татары расположились на покой въ глубинѣ чащи. Оба юноши теперь уже не шли, а ползли въ травѣ, безшумно углубляясь въ лѣсъ.

Вотъ завиднѣлась сквозь деревья лѣсная прогалина, сплошь усыпанная татарскими сонными тѣлами. Враги крѣпко спали. Одни стреноженные кони бодрствовали, медленно пощипывая сочную траву. Небольшой шатеръ изъ кошмъ красовался посреди вражьяго стана.

— Тамъ навѣрное спитъ царевичъ... Хорошо бы его живьемъ захватить... — чуть слышно шепнулъ Матвѣй Алешѣ.

Тотъ съ быстротою молніи вскочилъ на ноги и уже готовъ былъ метнуться къ шатру, если бы сильная рука Мещеряка не удержала его на мѣстѣ.

— Штой ты! Аль очумѣлъ, парень!..—сердито буркнулъ казакъ,—нешто можно такъ-то... Зря только «ихъ» перебудишь. Надоть вспять ползти, упредить атамана,

сюды дружину доставить, а тамъ и съ Богомъ—бери живьемъ хошь самого чорта.

Опять поползли обратно въ травѣ оба юноши къ своей стоянкѣ.

Черезъ часъ они снова уже были здѣсь, у татарскаго лагеря, но не одни. Неслышно подкралась къ вражьему стану дружина Ермака. Скрываясь за высокими кедрами, во всѣ глаза зорко глядѣли казаки на лѣсную прогалину и ждали только условнаго знака Ермака. И вотъ далъ, наконецъ, этотъ знакъ атаманъ.

— Съ Богомъ!.. — пронеслось по дремучей тайгѣ молодецкимъ крикомъ, и по этому крику, какъ стая орловъ, ринулась дружина на татаръ.

По этому крику вскочили на ноги и Мещерякъ, и Алексѣй, отряженные для поимки Маметъ-Кула. Вскочили и бросились прямо въ шатеръ.

Царевичъ уже проснулся и, недоумѣвая на внезапные шумъ и крики, метался съ саблею по шатру, не находя со сна выхода изъ него.

Въ одинъ мигъ набросились на него юноши и, прежде чѣмъ могъ опомниться татарскій витязь, скрутили его по рукамъ и ногамъ.

Въ это время удалая дружина дѣлала свое дѣло, кроша татаръ направо и налѣво. Потери казаковъ на Бабасанскомъ урочищѣ и подъ Чувашьей горой, а пуще всего воспоминаніе о звѣрски зарѣзанныхъ товарищахъ на Абалацкомъ озерѣ,—мщеніемъ и злобой наполняли обычно великодушныя сердца побѣдителей. И сдержалъ данное слово Ермакъ: онъ воздвигъ огромный памятникъ изъ татарскихъ обезглавленныхъ труповъ зарѣзаннымъ на Абалакѣ товарищамъ-казакамъ. Никто изъ враговъ не спасся. Всѣ полегли до единаго близъ Вогая. Одного царевича Маметъ-Кула пощадилъ Ермакъ. Онъ обласкалъ его, какъ умѣлъ, и черезъ толмача передалъ плѣннику, что не сдѣлаетъ ему ничего дурного, строго

приказавъ и дружинѣ своей оказывать ему всяческій почетъ.

Поздно, подъ-утро, легли въ эту ночь казаки отдохнуть послѣ одержанной побѣды.

Мещерякъ и Алеша, обласканные за ихъ великую услугу Ермакомъ, остались караулить поочередно станъ и плѣннаго Маметъ-Кула.

Сильно усталъ юный князь, едва держался на ногахъ, а глаза у него такъ и слипались. Но онъ бодрился, лишь отъ времени до времени прислоняясь къ стволу высокаго кедра, чтобы отдохнуть немного и протереть сонные глаза. Но какъ ни старался Алеша противиться — сонъ осилилъ его: онъ сладко задремалъ. Между тѣмъ солнце встало. Золотымъ потокомъ брызнуло оно надъ степью, и сказочно причудливымъ уборомъ засіяла степь въ зелено-пестромъ вѣнцѣ своихъ пышныхъ травъ и цвѣтовъ.

Когда Алеша проснулся, весь станъ былъ уже въ движеніи.

— Чудное дѣло, братику, приключилось у насъ. Экое страшилище нашли близъ опушки ребята наши. Къ атаману отвели. Обличьемъ на самого шайтана сходитъ, вѣрно слово,—весело разсказывалъ юному князю Мещерякъ.

Сна у Алексѣя какъ не бывало. Весь охваченный молодымъ любопытствомъ, онъ со всѣхъ ногъ кинулся туда, гдѣ въ кипящихъ на кострахъ котлахъ варилась каша къ обѣду.

Противъ Ермака, сидѣвшаго на пнѣ березы спиной къ остальнымъ, стояла странная приземистая фигура, широкоплечая, коренастая, низенькая, въ курткѣ изъ оленьяго мѣха и въ узкихъ штанахъ. Подлѣ нея находился толмачъ-переводчикъ. Подстрекаемый тѣмъ же любопытствомъ, Алеша зашелъ сбоку и заглянулъ въ лицо странной фигурѣ. Взглянулъ—и въ ужасѣ отступилъ, невольно зажмуривая глаза. Страшными ранами,

рубцами и язвами было покрыто лицо инородца. Ничего нельзя было разобрать въ немъ, ни чертъ, ни выраженія. Нельзя даже было понять—молодъ онъ или старъ. Одна сплошная багровая рана скрывала и возрастъ, и черты. Ужасъ выразился на лицѣ князя. Ермакъ замѣтилъ это.

— Аль не по ндраву пришелся малецъ?—усмѣхнулся онъ, видя произведенное инородцемъ впечатлѣніе на своего любимца,—не обезсудь на обличьи, Алеша-свѣтикъ, зато вѣрный слуга намъ будетъ уродище этотъ... Баитъ черезъ толмача, Кучумка его пыткѣ предалъ за што-то... Ишь, обличье попортилъ какъ... Такъ за это онъ сулитъ намъ ихняго Кучумку да и всю его семью въ полонъ предоставить... Ужъ больно гнѣвомъ опалился на обидчика своего...

— Такъ-то такъ... Да ужъ больно не казистъ онъ съ рожи...—произнесъ Алексѣй, невольно избѣгая взглядомъ страшное, безобразное лицо.

Его голосъ странно подѣйствовалъ на коренастаго уродца. Тотъ вскинулъ голову, и маленькіе, бѣгающіе, какъ мыши, глазки его, единственное, что осталось въ этомъ потерявшемъ свой человѣческій образъ лицѣ, такъ и впились въ Алешу.

«Убійца брата Имзеги, наконецъ-то я встрѣтила тебя!»—вихремъ пронеслось въ мозгу Алызги и, вся задрожавъ отъ ненависти, она до боли впилась ногтями въ ладони своихъ судорожно стиснутыхъ рукъ.

. . . . . .

Все лѣто 1582 года Ермакъ употребилъ на покореніе татарскихъ и остяцкихъ улусовъ и городковъ по рѣкамъ Оби и Иртышу. Онъ взялъ и остяцкій городъ Назымъ, находившійся неподалеку отъ устьевъ рѣки Назыма, притока Оби.

Но нерадостно кончился этотъ Назымскій походъ для неутомимаго и храбраго атамана. Подъ засѣкой

остяцкаго улуса потерялъ онъ своего помощника, храбраго есаула Никиту Пана съ его отрядомъ. Долго жалѣлъ и оплакивалъ эту чувствительную для него потерю Ермакъ. Вернувшись въ Искеръ, онъ далъ наконецъ Строгановымъ радостную вѣсточку о покоренiи Сибири. Снарядивъ гонца въ Сольвычегодскъ, велѣлъ передать именитымъ Пермскимъ людямъ атаманъ: «Кучума-салтана одолѣлъ, стольный городъ его взялъ и царевича Маметъ-Кула плѣнилъ».

Строгановы поспѣшили переслать эту радостную вѣсть самому Іоанну Васильевичу, грозному царю. Былъ наряженъ отъ нихъ гонецъ на Москву съ грамотою о покоренiи Ермакомъ Сибири.

Но далеко опережая гонца, прямо изъ Искера, по рѣкамъ Сибири двигалось, минуя Пермь и Сольвычегодскъ, по Камѣ и Волгѣ, другое посольство, болѣе торжественное и пышное, посольство самого Ермака къ царю. Съ дорогими мѣхами: куньими, собольими и лисьими, подъ предводительствомъ храбраго есаула Ивана Кольцо, отягощенное богатыми дарами ѣхало посольство на Москву. Это Ермакъ билъ челомъ сибирскимъ гостинцемъ, помимо покореннаго царства, грозному царю Іоанну.

ГЛАВА IV.

Посольство Ермака.

МРАЧНЫЕ, тяжелые, печальные дни повисли темною тучею надъ дворцомъ Іоанна.

Грозный царь терпѣлъ пораженіе за пораженіемъ отъ смѣлаго, предпріимчиваго новаго короля Литвы и Польши, Стефана Баторія. Со смертью Сигизмунда-Августа прекратилась царствовавшая въ Польшѣ династія Ягеллоновъ, и некому было пріять соединенную корону Польши и Литвы. Царь московскій самъ былъ не прочь возложить на свою голову корону эту или, уже въ крайнемъ случаѣ, дать въ короли соединенныхъ королевствъ одного изъ своихъ сыновей. Гетманъ Литовскій, Михайло Гарабурда, не разъ пріѣзжалъ на Москву для переговоровъ. Но чего хотѣлъ литовскій народъ, того не хотѣли гордые, независимые польскіе паны, которые уже много наслыша-

лись о московскихъ буйствахъ царя Іоанна, о потокахъ крови, лившихся на Руси. И вотъ паны выбрали смѣлаго, предпріимчиваго рыцаря-воина, бана Седмигродскаго, который, женившись на дочери Сигизмунда-Августа, съ ея рукой получилъ корону Польши и Литвы.

Іоаннъ, разгнѣванный и оскорбленный такимъ оборотомъ дѣла, заключивъ на-спѣхъ миръ со шведами, ведшими съ нимъ войну, наполнилъ своей ратью Ливонію, Эстонію и самую Польшу. Взяты были многіе ливонскіе и эстонскіе города. Взятъ былъ Венденъ, гдѣ заперся было женатый на одной изъ княженъ Старицкихъ племянникъ Іоанна, королевичъ датскій Магнусъ, дерзко потребовавшій у московскаго царя обѣщанной ему власти въ Ливоніи. Венденъ штурмовали, самого Магнуса взяли въ плѣнъ и, лишивъ власти, сослали подальше, въ крошечный городишко Коркусъ.

Потянулась упорная война. Молодой, смѣлый и энергичный польско-литовскій король сталъ наносить московскому царю ударъ за ударомъ. Ходъ за ходомъ, шагъ за шагомъ, и Стефанъ Баторій, очутившись въ русскихъ владѣніяхъ, отобралъ самый Полоцкъ. За Полоцкомъ были взяты Соколъ и Озерище, а тамъ и самый Псковъ осадилъ предпріимчивый король Польши и Литвы.

И еще другая неудача черной тучею повисла надъ Русью великой. Турки-крымцы грозили съ юга Московскому государству, ослабленному и уставшему вслѣдствіе непрерывныхъ войнъ. Но ничто въ сравненіи съ политическими невзгодами и бурями была та буря личнаго удара, что разразился надъ самой головой московскаго царя. Страшное дѣло, худшая потеря, чѣмъ земли Ливонскія, нежели взятый Полоцкъ, постигла карой Божіей Іоанна Васильевича: въ припадкѣ непреодолимаго бѣшенства убилъ желѣзнымъ посохомъ сына-царевича обезумѣвшій отъ гнѣва царь-отецъ...

Это было въ темное, хмурое утро. Печаль, трауръ и горе, повисшее надъ дворцомъ царя Іоанна Васильевича, нашли, казалось, откликъ и въ самой природѣ. Траурнымъ пологомъ хмурилось небо. Скрылось за тучами солнце. Плакала земля.

Угрюмый и больной сидѣлъ, согнувшись въ своемъ креслѣ, царь Іоаннъ. Тяжелый недугъ всѣ послѣдніе годы точитъ царя. Тѣло его пухнетъ и покрывается язвами. Отъ язвъ и опухолей идетъ смрадный духъ, какъ отъ покойника. Болѣзнь, медленная, тяжелая, ведетъ къ неминуемой гибели царя. А рядомъ съ физическими страданіями душевныя муки — боль совѣсти— мучаютъ, терзаютъ царя днемъ и ночью. Особенно ночью. Эти ночи страшны, какъ адъ, мучительны, какъ пытка. Черные кошмары, кажется, такъ и стерегутъ его у дверей горницы, и лишь только забудется Іоаннъ — встаютъ воплощенные призраки убитыхъ и замученныхъ имъ людей. Напрасно приготовляетъ царю лекарственныя снадобья врачъ Якубусъ, присланный ему англійской королевой: снадобья не дѣйствуютъ, не поддается леченію сильный, но заживо разложившійся организмъ царя... Сегодняшнюю ночь онъ провелъ особенно плохо. Впрочемъ, не первая такая ночь. Съ рокового дня гибели первенца не знаетъ вовсе покоя государь. Стоитъ передъ нимъ неотступно воочію страшное видѣніе, тотъ роковой часъ, та, проклятая самимъ Господомъ, минута, когда, обливаясь кровью, упалъ къ его ногамъ царевичъ Иванъ...

И глубже уходитъ въ свое кресло царь и нервнымъ движеніемъ дрожащей руки запахиваетъ черный траурный кафтанъ свой... Трясется еще не старая, но до времени одряхлѣвшая голова царя, накрытая черной тафьею.

— Ванюша... Ванечка... Сыночекъ мой ненаглядный... Пошто я такъ-то... тебя...—шепчутъ трепещущія

губы Іоанна и дрожмя дрожитъ больное, измученное тѣло страдальца.

И снова тотъ душный лѣтній день встаетъ передъ нимъ... Не въ духѣ проснулся въ то памятное утро Іоаннъ, что случалось съ нимъ все чаще и чаще. Новая молодая царица, Марія Нагая, восьмая по счету жена царя, уже давно шепчетъ въ уши своему царственному супругу про новыя козни да интриги—что хвалится будто царевичъ Иванъ, какъ вступитъ на престолъ послѣ смерти отца, всѣ порядки иначе, по своему передѣлать, государство на свой ладъ поставить... И еще многое другое наговариваетъ завистливая, злобствующая мачиха. И самъ видитъ Іоаннъ—не больно-то слушается отца царевичъ. Во многомъ перечитъ ему. А тутъ еще рѣчи наговоренныя. Не вытерпѣлъ царь, взялъ посохъ и пошелъ на половину старшаго сына, гдѣ жилъ царевичъ со своей молодой женой, недавно съ нимъ повѣнчанной, Мариной, изъ рода бояръ Шереметевыхъ. Но не засталъ того, кого хотѣлъ Іоаннъ, въ царевичьихъ покояхъ. Вмѣсто сына встрѣтилъ невѣстку царь, еще не успѣвшую встать отъ сна, неодѣтую, простоволосую, но чудно прелестную женщину-ребенка, дрогнувшую отъ страха при появленіи царя. Самъ не вѣдая почему опалился разомъ гнѣвомъ на царевну государь.

— Замѣсто того, штобы чинъ чиномъ во храмъ Божій идти, какъ вечоръ всѣмъ слободскимъ было наказано мною,—строго заговорилъ онъ, грозно наступая на невѣстку,—ты на лебяжьихъ пуховикахъ нѣжишься, лѣнью дьявола тѣшишь...

И замахнулся жезломъ на молодую женщину. Та съ дикимъ крикомъ метнулась къ двери, желая спастись. Но обезумѣвшій отъ гнѣва царь настигъ ее и сильно ударилъ по спинѣ своимъ посохомъ.

Съ воплемъ упала на полъ царевна. Ей отвѣтилъ другой вопль, еще болѣе страшный и дикій—и ея мужъ,

царевичъ Иванъ, прибѣжавши на помощь къ женѣ, появился на порогѣ.

— Не смѣй, отецъ, трогать Марину!..—внѣ себя вскричалъ онъ и отвелъ отъ жены руку царя, отвелъ отъ жены и принялъ предназначенный ей на себя ударъ царевичъ.

Взмахнулъ, взбѣшенный его словами, не помня себя, Іоаннъ и тяжело опустилъ на голову сына свой грозный посохъ. Въ тотъ же мигъ новый стонъ, вопль огласилъ стѣны дворцовыхъ палатъ. Изъ раны на просѣченномъ до мозга черепѣ царевича хлынула кровь.

Безуміе ужаса и горя охватило царя.

— Мой Ваня!.. Мой первенецъ!.. Мой любимый!..— покрывая поцѣлуями и слезами руки на-смерть раненаго сына, лепеталъ царь.

Сбѣжались врачи, принялись лечить умирающаго юношу. Но ни стоны, ни вопли царя, ни снадобья врачей, ничто не помогало. На другой день къ утру скончался царевичъ.

Съ тѣхъ поръ страшный призракъ плавающаго въ крови убитаго сына не покидаетъ царя. И сегодня, въ это пасмурное, ужасное утро, онъ особенно неотвязно и мучительно стоитъ передъ нимъ. Еще вчера разослалъ новые вклады Іоаннъ по всѣмъ монастырямъ и обителямъ Московскимъ, наказывая молиться за душу убіеннаго сына. А все не легче ему, все не легче... Сердце рветъ лютая мука, туманитъ мозгъ мучительная мысль... Душа такъ и ноетъ скорбью и раскаяніемъ. Соскользнулъ съ лавки на полъ царь. Бьется головой о-земь и стонетъ-вопитъ:

— Ванюшенька... Родименькій... Пошто оставилъ меня?!..

И не видитъ ослѣпленный горемъ Іоаннъ, какъ въ горницу нерѣшительно вошелъ, переступая съ ноги на

ногу, ближайшій бояринъ и любимецъ царскій, Борисъ Годуновъ, замѣстившій убитаго подъ Венденомъ Малюту, а за нимъ и другіе бояре—Бѣльскій, Шематьевъ, Нагіе.

Неслышной, мягкой походкой подошелъ Годуновъ къ царю и говоритъ:

— Очнись, государь... Не гоже тебѣ во прахѣ простираться, когда радость велію Господь на Русь святую послалъ...

Словно дикій звѣрь вскочилъ на ноги Іоаннъ.

— Кто дерзнулъ безъ зова?!.—началъ онъ, и зловѣще поднялся грозный посохъ въ его костлявой рукѣ.

Но, выдержавъ порывъ бѣшенства покорно, Борисъ также свѣтелъ и безстрашенъ лицомъ остался. И у тѣхъ бояръ, что съ нимъ пришли и у двери стоятъ, такія же свѣтлыя, праздничныя лица.

Опустился посохъ. Судорога повела отъ нетерпѣнія лицо царя.

— Какая радость?.. Говори... Не тяни жилы, мучитель... — скорѣе простоналъ, нежели произнесъ Іоаннъ.

— Сибирь взята казаками Донскими да Волжскими, государь... Покорено подъ нози твои великое царство Кучума-салтана... — дрожащимъ голосомъ, громко и радостно, произнесъ Годуновъ.

Выскользнулъ тяжелый посохъ и со звономъ покатился по полу горницы. А за нимъ рухнулъ на полъ передъ божницей и самъ Іоаннъ.

— Великъ и Милостивъ Господь!.. Не оставилъ Ты меня, Господи!—зашептали его блеклыя, ссохшіяся губы. — Несказанное счастье послалъ Ты мнѣ, окаянному грѣшнику... Великъ Господь!..

И замеръ, весь охваченный умиленіемъ и благодарностью къ Царю Небесному земной, во прахѣ простершійся, царь.

. . . . . .

Звонили, гудѣли, пѣли колокола... Толпы народа запрудили площади и улицы столицы. У всѣхъ радостныя, счастливыя лица. Всѣ, какъ въ великій свѣтлый праздникъ, поздравляютъ другъ друга. Не только на улицахъ, на крышахъ домовъ, на колокольняхъ церквей черно отъ народа. Яблоку некуда упасть. Смутный гулъ стотысячной толпы стоитъ надъ Москвою, споря съ малиновымъ перезвономъ сорока сороковъ православныхъ церквей.

— Идутъ!.. Идутъ!.. — катится по толпѣ многоголосной волною.

— Идутъ!.. Идутъ!..

Разступилась, шарахнулась на обѣ стороны толпа, образуя широкую улицу, по краямъ которой черно отъ шапокъ, сермягъ, кафтановъ да опашней.

И вотъ по широкой улицѣ медленно движется посольство. Впереди скачутъ бирючи, расчищая путь. За ними выступаетъ сѣдоусый богатырь-есаулъ, съ зоркими, молодыми глазами. Отвагой и вѣрою горятъ его быстрые взоры. За вѣрнымъ, за правымъ дѣломъ прокладываетъ путь къ Кремлевскимъ палатамъ ближайшій товарищъ покорителя юрта Сибирскаго. Съ гордо поднятой головою, со смѣлымъ, радостнымъ взоромъ несетъ онъ бархатную подушку въ рукахъ. На подушкѣ лежитъ грамота отъ покорителя Сибири, грамота могучему и грозному царю московскому. Хорошо знаетъ Кольцо, что воленъ казнить или миловать царь его и его спутниковъ, но знаетъ также, что радостна и люба сердцу цареву челобитная Ермакова. Оттого и свѣтелъ, и радостенъ есаулъ. За нимъ богатые дары несутъ: соболей, куницъ сибирскихъ, видимо-невидимо, безъ счета, безъ конца. Народъ дивуется, народъ словно опьянѣлъ отъ восторга, словно забылъ, кто идетъ по широкому проходу между двухъ образовавшихся рядовъ толпы. Забылъ былыя вины сѣдоусаго есаула, забылъ и то, что голова иду-

щаго давно на вѣсъ золота оцѣнена, и что къ четвертованію, къ позорной смерти приговорено это могучее казацкое тѣло. Героя-богатыря, защитника и спасителя отъ нечисти бесерменской, отъ кары поганой видитъ въ немъ московскій народъ и радостными криками оглашаетъ площадь.

А тотъ, къ кому спѣшитъ по многолюднымъ улицамъ Ермаково посольство, уже ждетъ его въ большой Кремлевской палатѣ во всемъ блескѣ царскаго величія, среди ближнихъ бояръ. На немъ шапка Мономаха, золотое платье, все въ драгоцѣнныхъ камняхъ, съ оплечіемъ, украшеннымъ изображеніемъ Іисуса, Божіей Матери и святыхъ. Ближніе люди держатъ знаки царскаго достоинства, скипетръ и державу. Залитые золотомъ и серебромъ стоятъ кудрявые рынды въ своихъ бѣлыхъ одеждахъ съ топориками на плечахъ. Вокругъ трона бояре въ лучшихъ праздничныхъ уборахъ, въ горлатныхъ шапкахъ, важные, суровые и все же трепещущіе передъ царемъ.

— Идутъ!.. Идутъ!.. —перекатилось съ площади и ворвалось сдержаннымъ гуломъ въ Кремлевскій дворецъ.

Они вошли. Сѣдоусый есаулъ впереди съ грамотой-челобитной на подушкѣ, остальные позади съ богатыми дарами царю отъ Ермака.

И преклонили колѣни, и распростерлись въ прахѣ и главный посолъ, и его сподвижники. Долго лежали они у ступеней трона, пока взволнованнымъ голосомъ не приказалъ имъ встать Іоаннъ.

— Великій государь!—началъ громко и звучно, все еще стоя на колѣняхъ, Кольцо,—казацкій атаманъ твой, Василій Тимофеичъ, со всею вольною дружиною своею, осужденною на смерть тобою, надежа-государь, бьютъ тебѣ челомъ на завоеванномъ царствѣ Сибирскомъ...

Сказалъ и замеръ Кольцо. Замерла и вся Кремлевская палата заодно съ Ермаковымъ посломъ. Затихло

все. Слышенъ былъ только гулкій перезвонъ въ московскихъ церквахъ да усиленное отъ волненія дыханіе въ груди Іоанна.

И вотъ приподнялся чуть государь, сверкнулъ очами, и прозвучалъ голосъ его на всю палату Кремлевскую:

— Исполать вамъ, вѣрные слуги мои! И быть прежней опалѣ не въ опалу, а въ милость... Читай грамоту, Борисъ, — приказалъ царь стоявшему подлѣ боярину Годунову.

Послѣдній принялъ свитокъ изъ рукъ Кольца и принялся читать. И чѣмъ дальше читалъ Годуновъ, тѣмъ яснѣе, тѣмъ радостнѣе становилось лицо царя.

Онъ тутъ же простилъ казакамъ всѣ прежнія вины ихъ, велѣлъ по церквамъ служить молебны и звонить во всѣ колокола московскіе, дабы всѣ знали, что Богъ послалъ Руси новое, обширное царство, завоеванное грозною дружиною казаковъ...

Щедро и милостиво разсыпалъ Іоаннъ награды посламъ Ермака и самому Ермаку. Самому атаману грозной дружины жаловалъ титулъ князя Сибирскаго, шубу съ царскаго плеча, — что считалось особымъ знакомъ государевой милости,—да кубокъ серебряный и два дорогихъ панцыря въ придачу. Ивана Кольцо и бывшихъ съ нимъ казаковъ пожаловалъ великимъ своимъ жалованіемъ, деньгами, сукномъ, камками дорогими. Оставшихся въ Сибири одарилъ шедро и послалъ имъ большое царское жалованіе. А для принятія у Ермака завоеванныхъ земель снарядилъ царь воеводъ, князя Семена Болховского и Ивана Глухова съ пятью сотнями московскихъ стрѣльцовъ.

Не забыты были царемъ и Строгановы-купцы. Ихъ пожаловалъ царь за «радѣнье»: Семена двумя городами на Волгѣ, а Максиму и Никитѣ далъ право безпошлинной торговли въ ихъ острогахъ и городкахъ.

Недолго пробылъ Кольцо въ Москвѣ и 1-го марта

1583 г. возвратился съ царскимъ отрядомъ назадъ въ Сибирь. Воеводы объявили Ермаку великую царскую награду, вручили милостивую государеву грамоту и заодно передали и русское спасибо молодцу-атаману и его грозной дружинѣ отъ лица всего московскаго народа.

Колѣнопреклоненный выслушалъ радостную вѣсть новый князь Сибирскій, и впервые горячія, благоговѣйныя слезы оросили мужественное и смѣлое лицо Ермака.

Его завѣтныя мечты, его свѣтлыя надежды — все сбылось.

Іоаннъ Грозный принимаетъ посольство Ермака.

КАРТИНА С. РОСТВОРОВСКАГО.

ГЛАВА V.

Танины заботы. — Возвращеніе. — Двѣ свадьбы.

ОЗЯЙКѢ Сольвычегодской плохо спалось въ эту зимнюю студеную ночь. Всю-то ночку промаялась безъ сна Танюша. То, сидя на жаркой лебяжьей перинѣ, прислушивалась она къ отдаленному вою волковъ, то, исполненная какихъ-то темныхъ страховъ, кликала няньку.

Старуха ужъ и съ уголька вспрыскивала свою любимицу, и свѣчку теплила передъ иконой «Утоли моя печали», и молитвы шептала надъ питомицей—ничего не помогало. Маялась, металась на своихъ мягкихъ пуховикахъ дѣвушка. Только забылась подъ утро, какъ проснулась снова, крикнула свою любимую подружку и наперстницу Агашу. Заперлись въ свѣтелкѣ ото всѣхъ обѣ дѣвушки, и полилась горячая, быстрая, какъ трель жаворонка, какъ пѣснь ручейка, дѣвичья бесѣда.

— Тошно мнѣ, Агашенька, ой тошно...—чуть слышно жаловалась своей подругѣ Татьяна Григорьевна, еще

болѣе возмужавшая и похорошѣвшая за послѣдніе два года.—Не шлетъ Алешенька вѣсточки и не пишетъ... Инъ, вчерась прискакалъ отъ государя гонецъ къ дядѣ и сказывалъ, что къ нему ѣдетъ изъ Москвы съ грамоткой отъ царя отрядъ съ посольствомъ и что средь посольства князеньку Алешу Серебрянаго-Оболенскаго присмотрѣлъ... Да нешто такъ дѣется на бѣломъ свѣту, Агаша?.. Женихъ не спѣшитъ съ радостями къ невѣстѣ своей, а ползетъ вмѣстяхъ со всѣми... Нешто ладно это?

И голосъ Строгановой зазвенѣлъ скрытыми слезами.

— Постой, боярышня, постой, — обнимая и цѣлуя Таню, утѣшала Агаша,—дай срокъ. Вихремъ примчится твой ясный соколъ. Вѣрно нѣтъ у нихъ завода такого, чтобы бросить посольство на полъ-пути да къ невѣстѣ кинуться. Небось, не простой онъ человѣкъ, не казакъ станичный, а самого князя Сибирскаго ближнее лицо, въ родѣ какъ бы начальство. Такъ не по чину ему, нѣтъ времени сюды скакать, — не безъ важности заключила быстроглазая Агаша, пробуя улыбнуться.

Да не вышла улыбка у дѣвушки—кошки на сердцѣ у нея скребли. Какъ и у молоденькой хозяйки неспокойно было на душѣ быстроглазой хохотушки Агаши. Да едва-ль не тошнѣе даже. Два года прошло съ тѣхъ поръ, какъ впервые встрѣтился ей въ большихъ Строгановскихъ хоромахъ красивый юноша-казакъ. Заронили сразу черныя очи Мещеряка искру въ сердце дѣвушки. Увидѣла она, что подолгу останавливается на ней смѣлый взоръ Матвѣя, что не простой это взоръ, а любящій да нѣжный. И сама полюбила Агаша. Полюбила первой, горячей дѣвичьей любовью, чистой и свѣтлой, какъ хрустальная вода родника. За эти два года многимъ женихамъ отказала любимая подружка Танюши Строгановой. Вокругъ нея да молодой хозяйки постепенно пустѣлъ кругъ дѣвушекъ; повыходили замужъ

и Машенька, и мечтательная Домаша, и многія другія. Только онѣ съ Татьяной Григорьевной остались ждать своихъ суженыхъ. И прождутъ, гляди, зря, даромъ загубятъ молодость. Останутся въ вѣковушахъ жизнь коротать... И думать забыли о нихъ ихъ молодцы. Небось, заполонили имъ сердца кайсацкія красавицы. Недаромъ Алызга сказывала, что Кучумки дочка што Божій день хороша. Може очаровала и князя Алексѣя, да и Матюшу заодно. А може и врала Алызга. И гдѣ она теперь?

И мечутся, и рвутся быстрыя мысли въ головѣ Агаши. То злость безпричинная въ сердцѣ закипаетъ, то больная, печальная скорбь холодомъ дышитъ на молодую дѣвичью душу.

И нужно-жъ было вчера прискакать изъ Москвы гонцу, который и повѣдалъ имъ о встрѣчѣ царскаго посольства, о великихъ милостяхъ, посыпавшихся на грозную дружину, покорившую Сибирскій юртъ.

Всю ночь, какъ и молодая хозяйка, не спала Агаша, всю ночь, какъ и та, протомилась она. И сейчасъ грустныя думы не даютъ покоя дѣвушкѣ. Такъ она углубилась въ эти думы свои, что и не видитъ, какъ вся въ зрѣніе обратилась ея молодая хозяйка.

А Танюша такъ и прильнула къ окну.

— Господи, да што-жъ это!..

При скудномъ свѣтѣ зимняго утра чуть темнѣетъ что-то въ степи. Словно движется что-то огромное, словно катится прямо къ Строгановскимъ поселкамъ. Вотъ все ближе... ближе...

Батюшки!.. Да отрядъ это!..

— Никакъ наши идутъ съ ратью московскою?..—не своимъ голосомъ крикнула дѣвушка и вмѣстѣ съ разомъ ожившей Агашей такъ и впилась взорами въ приближающуюся толпу людей.

Не обмануло зрѣніе Танюшу. И впрямь московскій отрядъ приближался берегомъ Чусовой. Впереди него

двое бояръ-воеводъ ѣдутъ. Поверхъ терлика—кольчуги изъ серебряныхъ колецъ, стальные наплечники, тесаки въ ножнахъ. На головахъ ерихонки, въ рукахъ шестоперы. За ними несутъ стяги. А тамъ, дальше, подлѣ сѣдоусаго есаула, въ мѣховомъ кафтанѣ, идетъ кто-то, прекрасный, юный, съ поросшимъ молодою бородкою и усами лицомъ. Его взоръ поднятъ на окно дѣвичьей свѣтлицы.

— Алеша!..—не своимъ голосомъ крикнула Таня и метнулась, не помня себя, внизъ изъ свѣтелки, въ дядины горницы, чуть живая отъ радости, волной захватившей ее.

Ничего не видитъ и не слышитъ дѣвушка. А между тѣмъ старая нянька успѣла накинуть ей на плечи нарядную мѣховую ферязь, подбитую соболями, съ аграмантами, золотыми и драгоцѣнными запонами по борту. Высокій дѣвичій столбунецъ изъ соболя набросила на голову и сунула въ руки подносъ съ кубкомъ, въ которомъ, играя, искрилось дорогое фряжское вино.

Въ какомъ-то радостномъ полуснѣ выбѣжала изъ дома Таня на высокій рундукъ, гдѣ дядя и братья, родной и двоюродный, ждали уже приближенія царскихъ пословъ.

Спѣшился князь Семенъ Болховской при помощи ближайшихъ стрѣльцовъ и, отпивъ изъ кубка, поцѣловался трижды съ молоденькой хозяйкой, поднесшей ему, по обычаю, вино. А та уже метнулась впередъ къ высокому, статному юношѣ, такъ и ринувшемуся ей навстрѣчу. Чинно и степенно поздоровались на глазахъ у всѣхъ женихъ съ невѣстой. Зато какъ крѣпко обнялись они, оставшись наединѣ въ теплой и уютной Таниной свѣтелкѣ!

— Пошто вѣсточки не давалъ по себѣ?.. Аль разлюбилъ?.. Аль забылъ меня, свѣтикъ Алеша?..—быстро и взволнованно срывалось съ устъ молоденькой Строгановой.

Молоденькая хозяйка поднесла, по обычаю, князю вино...

— Тебя то забыть?.. Тебя, радость мою!..—окидывая невѣсту любящимъ взоромъ, вскричалъ тотъ. — Днемъ и ночью ты мерещилась мнѣ, на-яву и во снѣ, Татьяна Григорьевна... Ни на мигъ единый не забылъ я тебя... А вѣстей не слалъ до тѣхъ поръ, покуда не зналъ судьбы своей... Не казакомъ опальнымъ, бездомнымъ, а слугою великой Руси святой хотѣлъ я, какъ и всѣ прочіе, явиться сюда съ тѣмъ, чтобы вольно и радостно отвести тебя дорогой женушкой въ завоеванный нами сибирскій градъ...

И онъ горячо обнялъ любимую дѣвушку. Таня нѣжно и ласково прильнула къ жениху.

Но не одни они были безумно счастливы въ этотъ памятный день. Другая молодая пара едва ли была менѣе ихъ радостна и счастлива: Мещерякъ съ Агашей столковались въ этотъ день.

Весело и пышно отпраздноваы были двѣ свадьбы разомъ въ роскошныхъ, просторныхъ Строгановскихъ хоромахъ. Самъ воевода, царскій бояринъ, князь Болховской, благословилъ вмѣстѣ съ Семеномъ Аникіевичемъ молодыя пары. Много меду и браги, и искристаго фряжскаго вина было попито въ честь молодыхъ...

А какъ прошли трескучіе морозы, и повѣяла чуть замѣтнымъ тепломъ суровая сибирская зима, Кольцо съ товарищами и Болховской съ отрядомъ двинулись дальше въ завоеванный Искеръ, въ глубь царства Сибирскаго.

Двинулись за ними и молодыя жены Алексѣя и Мещеряка.

Въ теплыхъ, коврами и мѣхами обитыхъ кибиткахъ отпустилъ Семенъ Аникіевичъ племянницу въ далекій, невѣдомый, покоренный юртъ, взявъ слово съ Алексѣя вернуться въ Сольвычегодскъ навсегда, лишь только плѣнятъ Кучума и закрѣпятъ за собою Сибирь.

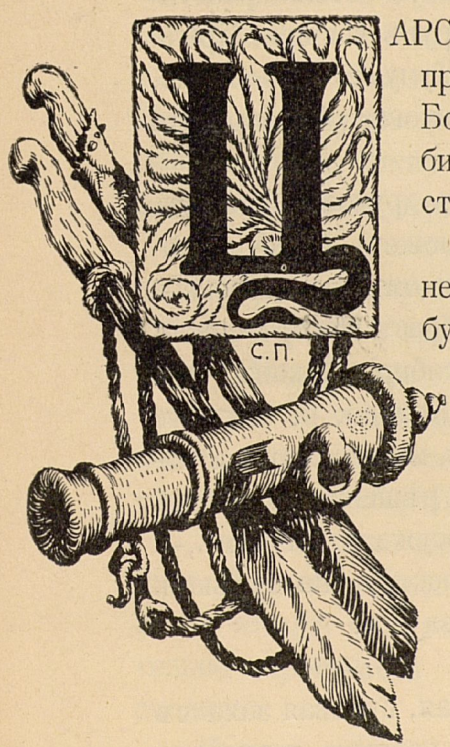
Грустилъ старый дядя, грустили и оба его племян-

ника, отпуская въ чуждый, далекій юртъ ихъ красное солнышко, любимицу Танюшу.

Но сама Танюша такъ была бодра и радостна подлѣ молодого мужа, такъ весело щебетала про свое скорое возвращеніе, что вскорѣ утѣшились ея родные и съ легкимъ сердцемъ попрощались съ ней.

ГЛАВА VI.

Въ печальной столицѣ. — Цынга и голодъ. — Адскій замыселъ.



ЦАРСКІЯ милости, государево спасибо привезли изъ Москвы съ собою князь Болховской и Глуховъ въ новую Сибирь. Привезли и пятьсотъ свѣжихъ стрѣльцовъ Ермаку на помощь.

Но ни бояре, ни Строгановы-купцы не подумали о томъ, чѣмъ кормиться-то будутъ эти стрѣльцы въ Сибири. Не знали они, что не уродился хлѣбъ въ послѣднее лѣто, что татары намѣренно мѣшали своими набѣгами хлѣбопашеству и что исключительно сурова была послѣдняя зима въ Сибири.

Казаки, не вѣдая, что царская помощь придетъ зимою, запаслись только хлѣбомъ для себя. Вскорѣ вышли послѣдніе припасы. Морозы, мятели, пурги мѣшали имъ выходить на рыбную ловлю и охоту. Къ тому же въ окрестностяхъ Искера бродили

полчища татаръ и удаленіе изъ Искера съ цѣлью набить дичи или наловить рыбы было далеко не безопасно.

Отъ недостатка свѣжихъ припасовъ появилась цынга, обычная болѣзнь, постигающая всѣхъ новыхъ пришельцевъ, непривычныхъ къ сырому и холодному климату.

Болѣзнь и голодъ, какъ два лютые врага, своими цѣпкими, мучительными объятіями сжали обитателей завоеванной Сибири. Люди умирали ежедневно. Умеръ въ числѣ прочихъ и князь Семенъ Болховской, главный воевода, присланный царемъ Іоанномъ.

Горе и уныніе стали несмѣнными гостями сибирской столицы. Съ распухшими, желтыми, измученными лицами бродили и казаки, и стрѣльцы. Тусклыми, безжизненными глазами глядѣли они на бѣлую снѣжную степь, разстилавшуюся однообразной полосою вокругъ Сибири. Приди сейчасъ подъ ворота ихъ города Кучумъ—и больные, измученные, слабые они врядъ ли смогли бы отразить его нападеніе.

Но самъ Богъ, очевидно, хранилъ дружину. Кучумъ, напуганный морозами и пургами, а можетъ быть и пришедшимъ новымъ стрѣлецкимъ отрядомъ изъ Москвы, былъ далекъ покамѣстъ отъ мысли брать Искеръ силой.

Иные планы задумалъ лукавый сибирскій ханъ. Онъ рѣшилъ, что пока живы Ермакъ и Кольцо, не вернуть ему Искера. И вотъ всѣ мысли, всѣ мечты старика направлялись къ одной цѣли, къ одному рѣшенію—погубить того и другого. И тогда,—такъ разсуждалъ Кучумъ,—лишенные вождей, энергіи и силъ, казаки не сумѣютъ отстоять Искера, и онъ будетъ снова его.

. . . . . .

Протянулась, прошла мучительная, суровая зима съ ея голодомъ, цынгою и холодами. Съ первымъ весеннимъ тепломъ окрѣпли, ожили люди. Не много ихъ осталось. Большая часть дружины и прибывшихъ стрѣльцовъ по-

легли въ степи подъ снѣжными сугробами, закиданные мерзлой, студеной землей... Теперь, когда выплыло весеннее солнышко, пригрѣвая степь, на ихъ зазеленѣвшихъ могилахъ зацвѣли бѣлые ландыши и фіалки... Ожила природа, вскрылись скованныя зимними путами воды Иртыша, и новая весна мирно и ласково усмѣхнулась ободряющей улыбкой.

Апрѣль наступилъ радостный, благовонный.

Въ просторной, заново отдѣланной избѣ, въ уютной, теплой горницѣ, на чисто вымытой лавкѣ сидѣла молодая княгиня Серебряная-Оболенская со своей неизмѣнной Агашей.

Обѣ женщины тихо разговаривали между собою. На ихъ блѣдныхъ, но все же юныхъ и пригожихъ лицахъ виднѣлось утомленіе. Пережитая страшная зима, въ продолженіе которой онѣ, не покладая рукъ, ухаживали за больными и умирающими, дала себя знать и имъ. Пережитые мучительные дни отозвались и на ихъ здоровьѣ. Но съ тихимъ пробужденіемъ весны новая радость наполнила сердца обѣихъ женщинъ.

— Авось, полегчаетъ теперь... И хлѣбушка родится, да и болѣсть минуетъ... — говорила голубоглазая, какъ дѣвочка, юная и красивая молодая княгиня.

— Поди, наши-то сокрушаются по насъ въ Сольвычегодскѣ...—подхватила своимъ, никогда не унывающимъ, голосомъ веселая Агаша,—небось, попа звали не единожды, молебствія служили по насъ...

— Ахъ, Агашенька... Повидать бы ихъ хошь на мигъ единый... Дядю-крестнаго да Максима-брата... Кажись, птицей къ имъ взвилась да полетѣла... — мечтательно произнесла Татьяна Григорьевна и разомъ смолкла.

Вошелъ князь Алексѣй блѣдный, встревоженный, какимъ его нерѣдко видывала въ эту тяжелую зиму Таня.

— Штой ты, Алеша?..—такъ и встрепенулась, бросаясь къ нему навстрѣчу, молодая княгиня.

— А то, што отъ атамана я къ тебѣ, Танюшка... О васъ съ Агафьей Петровной гуторили мы... Говоритъ Ермакъ Тимофеичъ, што больно вы много тутъ страховъ натерпѣлись съ нами за зиму эту—и болѣсти, и моръ... А еще хуже, баитъ, можетъ статься... Вонъ, говорятъ мирные татары, што снова быдто укрѣпляется Кучумъ... Напасть по веснѣ ладитъ... Такъ вамъ бы ладнѣе всего пристало въ Сольвычегодскъ отплыть по половодью и мирныхъ временъ дожидаться тамъ... Такъ атаманъ говоритъ...—тихо и нерѣшительно заключилъ свою рѣчь Алеша.

Таня, вся трепещущая, какъ раненая птица, отскочила отъ мужа.

— И ты... и ты говоришь мнѣ это!.. — волнуясь и пылая румянцемъ почти прокричала она.—Да нешто не вѣдаешь ты, что на радость и горе связала я свою судьбинушку съ твоей судьбой?!.. Не махонькая, чаю. Видѣла куда и на што иду... Нѣтъ, Алешенька, непригодныя рѣчи ты и твой атаманъ ведете,—твердо и смѣло продолжала она,—ни я, ни Агаша отъ васъ никуда не уѣдемъ. Хошь гони насъ силой, съ мѣста не сдвинемся... Ишь, выдумали што!.. Уѣхать въ Сольвычегодскъ, однихъ васъ оставить! Какъ разъ!.. Нѣтъ, соколъ мой, голубчикъ сизокрылый! Жили вмѣстѣ и помирать вмѣстѣ, стало быть, намъ...—заключила бодро и весело молодая княгиня.

Князь, растроганный и взволнованный, обнялъ жену.

— Такъ и сказать атаману? — шепнулъ онъ наухо ей.

— Такъ и скажи,—не дрогнувъ подтвердила она.

— Ну, Мещеря, и женокъ же Господь намъ послалъ на радость!—весело обратился къ появившемуся на порогѣ Мещеряку князь Алексѣй.

Въ эту ночь счастливымъ, мирнымъ сномъ уснули въ своихъ нехитрыхъ жилищахъ двѣ счастливыя молодыя пары. Въ эту ночь и новый городъ спалъ крѣпко и спокойно подъ охраной часовыхъ сторожей, нарушавшихъ своимъ окрикомъ молчаніе степи.

Изъ одной избы, вся темнѣющая во мракѣ бѣлой ночи, мелькнула небольшая фигура. Неслышной тѣнью скользнула она къ воротамъ, отодвинула тяжелый засовъ и, крадучись, какъ кошка, подъ тѣнью насыпи исчезла въ ближайшемъ лѣсу.

Воротники не замѣтили ея. Бѣлая ночь навѣяла и на нихъ пышныя весеннія грезы, и волшебница-тишина околдовала мысль.

Алызга (это была она) быстро миновала опушку и, углубившись немного въ чащу лѣса, издала громкій, пронзительный свистъ.

Ей отвѣтили такимъ же свистомъ изъ глубины тайги, и вскорѣ двѣ фигуры татаръ предстали передъ ней.

— Спитъ мурза Карача?—отрывисто и громко спросила ихъ Алызга.

— Нѣтъ... Всю ночь молился съ сыновьями... Ждали тебя...

— Когда посулила прійти, пришла бы значитъ,—отрывисто бросала Алызга, отворачивая отъ смотрѣвшихъ на нее съ явнымъ ужасомъ татаръ свое обезображенное лицо.

— Веди же меня къ нему,—почти повелительными нотами прозвучалъ ея рѣзкій гортанный голосъ.

— Ступай за мною,—произнесъ одинъ изъ татаръ и пошелъ впередъ.

Въ наскоро сбитомъ чумѣ сидѣлъ съ двумя своими сыновьями князь Карача. Этотъ Карача еще недавно, для вида, чтобы обмануть русскихъ, измѣнилъ Кучуму, будучи втайнѣ ближайшимъ его другомъ и слугой, и завелъ сношенія съ Ермакомъ.

— Время пришло, могучій мурза...—начала прямо съ мѣста Алызга, едва успѣвъ отвѣсить почтительный поклонъ ближайшему вельможѣ самого хана.—Завтра, на зарѣ, явись съ сыновьями въ Искеръ, проси тамъ помощи у атамана... Жалуйся и ругай хана, что обижаетъ онъ тебя, что казнить хочетъ за измѣну, а людей въ лѣсу засади. А какъ пойдетъ онъ съ отрядомъ своимъ... Ну, ужъ твое это дѣло, господинъ, самъ знаешь...

И дикимъ, непримиримымъ огнемъ сверкнули маленькіе глазки Алызги.

— Крѣпко-жъ насолили тебѣ кяфыры, женщина, коли рѣшилась ты себя изъ мести обезобразить, красоту свою погубить...—покачивая бритой головою произнесъ Карача.

— Я бійкемъ... остяцкая княжна... — гордо выпрямляясь произнесла Алызга,—моего мужа и брата убили кяфыры... Моего стараго отца подъ Назымомъ погубили они же... Меня продержали шесть лѣтъ въ долгомъ плѣну... Я ненавижу и проклинаю ихъ... И да свершится мщеніе Сорнэ-Турома надъ ними, вымоленное мною... Слышишь, господинъ, жду тебя на зарѣ... въ Искерѣ...

И сказавъ это Алызга вышла изъ чума.

Снова темная тѣнь мелькала на фонѣ бѣлой сѣверной ночи, снова неслышно проскользнула въ ворота Искера и снова засунула за собою крѣпкій желѣзный затворъ.

А когда на зарѣ загремѣлъ запоръ этотъ, и гостепріимно распахнулись ворота городка-острога, три всадника-татарина въѣхали въ Искеръ, къ Ермаку.

Впереди, на гнѣдомъ киргизскомъ скакунѣ, поджаромъ и тонконогомъ, сидѣлъ самъ мурза Карача. Его сыновья въ почтительномъ отдаленіи слѣдовали за нимъ.

Ермака предупредили о пріѣздѣ незванныхъ гостей. Онъ вышелъ на рундукъ избы.

— Здравъ буди, князь Сибирскій!—сказалъ черезъ

переводчика почтительно соскочившій со своего коня при его появленіи Карача.

Примѣру отца послѣдовали оба сына.

— Здравствуй и ты, князь, — ласково привѣтствовалъ атаманъ всадника,—ступай въ горницу, гостемъ будешь. И сыновей съ собой веди. Отъ хлѣба и соли отказываться николи не пристало.

И повелъ гостей въ свою горницу Ермакъ.

Долго тянулась черезъ толмача-татарина ихъ бесѣда. Дичиной, кумысомъ, медомъ угощали татаръ до отвала. А когда вышли изъ Ермаковой избы гости снова на крыльцо, непонятными, торжествующими и радостными огоньками горѣли и искрились ихъ узкіе раскосые глазки.

Не одинъ Ермакъ вышелъ проводить татарскихъ гостей, явившихся къ нему смиренно просить помощи отъ Кучума. Весь Искеръ провожалъ. Быстрѣе молніи разнеслась по Искеру вѣсть о томъ, что посылаетъ Ермакъ есаула Кольцо съ 40 казаками на помощь Карачѣ и его сыновьямъ изловить Кучума.

Тутъ же, на площади, быстро построились казаки и красивой, правильной шеренгой, подъ предводительствомъ Кольцо, двинулись изъ Искера вслѣдъ за Карачею.

— Большой тарту [1], кунакъ [2], великій принесу я тебѣ,—еще разъ, кланяясь Ермаку, сказалъ черезъ переводчика Карача, — сѣдую голову Кучума-хана привезу я тебѣ, князь Сибирскій.

И первый вылетѣлъ за ворота крѣпости на своемъ лихомъ скакунѣ.

Ермакъ весело смотрѣлъ вслѣдъ отъѣзжавшему отряду. Не чуяло его сердце, что не видать ему больше ни храбреца-есаула, ни товарищей лихихъ. Мысли о поимкѣ Кучума радостно кружили его смѣлую голову.

---

[1] Гостинецъ. — [2] Герой.

И еще одна пара сверкающихъ глазъ съ злорадным торжествомъ глядѣла вслѣдъ отъѣзжавшимъ.

— Радуйся, Алызга... Коршунъ на краю гибели... Вскорѣ и самый орелъ напитаетъ кровью почву великой родины твоей... — сдержанно шептали изуродованныя губы молодой остячки.

ГЛАВА VII.

Не вернулись. — Новая напасть. — Осада. — Послѣдняя ставка.

ДЕНЬ прошелъ, другой, третій...

Все сильнѣе нагрѣвало солнце остуженную за долгую зиму почву. Расцвѣли деревья, и заплакала горленка въ лѣсу. А Кольцо съ отрядомъ не возвращался. Не было ни слуху ни о Карачѣ, ни о Кучумѣ.

Тревога засосала сердце Ермака. Темное подозрѣніе запало въ душу.

— А что ежели?..

Но самъ гналъ отъ себя злыя, страшныя мысли лихой князь-атаманъ.

Еще день прошелъ. Не вытерпѣлъ Ермакъ. Велѣлъ коней сѣдлать, собралъ дружину, кинулся на поиски Кольцо съ его отрядомъ. Недолго искали. Въ глубинѣ тайги нашли зарѣзанными сорокъ тѣлъ казацкихъ съ обезглавленнымъ трупомъ сѣдоусаго есаула.

Предательски и звѣрски расправился съ отрядомъ

лукавый Карача, безжалостно умертвивъ казаковъ, всѣхъ до единаго.

Свѣта не взвидѣлъ Ермакъ. Грознымъ проклятіемъ огласилась сибирская тайга—проклятіемъ предателямъ-убійцамъ. А потомъ новая, страшная клятва повисла въ тишинѣ чернаго лѣса, страшнѣе проклятій самой смерти. Мучительнымъ пыткамъ поклялся предать Карачу и дѣтей его за гибель перваго товарища и казаковъ-друзей обезумѣвшій отъ горя Ермакъ.

Съ почестями предали землѣ въ степи, близъ Искера убитыхъ.

Горько оплакивалъ вѣрнаго Кольцо атаманъ. Онъ былъ его правой рукою, его совѣтчикомъ и помощникомъ съ самой ранней молодости ихъ совмѣстной вольной скитальческой жизни.

— Только бы мнѣ поймать Карачу да и Кучумку съ нимъ тоже...—зловѣще сверкая глазами и съ трудомъ переводя стѣсненное дыханіе въ груди, не разъ повторялъ Ермакъ.

Страшно было смотрѣть на князя Сибирскаго въ такія минуты. Судорожно сжимались въ кулаки его мощныя руки, жаждой безумной, всепоглощающей мести дышало прежде милостивое и доброе, теперь грозное, жестокое, преобразившееся лицо.

— Только бы поймать Кучумку... Только бы заполучить Карачу... — шепталъ онъ въ полномъ упоеніи всею сладостью предстоящей мести, переживая заранѣе свое безумное торжество.

Ермакъ сталъ неузнаваемъ. Великодушный прежде, онъ немилосердно умерщвлялъ теперь всѣхъ попадавшихся ему плѣнныхъ, то и дѣло приводимыхъ съ набѣговъ казаками въ Искеръ. Еще такъ недавно посылалъ онъ пословъ изъ плѣнныхъ татаръ къ Кучуму съ предложеніемъ хану сдаться московскому царю.

— «Маметъ-Кулъ, котораго я отправилъ царю плѣн-

никомъ, благоденствуетъ въ Москвѣ,—передавалъ онъ съ послами,—и тебя ждетъ милость великая отъ Бѣлаго салтана».

На что упрямый старикъ отвѣчалъ:

— «Не надо мнѣ ни милостей, ни даровъ. Не поѣду въ Москву. Былъ я свободнымъ и умру свободнымъ. Царь степей и горъ и умереть долженъ степнымъ и горнымъ царемъ, вольнымъ ханомъ Сибирскимъ».

Теперь не сдѣлалъ бы такого предложенія Кучуму Ермакъ. Теперь бы онъ приволокъ его плѣннаго на арканѣ, приказалъ бы кожу содрать живьемъ съ него и Карачи и выбросить ихъ изорванныя тѣла волкамъ на съѣденіе.

И Кучумъ точно чуялъ это. Нигдѣ не слышно было о слѣпомъ ханѣ. Точно сквозь землю провалился Кучумъ.

Но зато другая вѣсть облетѣла дружину: предатель Карача шелъ съ несмѣтною ратью назадъ, къ Искеру. И еще новую, печальную вѣсть принесли казаки атаману: въ разъѣздѣ убили храбраго Якова Михайлова, одного изъ ближайшихъ помощниковъ Ермака. Но послѣ гибели любимаго друга Кольцо точно притупилась душа атамана, и эта смерть, въ другое время заставившая бы страдать и сокрушаться Ермака, теперь скользнула по немъ лишь больной царапиной, но не раной.

. . . . . .

Между тѣмъ Карача приближался къ Искеру. Окрестные данники, остяки и татары, примкнули къ его ордѣ.

Въ одинъ изъ жаркихъ весеннихъ дней эта орда обложила городъ. Хитрый Карача, инстинктомъ стараго, опытнаго воина, понялъ, что не осилить ему въ открытомъ бою казаковъ, и рѣшилъ уморить голодомъ осажденныхъ.

Потянулись мучительные мѣсяцы осады. Наступилъ жаркій іюнь, и у осажденныхъ вышли съѣстные запасы.

Новый голодъ грозилъ призракомъ смерти защитникамъ Искера. Ермакъ жалѣлъ людей и, всячески щадя ихъ, не рѣшался на вылазку. Но голодъ заставилъ его, наконецъ, прибѣгнуть къ этому послѣднему спасенію.

Была ночь, жаркая, душная, іюньская ночь. Ночные цвѣты тщетно подставляли свои чашечки мимолетному вѣтру. Парило отъ земли, парило отъ неба, парило отъ горъ. Только сочная, пропитанная росою тайга дышала вдали прохладно и легко.

Недалеко отъ Соускана спало крѣпкимъ сномъ станище Карачи. Само урочище казалось вымершимъ. Только богатырскій храпъ заполнялъ его. Скученные, сдвинутые обозы и кибитки съ женами и дѣтьми татарскими тоже спали...

Неслышно, безшумно, подъ покровомъ ночи, сдѣлали вылазку казаки и подкрались къ самому Соускану.

Закипая огнемъ удали, злобы и непримиримой мести велъ ихъ Ермакъ.

— Нынче, либо никогда!—вихремъ носилось въ разгоряченномъ мозгу князя Сибирскаго. — Ежели не накинуться на нихъ сегодня, они бросятся завтра сами на насъ и всѣхъ перерѣжутъ, всѣхъ до единаго... Людей осталось мало... Сейчасъ пора самая, какъ есть, пока спитъ Соусканъ...

И свистнулъ среди тишины ночи Ермакъ.

По этому свисту кинулись на спящихъ татаръ казаки. Началось крошево, рубка, какихъ не знала, не вѣдала доселѣ Великая Сибирская степь.

Заметались татары. Ихъ стонами и воплями дрогнула земля. Въ темнотѣ имъ не видно сколько враговъ напало. Рубятъ въ просонкахъ, испуганные и переполошенные, своихъ же татаръ.

Занялась заря, разсѣялся мракъ. Ободрились Карачевы воины. Видятъ, невелики числомъ нападающіе, бросились въ обозы и, загородившись ими, стали осы-

пать оттуда тучами стрѣлъ нападавшихъ казаковъ. До самаго полдня бился Ермакъ съ Карачею. Степь покрылась безчисленными трупами, вороны съ дикимъ карканьемъ заметались надъ ними въ ожиданіи лакомой добычи. А люди все рубились и рубились безъ устали, устилая все новыми и новыми жертвами пропитанную кровью траву. На глазахъ обезумѣвшаго отъ ужаса Карачи убили обоихъ сыновей предателя. Не выдержалъ Карача этого удара, съ дикими воплями покинулъ поле битвы и обратился въ бѣгство. За нимъ побѣжали и остальные татары и кинулись вразсыпную, надѣясь спастись.

Но не тутъ-то было. Обезумѣлъ, опьянѣлъ въ свою очередь отъ сѣчи Ермакъ. Соколомъ ринулся вслѣдъ убѣгавшимъ.

— За мною, ребята!.. Отомстимъ за гибель есаула поганымъ!.. — хриплыми, призывными словами вырвалось изъ его груди.

Поняли казаки изстрадавшуюся душу своего храбреца-атамана. Ринулись въ погоню за татарами. Сѣли въ лодки и вверхъ по Иртышу поднялись гнать бѣглецовъ.

Близъ устья Ишима была новая схватка. Многихъ мужественныхъ казаковъ, воспѣтыхъ позднѣе въ заунывной и грустной сибирской пѣснѣ, лишилась грозная дружина, но оставшіеся въ живыхъ продолжали начатое дѣло, покорили цѣлый рядъ улусовъ и только дойдя до рѣки Шиша, за которымъ начинались уже голыя степи, повернули назадъ.

Убаюканный сладкимъ чувствомъ удовлетворенной мести вернулся въ Сибирь Ермакъ съ усталой, измученной, но счастливой своимъ боевымъ успѣхомъ дружиной.

Вскорѣ новая удача выпала на долю завоевателей. Напали нечаянно на слѣдъ Кучумовъ, догнали его кибитки и взяли въ плѣнъ нѣкоторыхъ его женъ и дѣтей.

Быстро снарядилъ новый караванъ въ Россію Ермакъ съ новыми подарками царю Московскому.

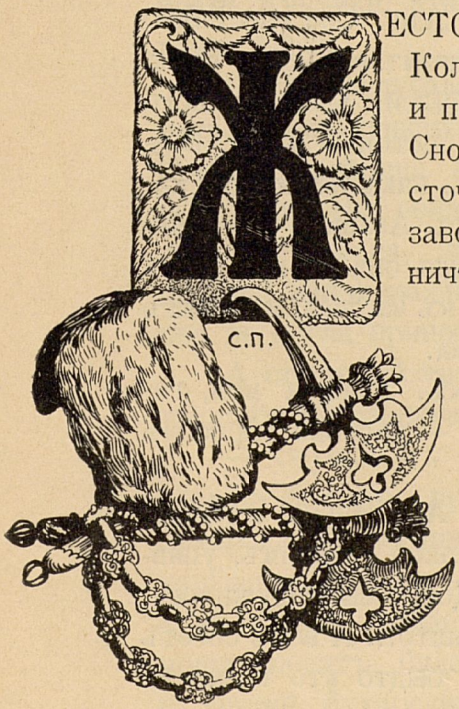
Плѣнное семейство неукротимаго хана было послано въ придачу къ главному плѣннику Маметъ-Кулу.

Въ Москвѣ приняли ихъ ласково, одарили, успокоили несчастныхъ, отпустили имъ богатые кормы и всячески обласкали ихъ.

Ждали еще одного желаннаго плѣнника-гостя. Ждали самого Кучума. Но онъ попрежнему носился на свободѣ, неуловимый сынъ привольныхъ, широкихъ степей.

ГЛАВА VIII.

Гибель князя Сибирскаго.



ЖЕСТОКО отомстили казаки за гибель Кольцо и сорока товарищей. Прогнали и побили татаръ—и снова все стихло. Снова мирно зажила крошечная горсточка оставшихся побѣдителей въ завоеванномъ Искерѣ. Уже совсѣмъ ничтожное число осталось въ живыхъ отъ былой грозной дружины. Лишь полторы сотни изъ 840 осталось. Остальные частью на полѣ брани полегли, частью уснули вѣчнымъ сномъ подъ ножами убійцъ-предателей, частью умерли отъ тифа и цынги. Но оставшіеся въ живыхъ еще болѣе, еще тѣснѣе сплотились, готовые умереть другъ за друга, готовые въ огонь и въ воду идти за товарищей своихъ...

Знойный день 5-го августа. Хоть и лѣто на исходѣ, а паритъ такъ, словно жаркій іюль на дворѣ. Въ Си-

бири бываютъ такіе дни, колкіе, смутные отъ зноя, душные, безъ влаги и росы. Степь накалилась, замерла, пожелтѣла. Ни шелохнетъ, ни дрогнетъ вѣтерокъ. Зноемъ пышетъ небо. На немъ темныя облачка подымаются медленно, тяжело. Застилается прозрачная синева, и не видно почти-что голубыхъ промежутковъ за темными сѣрыми тучами.

— Гроза будетъ, — говоритъ Алеша, глядя угрюмо на небо, придвинувшееся своими тучами къ землѣ.

Онъ только-что вышелъ за валъ съ женою, чтобы пройтись до дождя вдоль глубокаго замета къ тому клочку землицы, которымъ пожаловалъ его Ермакъ и гдѣ теперь проворно собирали сжатые снопы рабочіе остяки, торопясь унести ихъ съ поля до дождя.

Молодая княгиня была, противъ обыкновенія, печальна и грустна въ этотъ душный день. Она разсѣянно поглядывала то на степь затуманеннымъ взоромъ, то на небо, грозно хмурившееся надъ землей. Отъ молодого князя не укрылось это неспокойное состояніе жены. Онъ хорошо зналъ свою Танюшу, зналъ, какъ неутомимо хаживала за больными и ранеными съ Агашей его княгиня, зналъ, какъ безстрашна была она во все время осады, принося пищу осажденнымъ къ засѣкѣ, и не могъ понять, почему вдругъ пріуныла она.

— Что съ тобой приключилось, пташка моя, голубка моя, лебедка бѣлоснѣжная? — ласково спросилъ Алексѣй жену.

— Я сама въ толкъ не возьму, Алешенька, а только тошно мнѣ, дружочекъ, такъ то тошно,—тихимъ, упавшимъ голосомъ отвѣчала Таня.—Добро бы недужилось, аль сонъ какой худой видала... Ништо... А вотъ сосетъ мою душу штой-то... И чудится, быдто кто толкаетъ уйти отселѣ, а кто и зачѣмъ не вѣдаю...

— Пустое все,—усмѣхнулся Алеша,—просто соскучилась ты по своимъ кровнымъ... Дай срокъ, поймаемъ

Кучумку, и тотчасъ же съ тобой въ Сольвычегодскъ у атамана отпрошусь... Только улыбнись, моя лапушка, повѣй краснымъ солнышкомъ на меня,—ласково заключилъ онъ.

Улыбнулась Танюша. Прижалась къ молодой, сильной груди мужа и замерла счастливая на этой груди.

Быстрые шаги, приближавшіеся къ нимъ, точно разбудили обоихъ, и оба очнулись отъ своего сладкаго сна. Таня подняла голову, взглянула и тихо вскрикнула.

Передъ ней стояло какое-то подобіе человѣка со сплошной и страшной зіяющей раной вмѣсто лица. Одни маленькіе глазки были видны въ узкихъ щелкахъ, образовавшихся между бурыми припухлостями лба и щекъ.

— Што ты, лапушка... Аль Байбакты испужалась?.. Нешто не узнала?.. Нашъ вѣдь это мирный казаченокъ, врагъ Кучумки, атаману вѣрный слуга... — успокаивалъ жену Алеша.

Но не испугалась Байбакты Таня. Она нерѣдко видала шмыгающаго по городку - острогу предавшагося Ермаку татарина и привыкла и къ обезображенному его лицу. Но сейчасъ она была далеко отъ этого страшнаго лица, далеко отъ этихъ маленькихъ глазъ, странно напоминающихъ ей чьи-то другіе глаза, чьи— она не могла припомнить.

А страшный татарченокъ говорилъ между тѣмъ, съ трудомъ выговаривая русскія слова:

— Ступай къ князю - вождю, князь - бачка. Скажи атаману-батырю, пришелъ татаринъ изъ улуса, баитъ, бухарскіе купцы пришли съ тартой, за улусомъ стоятъ караваномъ, ладятъ сюда, къ Искеру пробраться, а Кучумъ ихъ не пущаетъ... Бухарцы у атамана-батыря помощи просятъ, буде его милость, Кучумку бы прогналъ и гостей бухарскихъ къ Искеру провелъ съ товаромъ...—съ трудомъ произноситъ свою рѣчь Байбакта.

— Бухарцевъ, говоришь, Кучумъ къ Искеру не

пущаетъ?!—весь вздрогнувъ отъ неожиданности вскричалъ Алексѣй.

— Такъ, князь-бачка, такъ...

— Да гдѣ же Кучумъ-то?

— Тута, близехонько, за улусомъ, бачка.

— За улусомъ? И ты не сказалъ про то допрежь всего?!—внѣ себя отъ восторга воскликнулъ князь.—Да вѣдаешь ли ты, Байбакта, што за такія вѣсти озолотитъ тебя князь Сибирскій!.. Вѣдь онъ спитъ и видитъ Кучума полонить... Великимъ жалованіемъ пожалуетъ тебя Ермакъ, коли проведешь насъ къ нему въ улусъ... Награда тебѣ великая будетъ...

— Проведу, бачка. А награды мнѣ не треба, окромя головы...

Чьей головы такъ и не докончилъ Байбакта. Только маленькіе глазки его сильнѣе засверкали змѣинымъ огнемъ. И опять эти змѣиные глазки испугали Таню.

«Вишь, какъ ненавистенъ ему Кучумка! Небось, не забудетъ ему лиха своего!» мелькнуло вихремъ въ ея красивой головкѣ, и снова упорная, неоднократно являвшаяся къ ней мысль пронизала ея мозгъ:

«Гдѣ-жъ это видала я мальца?»

Алексѣй между тѣмъ, весь радостный, говорилъ снова:

— Сейчасъ бѣгу къ атаману съ вѣсточкой радостной... Пожди, парень, и на твоей улицѣ праздникъ будетъ... Большой награды ты стóишь за муки твои... Ишь, на горе тебѣ испортилъ обличье Кучумъ... Ну, да ладно, золотомъ засыплетъ за твою вѣсть тебя атаманъ... Все горе, какъ рукой, сниметъ...

И опрометью кинулся въ острогъ сообщить важную, радостную новость Ермаку.

Байбакта и Таня остались одни.

Желая приласкать и порадовать несчастнаго, жестоко обиженнаго, юношу, она проговорила:

— Вотъ пожди, наградитъ тебя Ермакъ Тимофеичъ, малецъ, одаритъ казной и землею. Богатымъ будешь, Байбакта. Страсть богатымъ, какъ самъ Карача.

— Ничего не надо Байбактѣ, госпожа... Все, что было у Байбакты, все отняли...—глухо произнесъ татаринъ.

— Кто отнялъ? Кучумъ?

— Кучумъ, госпожа...—и снова сверкнули на Таню маленькіе, какъ у змѣи, глазки.

Вихремъ промчалась быстрая мысль въ мозгу Байбакты:

«Што, ежели сейчасъ убить ее однимъ взмахомъ ножа, который затаенъ у пояса подъ широкой кожаной добавой» [1].

И небольшая, но сильная желтая рука сжала незамѣтно рукоятку незримаго оружія.

Но тотчасъ же новая мысль заслонила первую.

«Не время еще... Не уйдетъ и эта... — злорадно мысленно говорила Алызга.—Великій Уртъ-Игэ требуетъ иной, бо̀льшей жертвы сейчасъ. Нечего захлопывать синицу въ силки, когда орелъ гуляетъ на свободѣ».

И снова засверкали ея маленькіе, но страшные глаза.

Жутко стало Танюшѣ наединѣ съ обезображеннымъ, непонятнымъ ей, существомъ, хотя она не догадывалась, кто скрывается подъ этимъ страшнымъ обличьемъ, и чѣмъ полна почернѣвшая отъ жажды мести душа этого существа.

Постоявъ немного, Таня поспѣшила въ городъ, за валъ, гдѣ уже кипѣла новая суета и жизнь.

Пятьдесятъ смѣлыхъ, надежныхъ товарищей-казаковъ отобралъ себѣ Ермакъ для поимки Кучума. Взялъ и князя Алексѣя съ собою и другихъ вѣрныхъ дружинниковъ своихъ.

[1] Курткой.

Ударили въ било на площади. Наскоро собрали кругъ.

— Идемъ, братцы, на поимку Кучумки! — весело и радостно сверкая глазами отъ одной мысли исполненія своей завѣтной мечты говорилъ Ермакъ. — Тебѣ, Мещеря, Сибирь поручаю... Ворота накрѣпко заприте... Не дай Богъ пронюхаютъ поганые, што ушелъ атаманъ, придутъ, такъ встрѣть поладнѣе гостей желанныхъ.

— Встрѣчу, атаманъ!

— Взялъ бы и тебя съ охотой, Матюша, да вишь, острогъ не съ кѣмъ оставить... Ну, да ладно. Отъ скуки не помрешь, а къ ночи назадъ будемъ и съ Кучумкой плѣннымъ. Это ужъ навѣрняка, — весело и убѣжденно слово за словомъ ронялъ князь Сибирскій.

— А теперь, братцы, за мною! — и первый вскочилъ на коня, осѣдланнаго предупредительной казацкой рукой.

Широко распахнулись ворота крѣпости, вылетѣлъ изъ нихъ маленькій отрядъ. Байбакта ѣхалъ впереди, указывая дорогу. Поскакали прямехонько на сосѣдній улусъ. Но тамъ не оказалось ни Кучума, ни бухарскихъ купцовъ.

— Видно, вдоль Иртыша пошли... — разсуждалъ проводникъ Байбакта.

Вернулись обратно. Оставили коней въ крѣпости. Сѣли въ струги и поплыли вверхъ по Иртышу, прямо въ Вогаю.

Между тѣмъ хлынулъ дождь, гроза разразилась. Ненадолго, однако. Разогналъ тучи буйный, свирѣпый вѣтеръ, всклокоталъ воды Иртыша, запѣнилъ потемнѣвшую муть рѣки. Дневного зноя какъ не бывало. Вѣтеръ все крѣпчалъ и крѣпчалъ. Казаки выбились изъ силъ грести противъ теченія.

— Да гдѣ же Кучумка-то? Ночь, поди, скоро, а онъ

словно сквозь землю провалился, — недовольными голосами роптали въ стругахъ казаки.

— Погребемъ еще, братцы, немного, да и буде... Не найти въ эту непогодь все едино поганыхъ... Домой надоть вертаться... Ну, довольно, поворачивай вспять... Утро вечера мудренѣе... Ужо на зарѣ, при свѣтѣ, легче будетъ доглядѣть татаръ... — и Ермакъ, взявъ весло у кормчаго, первый повернулъ ладью.

Опять загудѣлъ, засвистѣлъ вѣтеръ, опять забурлила рѣка. Черныя волны, серебрясь пѣною, какъ грозные, старые духи сѣдиною, метались и бились вокругъ челновъ.

Бурлила взбѣшенная непогодой рѣка. Еще больше притомились казаки. Нѣтъ мочи грести далѣе. Весла повыпали изъ рукъ.

— Неча даромъ такъ-то биться, причаливай къ островку, робя... Небось, отдохнемъ за ночь. Утромъ снова въ путь,—скомандовалъ Ермакъ.

Чернымъ мохнатымъ чудищемъ выплыло что-то изъ мрака.

— Это Вогайскій островокъ... Кругомъ вода, до берегу далече... Будемъ какъ у Христа за пазушкой здѣся, никто изъ татаръ и не провѣдаетъ о насъ до утра. И сторожей ставить неча... — ободреннымъ голосомъ, предчувствуя скорый ночлегъ, а съ нимъ и отдыхъ до самаго утра, говорили казаки.

Бодро выскочили они изъ струговъ и, не раскидывая костра, не поставивъ обычной стражи, уснули какъ убитые. Уснулъ и Ермакъ, уснулъ и Алеша, князь Серебряный-Оболенскій подлѣ своего начальника и друга.

Дивные сны снились въ ту ночь Ермаку: будто не князь онъ Сибирскій, не атаманъ бывшій разбойничій, а царь могучій всей широкой, многолюдной православной Руси... Сидитъ онъ на тронѣ въ дворцѣ Кремлевскомъ, золотой вѣнецъ царскій на немъ... И кланяется

ему народъ и чествуетъ его... А за окнами дворца колокола гудятъ, толпы бушуютъ...

Сладокъ и крѣпокъ сонъ Ермака. И не чуетъ онъ грозной дѣйствительности, что повисла надъ его головою.

Попрежнему бушуютъ грозныя воды Иртыша. Попрежнему гуляетъ по нимъ буйный вѣтеръ и гонитъ ихъ вправо и влѣво какъ безпорядочное, покорное стадо овецъ.

Храпятъ богатырскимъ сномъ казаки. Утомились, видно, сильно за день.

Но вотъ изъ ихъ числа поднимается съ земли темная фигура и неслышно сползаетъ по берегу, къ самой водѣ... Вскочила въ челнъ, оттолкнулась отъ берега и загребла съ усиліемъ веслами въ темнотѣ ночи. На противоположномъ берегу выскочила изъ челна и, приложивъ руку къ губамъ, издала рѣзкій, пронзительный свистъ. Въ тотъ же мигъ словно ожилъ утесистый берегъ... Закопошились черныя фигуры въ темнотѣ ночи.

— Ты, Алызга?.. — послышался голосъ изъ-подъ навѣса шатра, скрытаго подъ утесомъ въ кустахъ осоки.

— Я, повелитель, — отвѣчала вновь прибывшая, — они всѣ спятъ тамъ, на островкѣ, мертвымъ сномъ... Самъ Великій Сорне-Туромъ не разбудитъ ихъ своимъ приходомъ... Ты вѣрно напалъ на слѣдъ ихъ, могучій ханъ...

— Ты помогла мнѣ, Алызга, и ханъ Кучумъ наградитъ тебя за это въ лучшія времена. Ты хорошо исполнила выдумку съ бухарскими купцами, хорошо заманила кяфыровъ подъ наши ножи... Враги въ нашихъ рукахъ... Никому изъ нихъ не будетъ пощады...—говорилъ старческій голосъ.

— Таузакъ!.. — крикнулъ вслѣдъ затѣмъ ханъ, и изъ толпы копошившихся въ темнотѣ татаръ вынырнула сильная, рослая фигура князя.

— Доплыви къ островку и принеси мнѣ оттуда

Ермакъ выхватилъ саблю...

какую-нибудь вещь, чтобы я зналъ навѣрное о непробудномъ снѣ кяфыровъ.

— Слушаю, повелитель.

И вмѣстѣ съ конемъ ринулся молодой киргизъ въ бушующія волны Иртыша.

Онъ вскорѣ явился обратно съ добычей. Три пищали и три пороховницы унесъ онъ изъ-подъ бока спавшихъ казаковъ.

— Самъ Аллахъ посылаетъ намъ милость! — вскричалъ обезумѣвшій отъ радости Кучумъ.

— Впередъ, мои батыри-воины! Во славу Аллаха и пророка и свободной родины идите на кяфыровъ, не медля, сейчасъ! — не громкимъ, но сильнымъ голосомъ произнесъ слѣпой ханъ.

И какъ ночныя гіены, быстро и безшумно, скользнули татары по крутому берегу внизъ, прямо навстрѣчу бурнымъ, клокочущимъ волнамъ.

Безстрашно ринулись въ черную воду они и поплыли прямо къ островку, гдѣ спали нечуявшіе смертельной опасности казаки.

Кучумъ со свитой остался ожидать исхода предпріятія.

. . . . . .

Казаки спали.

Спалъ Ермакъ. Тотъ же сладкій сонъ ему снится. Народъ, ликуя и шумя, привѣтствуетъ его. Или то не народъ шумитъ, а разгулявшіяся волны Иртыша отъ непогоды?.. Или еще что другое?..

Смутно, сквозь сонъ, чудится ему не то лязгъ сабли, не то хриплый стонъ, не то заглушенный, чуть внятный призывъ какой-то... Вотъ крикнулъ кто-то совсѣмъ близко отъ него... Проснулся Ермакъ... Протеръ глаза... Смотритъ... Видимо-невидимо копошится народу на островкѣ... Татарская рѣчь, крики, стоны...

— Сюда, товарищи!.. Ко мнѣ!.. — не своимъ голосомъ вскричалъ князь Сибирскій.

Но никто изъ казаковъ не откликнулся на призывъ атамана. Всѣ, почти до единаго, лежали зарѣзанные подъ ножами Кучумовыхъ воиновъ казаки.

Одинъ только голосъ отозвался въ темнотѣ ночи:

— Иду къ тебѣ, атаманъ!.. Иду!..

Это былъ голосъ любимца Ермакова, князя Алексѣя.

Едва успѣлъ сообразить что-либо Ермакъ, какъ нѣсколько человѣкъ татаръ ринулись къ нему. Онъ выхватилъ саблю и, размахивая вправо и влѣво, сталъ отступать къ водѣ, къ челнамъ, гдѣ смутно чудилось ему спасеніе.

— Здѣся я!.. За мною!.. Къ рѣкѣ спѣши!.. — послалъ онъ хриплымъ голосомъ въ темноту, надѣясь, что казаки-товарищи еще услышатъ его.

И снова отбивалъ удары, разя враговъ направо и налѣво. Нѣсколько труповъ уже устилали его путь... Не помня себя замахнулся онъ на двухъ послѣднихъ и, снявъ голову саблей съ одного, поразивъ чеканомъ другого, ринулся къ челнамъ. Но ихъ словно и не бывало у островка. Предусмотрительные татары перерѣзали веревки и пустили ладьи внизъ по рѣкѣ, чтобы отрѣзать путь отступающимъ.

Тогда, не раздумывая долго, Ермакъ крикнулъ:

— Кто живъ, за мною!

И погрузившись въ темныя, быстрыя воды Иртыша, поплылъ къ берегу, отчаянно борясь съ разсвирѣпѣвшею стихіей.

Со страшнымъ рокотомъ подхватили его волны, пѣною и брызгами обдавая его.

«Къ берегу... тамъ жизнь... спасеніе»... — мелькало зарницей въ его охваченной ужасомъ головѣ...

Но силы его слабѣли съ каждой минутой. Буйный Иртышъ, единственный кто могъ состязаться съ героемъ, теперь одолѣвалъ его. Тяжелая броня, панцырь

съ изображеніемъ орла — драгоцѣнный подарокъ Іоанновъ, — замедляла его движеніе, затрудняла плаваніе. Ермакъ и самъ почуялъ теперь, что стихія сильнѣе его, что Иртышъ одолѣлъ человѣка, что не въ силахъ онъ болѣе бороться съ обезумѣвшей въ своей дикой оргіи рѣкою. Понялъ это сразу и сразу замеръ, переставъ работать, съ помутившимся взоромъ, съ потускнѣвшимъ сознаніемъ въ головѣ.

«Народное спасибо... Прощеніе... Почести... Слава... Все кончено... Прости на-вѣки, людъ православный»... вихремъ пролетѣла послѣдняя сознательная мысль въ его помутившемся мозгу.

И камнемъ пошелъ ко дну великій покоритель Кучумова царства...

ГЛАВА IX.

Роковая вѣсть. — Кровь за кровь. — Въ даръ Уртъ-Игэ.

БЛѢДНЫЙ разсвѣтъ, смѣнившій черный мракъ густой, ненастной августовской ночи, освѣтилъ груду мертвыхъ тѣлъ, оставшихся на островѣ.

Освѣтилъ онъ и новый городъ Сибирь, еще не пробудившійся отъ сна.

Мещерякъ спалъ сладкимъ предутреннимъ сномъ, когда шумъ и говоръ подъ окнами разбудили молодого есаула.

— Вставай, Матюша, штой-то случилось у насъ... Наши на площадь бѣгутъ...—говорила мужу взволнованная Агаша.

Въ тотъ же мигъ ударило на площади гулкое било и печальнымъ, зловѣщимъ звономъ понесся призывной его звукъ.

Не помня себя, кинулся Мещерякъ на площадь, чуя инстинктомъ страшную бѣду.

Кто-то, окровавленный, въ рваномъ кафтанѣ, съ блуждающимъ взоромъ, стоялъ у била, изо всѣхъ силъ ударяя въ него.

— Ты, Алексѣй?.. Гдѣ же наши?.. Гдѣ атаманъ?..— срывалось съ трепещущихъ губъ Мещеряка.

Дѣйствительно, это былъ князь Алексѣй, изорванный, окровавленный, сине-блѣдный, какъ выходецъ съ того свѣта.

— Убиты товарищи!.. Пропалъ безъ вѣсти атаманъ!.. Я одинъ живъ остался!.. — мучительнымъ стономъ вырывалось изъ груди юноши. — Собирай кругъ, Мещерякъ... Пущай узнаютъ постигшее лихо всѣ наши...

Но кругъ не пришлось собирать. Уже по первому удару била высыпали на площадь остатки дружины.

Роковая вѣсть страшнымъ налетнымъ вихремъ обнесла весь городъ. Рыданіе и плачъ огласили его. Въ числѣ другихъ прибѣжала сюда же княгиня Татьяна Григорьевна, полуодѣтая, испуганная и безъ словъ, въ ужасѣ замерла на рукахъ мужа.

Едва только собравшись съ силами, Алексѣй долженъ былъ повѣдать всю страшную истину сибирцамъ,— какъ искали они, очевидно, проведенные вѣстовщикомъ-татариномъ, Кучума, какъ, притомившись, уснули, какъ онъ, Алексѣй, бѣжалъ пѣшимъ сюда десятки верстъ, раненый, окровавленный, въ изорванной одеждѣ, весь охваченный тяжелымъ, смертельно мучительнымъ гнетомъ потери, какъ гибли товарищи.

— Ну, а гдѣ атаманъ? Гдѣ князь Сибирскій?—въ отчаяніи и смятеніи спрашивали казаки.

Но Алеша не могъ отвѣтить, онъ не видѣлъ гибели Ермака.

— Братцы, на конь!... На конь!.. Поскачемъ искать атамана!..—внезапно нарушилъ грозную тишину звучный голосъ Мещеряка.

И все ожило и закипѣло. Новая надежда окрылила сердца.

— Скачемъ, братцы, на поиски атамана!—повторяло эхо кругомъ.

— Стой, ребята. Инъ, кто-то мчится по степи... Може вѣсти какія несетъ...

И князь Алексѣй, отличавшійся особой зоркостью зрѣнія, впился глазами въ даль. Клубъ пыли вился по ней. Какой-то конникъ спѣшилъ къ крѣпости. Вотъ онъ ближе, ближе. Теперь уже можно различить и всадника, и коня.

— Да это Байбакта!—крикнуло нѣсколько голосовъ заразъ.

— И впрямь Байбакта.

На мгновеніе онъ пропалъ за высокимъ заметомъ и вынырнулъ снова. Вотъ влетѣлъ, какъ угорѣлый, на площадь, врѣзался въ толпу, спѣшился съ коня.

Его зіяющее раной лицо было страшнѣе прежняго. Оно все подергивалось судорогой, все дрожало. Маленькіе, юркіе глазки сыпали молніи.

— Сибирцы,—закричалъ онъ звонкимъ женскимъ голосомъ, и никто не узналъ теперь прежнихъ глухихъ звуковъ голоса Байбакты, — я принесъ вамъ страшную вѣсть... Слушайте всѣ...

Его обступили въ минуту. Блѣдныя, встревоженныя лица затѣснились кругомъ.

— Говори, говори,—кричали казаки.

— Русскіе, нѣтъ болѣ князя вашего... Погибъ атаманъ... Въ Иртышѣ потонулъ... Померъ...—вырвалось дикимъ, страннымъ звукомъ изъ груди вновь прибывшаго.

Толпа замерла на минуту. Потомъ не то стонъ, не то вопль огласилъ площадь.

— Да лжетъ онъ все... Не вѣрь ему, братцы... Допроси хорошенько...—неожиданно, дрогнувшимъ отъ волненія голосомъ прокричалъ кто-то.

— Байбакта не лжетъ...—дико, совсѣмъ уже по-женски взвизгнулъ вѣстникъ,—не лжетъ Байбакта... Самъ видалъ, какъ боролся атаманъ съ волнами Иртыша, какъ

бился и звалъ на помощь и какъ скрылся потомъ въ темныя жилища Хала-Турма... Кяфыры, слушайте: нѣтъ болѣ атамана, нѣтъ есаула, нѣтъ лучшихъ вашихъ товарищей-воевъ!.. Мертвые они лежатъ подъ могучею пятою Уртъ-Игэ... Прошла ваша радость, кяфыры проклятые!.. Сорне-Туромъ не за васъ... Придетъ Кучумъ, нашъ ханъ и повелитель, возьметъ обратно Искеръ и перебьетъ и васъ, собаки... Кровь за кровь... Великъ могучій Сорне-Туромъ...

И Байбакта залился громкимъ, насмѣшливымъ, дьявольскимъ хохотомъ. Багровыя раны на лицѣ его налились кровью, глаза выползли изъ орбитъ, пѣна проступила у рта.

Отъ быстраго движенія упала съ головы его высокая, остроконечная шапка, и длинные, изжелта темные, прямые волосы разсыпались вдоль плечъ и спины.

— Да это баба, братцы! — одиноко прозвучалъ чей-то изумленный возгласъ.

— Это Алызга! — покрывъ его, прозвенѣлъ вопль испуга княгини Тани, внезапно, по голосу и волосамъ узнавшей свою бывшую полонянку.

— Хватай ее! Измѣна, братцы!.. — крикнулъ первый, опомнившись, Мещерякъ и ринулся къ Алызгѣ.

Но та быстрѣе молніи отскочила назадъ, выхватила короткій, острый ножъ изъ-за пояса и, размахивая имъ надъ головою, крикнула во весь голосъ:

— Смерть и проклятіе кяфырамъ!.. Погибъ собака-Ермакъ!.. Могучъ ханъ Кучумъ во славу свѣтлаго духа!..

Ножъ замелькалъ въ ея рукахъ быстрѣе и, прежде нежели кто успѣлъ остановить ее, она очутилась въ двухъ шагахъ отъ Тани.

— Кровь за кровь!.. Умеръ Имзега—умри и ты!— дико вскрикнула обезумѣвшая остячка и внезапнымъ взмахомъ руки занесла свой ножъ надъ головою молодой женщины.

Сильными руками схватилъ ее сзади за локти вовремя подоспѣвшій къ женѣ Алексѣй.

Какъ змѣя завертѣлась въ его рукахъ Алызга. Ножъ выпалъ у нея изъ рукъ, выбитый чьимъ-то ударомъ. Два казака съ веревками уже спѣшили къ ней, но она изогнулась въ три погибели, метнулась, сильнымъ толчкомъ отбросила державшаго ее князя Алексѣя и, быстрѣе молніи, помчалась къ воротамъ Искера.

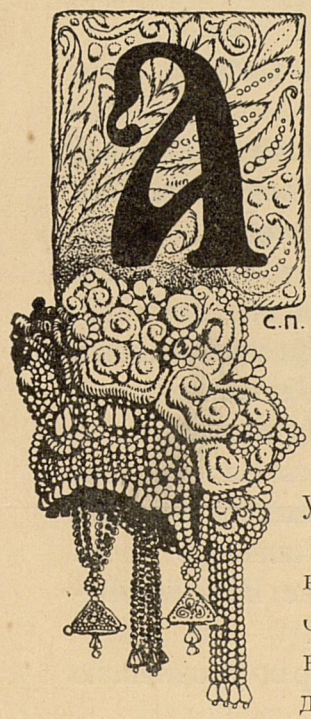
Казаки кинулись за нею. Но Алызга летѣла, едва трогая землю ступнями ногъ. Безуміе, казалось, придавало ей силу и скорость. Вотъ остался далеко позади Искеръ и погоня. Вотъ уже вблизи сверкаетъ темными струями Иртышъ. Съ быстротой дикой лошади взлетѣла Алызга на высокій утесъ праваго берега, повисшій надъ рѣкою и на минуту остановилась, какъ вкопанная, устремивъ въ пучину рѣки блуждающій взглядъ и громко произнесла:

— Огевій убитъ... Имзега тоже... Старый отецъ погибъ подъ Назымомъ... Проклятіе кяфырамъ и радость Кучуму... Отомщеніе покорителямъ-злодѣямъ Искера... Великій Сорне-Туромъ... я, слабая женщина, сдѣлала, что могла... Радуйся, Ханджаръ, царевна души моей... Радуйтесь и вы, милыя тѣни Хала-Турма... Смѣни и ты гнѣвъ на милость, великій и грозный Уртъ-Игэ... Алызга дерзнула отнять жертву у великаго... Алызга искупитъ все... Прими новую жертву и смилуйся надъ нею, великій Уртъ-Игэ... И ты, могучій Унотонъ—духъ рѣкъ и лѣсовъ...

И, закончивъ свою рѣчь глухимъ, почти сиплымъ крикомъ, Алызга широко взмахнула руками и прыгнула внизъ, прямо въ холодныя, жуткія воды Иртыша.

ГЛАВА X.

Тайна Ишимской степи. — Послѣдніе дни Кучума.—Ханджаръ.



тотъ, кого оплакивали горькими слезами въ стѣнахъ Искера, приплылъ мертвый 13-го августа 1584 года къ Епанчинскимъ юртамъ. Внукъ князя Бегиша, татаринъ Янишъ, первый увидѣлъ утопленника, закидывая сѣть. Увидѣлъ золотой орелъ на кольчугѣ и латахъ и, рѣшивъ, что не простой мертвецъ-казакъ передъ нимъ, далъ знать о немъ Кучуму.

Велика была радость хана, когда окружающая его свита признала въ утопленникѣ ихъ злѣйшаго врага Ермака.

Быстро облетѣла Сибирскія степи крылатая вѣсть. Князья татарскіе и остяцкіе съѣхались поглядѣть на мертваго врага. Его тѣло положили на рундукъ [1], и цѣлыхъ пять дней стрѣляли въ

[1] Возвышенная площадка.

него изъ луковъ озвѣрѣвшіе отъ охватившей ихъ жажды мщенія воины Кучума. Потомъ зарыли гдѣ-то за улусомъ, въ степи, обобравъ до-гола мертвое тѣло, и стали дѣлить доспѣхи. Одному отдали кольчугу, другому кафтанъ, а саблю съ поясомъ—мурзѣ Карачѣ, одному изъ злѣйшихъ ненавистниковъ покойнаго Сибирскаго князя.

Послѣ гибели Ермака осталось только 150 человѣкъ казаковъ въ Сибири, вмѣстѣ съ присланными московскими стрѣльцами.

Горько оплакавъ смерть своего князя-вождя, они по обычаю собрали кругъ и выбрали атаманомъ Матвѣя Мещеряка. На этомъ же кругу рѣшили, что оставаться имъ въ Сибири теперь невозможно. Мирные татары и остяки, провѣдавъ о ихъ малочисленности, возстали снова и грозили со всѣхъ сторонъ засѣвшей въ острогѣ горсточкѣ храбрецовъ. Къ тому же Кучумъ, собравъ новыя силы, двигался по пути къ Искеру.

И вотъ 15-го августа казаки оставили Сибирь, сѣли въ струги и поплыли вверхъ по Тоболу.

А въ опустѣвшій Искеръ вошелъ Кучумъ со своею ратью. Но недолго поханствовалъ слѣпой ханъ въ отнятой столицѣ. Пришелъ снова князь Сейдакъ, отецъ котораго былъ убитъ Кучумомъ, и отнялъ престолъ и города у Кучума, выгнавъ послѣдняго изъ его столицы.

Между тѣмъ умеръ Іоаннъ Грозный. На московскомъ престолѣ воцарился его сынъ Ѳеодоръ Іоанновичъ.

До новаго, молодого царя еще не дошла вѣсть о гибели Ермака, но зная о голодѣ, морѣ и малочисленности казаковъ въ Сибири, онъ послалъ имъ на помощь новый отрядъ стрѣльцовъ, вручивъ начальство надъ ними воеводѣ Ивану Мансурову, а позднѣе Василію Сукину, Ивану Мясному и Данилѣ Чулкову.

Мансуровъ встрѣтилъ на рѣкѣ Турѣ уходившую изъ Сибири дружину Мещеряка.

Горсть храбрецовъ-покорителей снова ожила ду-

хомъ. Они соединились съ царскимъ отрядомъ и вернулись къ устью Тобола, чтобы взять у татаръ обратно Искеръ, гдѣ ханствовалъ молодой, смѣлый и энергичный князь Сейдакъ, изгнавшій Кучума.

Увидя, что имъ не легко справиться съ Сейдакомъ, отрядъ рѣшилъ выстроить деревянную крѣпость при впаденіи въ Обь Иртыша и заперся въ ней, поджидая на помощь себѣ другіе царскіе отряды.

Остяки окружили было эту крѣпость, захвативъ съ собою своего Бѣлогорскаго идола въ твердомъ убѣжденіи, что онъ поможетъ имъ побѣдить русскихъ, но пушечный выстрѣлъ расщепилъ остяцкаго кумира во время всеобщей молитвы, и остяки въ ужасѣ разбѣжались, отказавшись отъ приступа на крѣпость.

Между тѣмъ другіе воеводы царскіе, Сукинъ и Мясной, на берегу Туры основали городъ Тюмень, вмѣсто прежняго татарскаго улуса Чингія, а воевода Чулковъ заложилъ въ 1587 году городъ Тобольскъ, неподалеку отъ древняго Искера. Въ томъ же году въ Тобольскѣ была выстроена и первая христіанская церковь.

Чулковъ же, соединившись съ воеводой Мансуровымъ и атаманомъ Мещерякомъ, осадилъ Искеръ и сдѣлалъ приступъ. Въ упорной битвѣ былъ раненъ и взятъ въ плѣнъ юный Сейдакъ. Но одновременно погибъ подъ стѣнами Искера и послѣдній атаманъ, сподвижникъ Ермака—Матвѣй Мещерякъ.

Отбитый Искеръ, однако, не привлекалъ болѣе русскихъ, и они оставили его, населивъ Тобольскъ, новую столицу Сибирскаго царства.

А Кучумъ все держался въ Ишимской степи. Подкрѣпляемый постоянно новыми шайками киргизовъ и ногаевъ, онъ ураганомъ носился по берегамъ Тобола, жегъ русскія селенія, уводилъ жителей въ плѣнъ.

Наконецъ, воеводѣ Кольцову-Масальскому удалось въ 1591 году истребить конницу Кучума и схватить но-

слѣднихъ его женъ и сыновей въ плѣнъ. Самъ Кучумъ успѣлъ и этотъ разъ бѣжать.

Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ предлагалъ Кучуму богатое жалованіе, милости, города и селенія въ Россіи, оставляя его съ титуломъ хана Сибирскаго и только требуя изъявленія покорности съ его стороны, его переселенія въ Москву, всячески суля ему свои царскія ласки. И жены съ сыновьями, московскіе плѣнники, склоняли къ тому же хана, посылая сказать, что имъ хорошо и привольно въ Москвѣ,—но упрямый ханъ оставался все тѣмъ же непоколебимымъ и гордымъ. Онъ послалъ отвѣтъ царю:

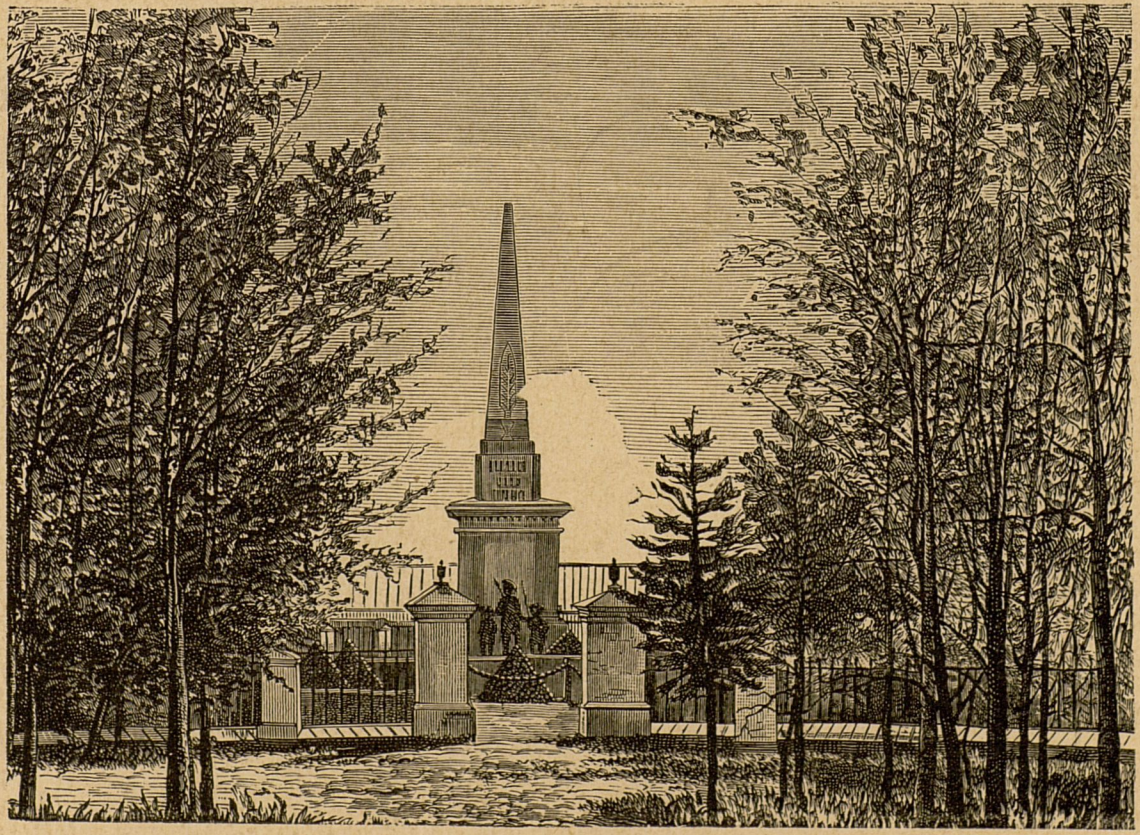
— Ермакъ взялъ силой мое ханство, однако не покорилъ меня... Не хочу войны съ Русью, но требую берега Иртыша въ свое владѣніе... Свободнымъ жилъ—свободнымъ и умру...

. . . . . .

Ночь, таинственная, чарующая лѣтняя ночь—задумчивое продолженіе дня, безъ густой темноты, съ голубоватыми отсвѣтами, ровными и прозрачными... Глухо поплескиваетъ обычно тинистый, мутный, безобразный Ишимъ, теперь весь серебристо-млечный и хрустальный... Полный мѣсяцъ глядится въ его серебряныя ночью воды, и расплавленнымъ металломъ кажутся онѣ. Голубоватый призракъ стоитъ надъ степью... Можно различить ландышъ, стройный и невинный, подъ налетной дымкою матовой голубизны бѣлой весенней ночи... Онъ кажется фарфоровымъ и хрупкимъ, такой нѣжный, такой воздушный, словно весь вылитый изъ сказки и мечты.

Тотъ же отблескъ мечты, таинственности и сказки какъ бѣлую невѣсту нарядилъ во что-то голубовато-нѣжное, дымчатое и прозрачное степь.

Пахнутъ одуряющія дикія розы и гвоздика. Ихъ сладкій, острый запахъ повисъ надъ серебрянымъ маревомъ степей.



Памятникъ Ермаку въ Тобольскѣ.

РИСУНОКЪ В. ШПАКА.

Подъ прикрытіемъ крошечной рощицы стоитъ кибитка. Лошади распряжены и пасутся на травѣ. Подъ навѣсомъ кибитки, на грудѣ кошмъ сидитъ Кучумъ, блѣдный, сгорбленный, одряхлѣвшій. Дорого обошлись его послѣднія скитанія по степи обезсиленному, измученному, всѣми покинутому старику. Дорого обошлись. Одинъ Аллахъ вѣдаетъ это.

Изъ его воиновъ часть передалась Сейдаку, прогнавшему его изъ ханской столицы, часть проклятымъ кяфырамъ, отнявшимъ у него вѣнецъ, родину и семью.

Вѣнецъ... родину... семью...

Но не честь!.. Нѣтъ, не честь!.. Во имя Аллы онъ остался тѣмъ же гордымъ степнымъ орломъ на волѣ и такимъ и умретъ. Пусть затравили его какъ волка кяфыры, — онъ еще слишкомъ силенъ и гордъ, чтобы сумѣть умереть на свободѣ. И не совсѣмъ еще одинокъ онъ, бѣдный, обездоленный слѣпецъ. Съ нимъ его Ханджаръ, его дочь-царевна. Она неустанно бродитъ съ нимъ всюду. И когда Сейдакъ, плѣненный ея красотою, силой оставлялъ ее въ Искерѣ, суля ей свою любовь, почести и богатства, она тайкомъ бѣжала за своимъ изгнанникомъ-отцомъ. Ея братья, мачихи и сестры пользуются довольствомъ, роскошью и ласками бѣлаго хана, ей предлагали тоже, но она вольная степная чайка, Ханджаръ, она дитя свободной Сибирской степи, она дочь своего отца. У нихъ обоихъ словно бьется одно могучее сердце въ груди. Нѣтъ, или свобода, или смерть—вотъ главный девизъ царевны Ханджаръ...

Прошло болѣе десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ она, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, носилась въ лихой байгѣ. Но попрежнему, какъ степь Ишима или, вѣрнѣе, какъ эта хрустальная весенняя ночь, прекрасна Ханджаръ. Если бы могъ видѣть слѣпой старикъ-отецъ это трогательно-измученное за него душевными муками

личико, эти огромные черные, сверкающіе какъ алмазы, глаза, горящіе безумной, ненасытной любовью къ родинѣ и свободѣ, эти, безъ признака румянца, матовыя щечки, эти скорбно сжатыя гордыя уста!..

Она присѣла у ногъ отца. Черныя косы упали ей на грудь и плечи и траурной фатою покрыли гибкій, попрежнему стройный станъ. За поясомъ Ханджаръ заткнутъ ножъ—послѣдній подарокъ отца.

— Отецъ, отецъ,—шепчетъ она съ непонятной тоской,—не горюй, не печалься, не все еще потеряно для насъ... Пускай только пройдутъ эти свѣтлыя ночи: подъ покровомъ осенней тьмы я проберусь къ русскимъ улусамъ, отецъ, кликну кличъ нашимъ воинамъ, нападу съ ними на Искеръ и верну обратно тебѣ твой тронъ, твою столицу,—говоритъ она вдохновенно, ласкаясь къ слѣпому хану.

Кучумъ словно ожилъ. Звучный голосокъ дочери нѣжнымъ, цѣлительнымъ бальзамомъ вливался ему въ душу. Но бѣдный слѣпой старикъ былъ слишкомъ дальновиденъ и уменъ, чтобы мечтать теперь о владычествѣ надъ Искеромъ.

— Солнце души моей, лазоревый свѣтъ весенней ночи, мѣсяцъ и звѣзды одинокой мглы мученій моихъ,—произнесъ онъ, кладя дрожащую руку на черную головку Ханджаръ,—все кончено для насъ съ тобою. Моя душа тоскуетъ и болитъ, что увлекъ я тебя молодую, полную жизни и силъ за собою, черноокая царевна моя...

— О, отецъ! —вскакивая на ноги и обвивая его сухую, жилистую шею, вскричала Ханджаръ,—не говори такъ, ты рвешь мнѣ сердце, отецъ... Я твоя утѣха, единое счастье старости твоей — могла ли я тебя покинуть въ твоемъ изгнаніи?..

Она прижималась къ его груди, она обнимала его, она заглядывала въ его мертвые слѣпые глаза своими молодыми, жаркими очами.

— Ханджаръ, сердце мое...—могъ только выговорить Кучумъ и сжалъ ее въ своихъ объятіяхъ. Слезы градомъ текли по его лицу.

А она уже оправилась немного и заговорила снова:

— На зарѣ приходили къ тебѣ, отецъ, ногаи и о чемъ-то говорили съ тобою. Зачѣмъ приходили они къ тебѣ, отецъ?

— Ихъ присылалъ русскій вождь, мое солнце, съ новымъ желаніемъ Бѣлаго хана... Я не хотѣлъ тебѣ говорить этого, Ханджаръ, не хотѣлъ травить тебѣ душу даромъ... Скрылъ отъ тебя... Но теперь повѣдаю тебѣ все, послѣдняя радость жизни моей. Русскій воевода отъ царя послалъ сказать Кучуму: — пускай передается русскимъ Кучумъ и первымъ лицомъ послѣ царя на Руси будетъ...

— А ты... а ты... что отвѣтилъ на это, отецъ? — чуть ли не задыхаясь отъ волненія вскричала дѣвушка.

— Развѣ солнце жизни моей не угадываетъ отвѣта своего слѣпого отца?—вопросомъ на вопросъ отвѣчалъ Кучумъ.

— Знаю, отецъ... Ты сказалъ, господинъ мой и повелитель: «Пусть у русскаго хана будутъ другіе слуги, но не царю Сибирскихъ степей пресмыкаться у трона русскаго владыки»... Такъ ли, отецъ?

— Такъ, Ханджаръ.

И оба замолкли. Наступила полная тишина. Степь и ночь притаились за пологомъ кибитки, и одна, казалось, караулила другую въ этотъ очарованный сказкою часъ.

Вдругъ чьи-то шаги послышались неподалеку. Зазвучала громкая, непринужденная татарская рѣчь.

Какъ подстрѣленная птица, заметалась Ханджаръ на подушкахъ кибитки.

— Сюда идутъ, отецъ... Это тѣ же ногаи, что были утромъ еще въ улусѣ... Сердце чуетъ, съ недобрымъ

намѣреніемъ ищутъ они насъ среди ночи... Бѣжимъ, отецъ, пока не поздно, бѣжимъ... — хватая трепещущими, похолодѣвшими руками руки отца, шептала Ханджаръ.

— Поздно, свѣтъ очей моихъ, поздно... — въ смертельной тоскѣ прошепталъ Кучумъ и выпрямился во весь ростъ, прижимая дочь къ своему сильно бьющемуся сердцу.

Выхвативъ ножъ Ханджаръ ждала. Ея огромные глаза горѣли какъ у волчицы. Какъ бѣлая лѣтняя сѣверная ночь было блѣдно ея красивое лицо.

Ждать пришлось недолго. Шаги приблизились. Голоса зазвучали опредѣленнѣе, грубѣе. Чья-то сильная рука рванула полу кибитки, и человѣкъ десять ворвалось подъ ея навѣсъ. Ножи и пики засверкали въ рукахъ убійцъ. Звѣрскія лица исказились злорадным торжествомъ...

— Не хотѣлъ ты, гордый ханъ, живымъ предстать передъ русскимъ царемъ, — закричали они, — такъ мы твое мертвое тѣло повеземъ въ Москву! — прогремѣлъ чей-то злорадный голосъ, и двое здоровыхъ ногаевъ кинулись на Кучума и въ одну минуту покончили съ безсильнымъ, слѣпымъ, дряхлымъ старикомъ.

— А тебя, царевна Ханджаръ, мы отдадимъ московскому царю въ плѣнницы! — послышался вслѣдъ затѣмъ другой голосъ.

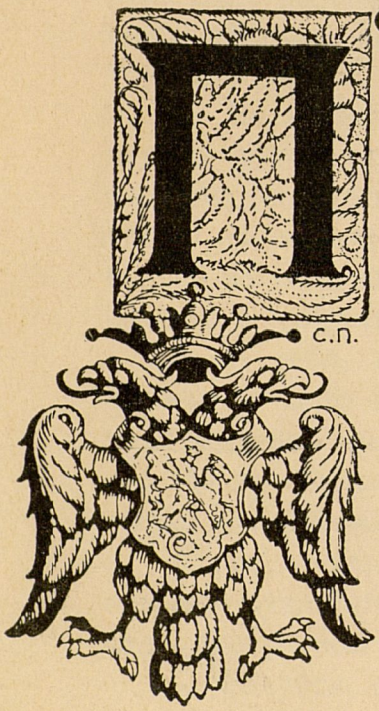
Но съ быстротою кошки бросилась впередъ Ханджаръ, размахивая своимъ ножомъ направо и налѣво.

Стонъ, вопль, проклятія наполнили кибитку. Двѣ сильныя руки схватили ее. Третья — взмахнула ножомъ надъ прекрасной блѣдной головкой.

— Радуйся, отецъ, все же свободными предстанемъ мы на судъ Аллаха!.. — успѣла крикнуть Ханджаръ и упала бездыханная къ ногамъ уже убитаго злодѣями Кучума.

Завѣтная мечта Кучума сбылась: независимымъ сыномъ вольныхъ степей умеръ могучій, гордый, влюбленный въ свою свободу и родину, послѣдній ханъ Сибирскій...

Заключеніе.



По трупамъ удалой, грозной Ермаковой дружины проложенъ былъ путь къ окончательному покоренію вольнаго сибирскаго юрта. Правда, отошелъ послѣ смерти молодца-атамана обратно въ руки татаръ покоренный Искеръ, и долго еще велась война съ Сибирью, пока, наконецъ, улусъ за улусомъ, городокъ за городкомъ, не отошелъ весь юртъ Сибирскій въ руки его покорителей—русскихъ. И много-много русской крови было пролито въ сибирскихъ тайгахъ, лѣсахъ и степяхъ, много храбрецовъ легло въ бояхъ съ татарами и другими народами прежняго Кучумова царства, раздѣляя печальную участь первыхъ завоевателей далекой окраины... Цѣлые вѣка прошли, пока, наконецъ, Сибирь стала частью русскаго государства и мощный двуглавый орелъ при-

нялъ подъ свои крылья всѣ народы Сибири, всѣ земли и богатства этого края...

Но велика была заслуга Ермака передъ всею Русью. Онъ первый, съ незначительной горстью удальцовъ-товарищей, такихъ же отчаянно смѣлыхъ и храбрыхъ орловъ Дона и Поволжья, проложилъ побѣдный путь пулями, саблями и бердышами въ далекую, чуждую и дикую Сибирь. Онъ первый рушилъ могучую ханскую власть властелина вольныхъ Сибирскихъ степей, Кучума, первый проникъ въ мраморную грудь каменнаго Урала и зажегъ въ немъ пламень первой русской власти, первое признаніе владычества удалой русской силы молодецкой.

Русское имя славой покрылъ Ермакъ. Развѣялъ, разбилъ съ 840 молодцами многія тысячи татаръ-инородцевъ этотъ былой разбойникъ...

И не мудрено, что легендарной богатырской фигурой выросъ Ермакъ въ сказаніяхъ и былинахъ русскаго народа.

Онъ народный герой. Мощью русскихъ лѣсовъ, гладью рѣкъ серебряныхъ, молодецкими звуками поволжскихъ пѣсенъ вѣетъ отъ могучей фигуры этого народнаго колосса, этого чисто русскаго богатыря.

Въ г. Тобольскѣ воздвигнутъ памятникъ Ермаку, покорителю Сибири, безсмертному герою давней русской старины, вождю грозной дружины. Но крѣпче тяжелыхъ плитъ этого памятника, тверже глыбы камня и металла, вылитаго на немъ, сдѣланъ другой. Этотъ второй памятникъ не рухнетъ съ вѣками. Онъ останется вѣчно въ сердцахъ русскаго народа. Этотъ памятникъ—любовь народная къ храбрецу-атаману, къ удалому Ермаку Тимофеевичу, пожалованному князю Сибирскому... Этотъ памятникъ—священная память о немъ и его сподвижникахъ...

Рѣдкій житель Сибири не имѣетъ въ своемъ домѣ портрета Ермака, рѣдкій житель Сибири не сумѣетъ

разсказать славную исторію подвига могучаго атамана и его грозной дружины. Сами темные урманы Сибирскіе да дремучія тайги ея повѣряютъ ту быль неустаннымъ рокотомъ своихъ могучихъ деревъ... И несетъ вѣтеръ буйный ту сказку - быль, ту правду - сказку по голубымъ и серебристымъ рѣкамъ за каменный поясъ, мимо второго великана Урала, по всей Руси могучей, вширь, вдаль, далеко, далеко...

КОНЕЦЪ

1909 г.

31409

ПРОДАЮТСЯ:

А. И. КРАСНИЦКІЙ

ПОДЪ РУССКИМЪ ЗНАМЕНЕМЪ.

Повѣсть-хроника эпохи Освободительной войны 1877—78 гг.

Со множествомъ отдѣльныхъ картинъ и иллюстрацій въ текстѣ художника Э. К. Соколовскаго и др.

Въ видѣ интереснаго описанія многочисленныхъ приключеній юнаго вольноопредѣляющагося, авторъ знакомитъ юныхъ читателей съ исторіею этой послѣдней русско-турецкой войны, съ ея выдающимися героями, съ подвигами храбрыхъ воиновъ, сражавшихся «подъ русскимъ знаменемъ». Многочисленныя иллюстраціи воспроизводятъ не только приключенія героя разсказа, но и всѣ крупныя событія русско-турецкой войны, битвы и сраженія, а также портреты главныхъ дѣятелей.

Цѣна въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, съ папочнымъ футляромъ—3 р. 50 к.

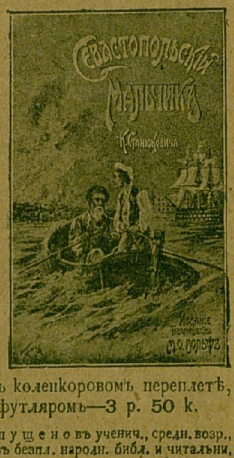
Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр. допущено въ ученическія, средняго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній М. Н. Пр. и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 16280, 25 мая 1903 г.).

К. М. СТАНЮКОВИЧЪ

СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ.

Повѣсть изъ временъ Крымской войны.

Съ отдѣльными картинами и иллюстраціями художника Э. К. Соколовскаго, со снимками съ современныхъ картинъ и портретами героевъ войны.



«Севастопольскій мальчикъ» — это исторія и приключенія одного изъ многочисленныхъ героевъ знаменитой обороны Севастополя. Повѣсть написана такъ увлекательно и интересно, что юные читатели не могутъ оторваться отъ чтенія. По своему характеру книга принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя читаются обыкновенно по нѣсколько разъ и не утрачиваютъ при этомъ своего интереса. Одно, впрочемъ, имя пользующагося популярностью автора служитъ ручательствомъ достоинства книги.

Цѣна въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, съ папочнымъ футляромъ—3 р. 50 к.

Уч. К-тоиъ М. Н. Пр. допущено въ ученич., средн. возр., библ. средн. уч. зав. и въ безпл. народн. библ. и читальни, а также для выдачи въ награду ученикамъ означеннаго возр. (Отз. Д-та Нар. Пр. № 11804, 21 мая 1904 г.).

А. И. КРАСНИЦКІЙ

БѢЛЫЙ ГЕНЕРАЛЪ

Повѣсть-хроника изъ жизни генерала М. Д. Скобелева.

Съ отдѣльными картинами и иллюстраціями худ. Э. К. Соколовскаго, съ снимками съ картинъ: В. В. Верещагина, Н. Д. Дмитріева-Оренбургскаго, А. Кившенко и др. и портретами героя.

Война ужасное дѣло, но нѣтъ народа, который не гордился-бы героями своихъ войнъ, съ сердечнымъ трепетомъ восторга не вспоминалъ бы ихъ подвиги, не стремился-бы, часто совершенно невольно, подражать имъ. Герои-богатыри выступаютъ и въ сказкахъ, полныхъ тихой прелести, и въ поэтическихъ произведеніяхъ, полныхъ великой красоты, и на страницахъ справедливой исторіи. Матери разсказываютъ своимъ дѣтямъ про богатырей, прославившихъ свою родину на поляхъ битвъ съ ея врагами, юноши съ увлеченіемъ читаютъ описанія подвиговъ знаменитыхъ полководцевъ, воиновъ и невольно у нихъ зарождается искреннее желаніе подражать этимъ великимъ своимъ соотечественникамъ.

И такое вниманіе, такая завидная участь выпадаетъ почти всегда на долю только героевъ войны. Есть и другіе герои—герои мирного труда, науки, но слава ихъ доступна пониманію не каждаго, а только лишь тѣхъ, кто ясно и зрѣло представляетъ себѣ все величіе ихъ подвиговъ, часто даже незамѣтныхъ для обыкновеннаго глаза. Между тѣмъ, военные подвиги поражаютъ,

ослѣпляютъ всѣхъ, надолго остаются въ памяти людей,—и прославленный герой Скобелевъ является русскому юношеству и русской молодежи великимъ образцомъ, какъ обладатель высочайшаго душевнаго могущества, какъ строжайшій исполнитель всего принятаго на себя, какъ неутомимый работникъ, для котораго самый тяжелый трудъ являлся наслажденіемъ. Бѣлый генералъ—герой военнаго, подвига герой долга предъ родиной,—и нашей скромной задачею было представить его предъ русской молодежью именно въ такомъ изображеніи. Въ настоящей книгѣ разсказаны жизнь и подвиги Бѣлаго генерала въ томъ видѣ, въ какомъ возможно разсказать ихъ теперь, когда прошло еще такъ немного лѣтъ со дня кончины. Все выдающееся, все характерное, но не относящееся къ области анекдота, нашло себѣ отраженіе въ настоящей повѣсти-хроникѣ,—и думается, что эта повѣсть, сопровождаемая многочисленными иллюстраціями, наглядно изображающими не только моменты изъ жизни Бѣлаго генерала, но также и по возможности все, что имѣло отношеніе къ его жизни, заслужитъ вниманіе молодыхъ читателей.

Цѣна въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ 3р. 50 к.

Типографія Т-ва М. О. Вольфъ. С.-Петербургъ, В. О., 16 л., д. 5—7.

38.78.7.18